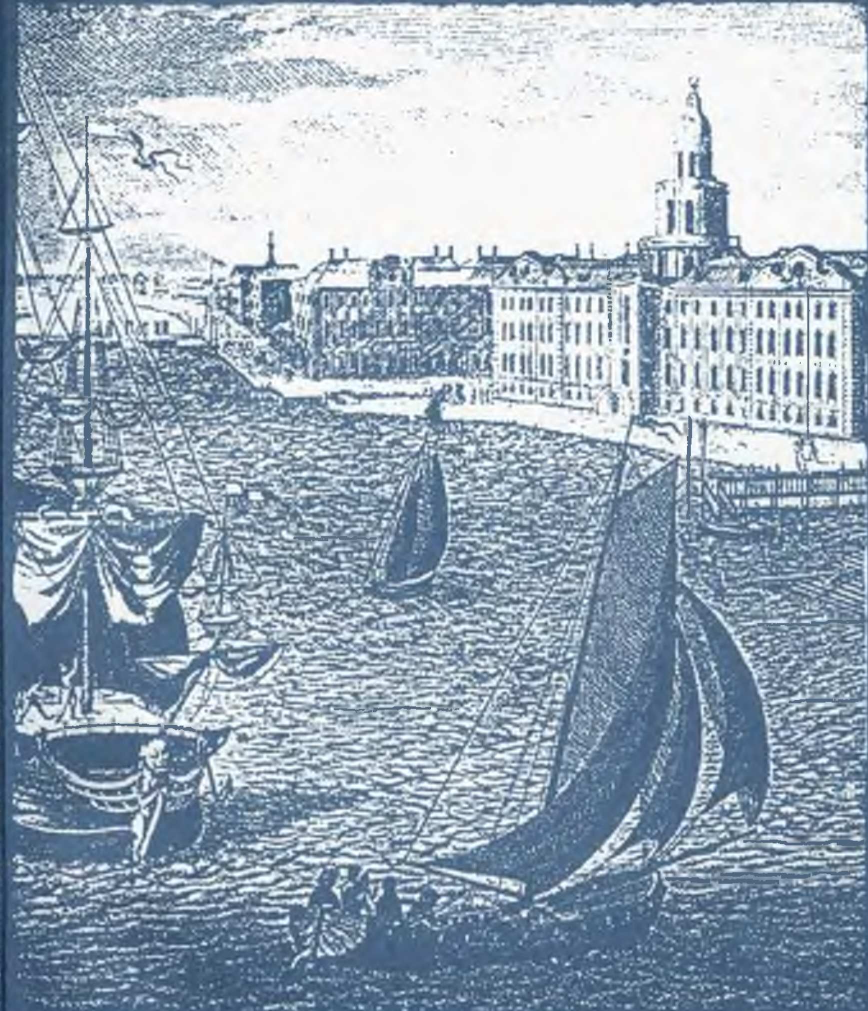
Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической мысли XVIII- начала XIX века

PETRUS PRIMUS
RUSSORUM IMPERATOR



ЕМИЯ НАУК
ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Ю. В. СТЕННИК

ИДЕЯ «ДРЕВНЕЙ» и «НОВОЙ» РОССИИ В ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ XVIII–начала XIX века

Ответственный редактор В. Е. Ветловская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
2004

УДК 94(47)
ББК 83.3 (2 Рос-Рус)
С 79

Стенник Ю. В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической мысли XVIII—начала XIX века. — СПб.: Наука, 2004. — 277 с.

ISBN 5-02-027144-6

В книге представлен анализ эволюции двух тенденций развития русского общественного самосознания. Речь идет об оппозиции «древней» и «новой» России, возникшей в XVIII в. и обусловленной проблемой «европеизации» русской жизни. Актуализировавшийся в этот период вопрос о национальной идентичности и сохранении самобытной культуры породил идею «древней» России как альтернативу западнической модели государственности. Развитие названной культурно-идеологической оппозиции на протяжении более чем столетнего периода прослеживается на материале творческого наследия Ф. Прокоповича, И. Т. Посошкова, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, кн. М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина посредством анализа исторической роли Н. И. Новикова, Екатерины II, А. Н. Радищева, декабристов и учета европейской историографии по данной теме.

Для филологов, культурологов, историков, всех интересующихся проблемами отечественной культуры.

Рецензенты:
А. В. МАЛИНОВ, С. И. НИКОЛАЕВ

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

ТП 2004-II-№ 267
ISBN 5-02-027144-6

ВВЕДЕНИЕ

Проблема ценностной соотносимости древнего и нового периодов в многовековой истории России была впервые концептуально обозначена Н. М. Карамзиным в его знаменитой «Записке о древней и новой России», которая писалась в 1810—1811 годах по просьбе великой княгини Екатерины Павловны. «Записка...» предназначалась императору и содержала в себе обобщение размышлений историографа, порожденных общей атмосферой тех перемен и либеральных реформ, которые сопутствовали началу царствования Александра I. Реформы были восприняты русским обществом неоднозначно. Карамзин выступил выразителем крайних, резко критических, мнений в отношении предпринимавшихся новым монархом преобразований. Но обоснование своей негативной по отношению к реформам позиции он строит на основе противопоставления современности опыту прошлого.

Прежде чем рассматривать возможные последствия новых преобразований молодого монарха, считавший их неразумными Карамзин обращается к истории России. Ход его мыслей ясен. За сравнительно короткий (всего одно столетие) исторический период Российское государство уже переживало не раз реформаторские потрясения. Главные из них приходились на начало XVIII века и были связаны с именем Петра Великого — первого русского императора. Успехи его преобразований изменили облик России и сделали необратимыми предпринятые им перемены. Но подлинная цена, которую пришлось заплатить российскому народу за сделанный этим монархом выбор, обозначилась довольно скоро. Превращение России в равноправного субъекта большой европейской политики не отменило ее внутренних проблем, уходивших своими корнями в период московской государственности. Без правильной оценки значения этого прошлого нельзя было судить о целесообразности реформ и всего, что за ними последовало. По-

нимание пределов такой целесообразности давала Карамзину история.

Отсчет времени «нового периода» в российской истории Карамзин ведет от царствования Петра I. Именно его реформы создали предпосылки качественного обновления институтов государственной власти и привели к изменению всего жизненного уклада российского этноса. Они заложили основы укрепления военного могущества России, а после победы над Швецией в Северной войне поставили ее в ряд с ведущими державами европейского мира. Весь XVIII век проходил под знаком развития и углубления процессов, обозначенных реформами Петра I. Казалось бы, предыдущий многовековой период древней истории России оставался в прошлом как исторически преодоленный, будучи безвозвратно снятым новыми реалиями. Но жизнь показала, что о полном преодолении духовного опыта прошлого не приходится говорить. Концептуальное осмысление неразрывности связи прошлого с настоящим и составляло основное содержание «Записки...» Карамзина.

Свою «Записку...» Карамзин пишет в разгар работы над «Историей государства Российского». К этому времени у него уже вполне сложилась концепция развития русской государственности — от момента ее установления и до обретения ею имперского статуса. Опыт истории приводит Карамзина к убеждению в спасительной роли самодержавия как единственной формы политической власти, способной обеспечивать целостность и стабильность государственных устоев страны: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием».[1] И в другом месте подтверждает: «Самодержавие есть Палладиум России».[2]

Для Карамзина данное убеждение приобретало дополнительную актуальность в свете событий буржуазной революции во Франции 1789—1796 годов. Революционные потрясения конца столетия, приведшие к крушению французской монархии и взбудоражившие Европу, закономерно заставляли задумываться о прочности положения монархии в России и о возможности перенесения подобных катаклизмов на русскую почву. По существу, события Французской революции высветили еще один негативный аспект, с точки зрения интересов России в исторической перспективе, — того повального увлечения Европой, начало которому положила политика Петра I. Последовавшее вскоре вторжение на территорию России наполеоновских армий в 1812 году, завершившееся их бесславным бегством, и торжество Александра I в Париже показали нерасторжимость исторических судеб России с судьбами Европы. Но тем самым проблема соотносимости древней истории России с тем ее состоянием, в каком она оказалась в результате петровских нововведений, представала в совершенно новом ракурсе. Динамика истории предопределяла динамику рос-

та национального самосознания, выразителем которого на новом историческом этапе выступал Карамзин.

Таким образом, противостояние «древней» и «новой» России осознается Карамзиным как логическое следствие тех перемен на рубеже XVIII столетия, которые предопределяли качественный сдвиг исторического пути России. Новые отношения с Европой не могли не затронуть коренных основ жизнеповедения общества. Проявлялось это многообразно, но главные изменения происходили в социокультурной сфере, как на бытовом уровне, так и на уровне регулирования духовных приоритетов, охватывавших идеологию, искусство, науку и образование. Изменился сам тип культурного сознания. Теократическая идея царства как ведущая идеологема общественного сознания, определявшая характер русской культуры до XVIII века, уступает место идеологии имперства, исходившей из признания государства главной ценностью и единственной опорой благоденствия членов социума. Если идеологическое обеспечение Московского царства осмыслялось в сотериологическом контексте как исполнение Божиего промысла, то имперская идеология исходит из установки на обеспечение реального земного спасения.[3] Иными словами, сотериологический тип культурного сознания, которым жила Древняя Русь, сменяется эвдемоническими установками, ставящими на первое место в установлении целевых приоритетов человеческого бытия обретение земного счастья, гарантом которого в условиях XVIII века выступало государство. Достаточно перечесть речь Петра I перед солдатами при начале Полтавского сражения, чтобы увидеть, как осознание царем своей миссии хранителя Христовой правды сменяется ощущением себя в первую очередь слугой Отечества, России.

Пожалуй, наиболее ярким примером изменения культурного облика страны можно считать строительство Петербурга как новой столицы государства, в полной мере воплотившей в себе идею имперской державности обновленной России. Европейские формы архитектуры Петербурга в сравнении с усадебной неупорядоченностью стихийной застройки Москвы представали зримым воплощением той системы культуры, к которой были устремлены мысли Петра I, что веком позднее превосходно раскроет Пушкин в поэме «Медный всадник». Петербург стал столицей «новой» России. Но Москва не исчезла. Она осталась живым свидетельством неотменяемости исторических традиций прошлого. Коронование вступавших на престол русских монархов по-прежнему совершалось в Москве. И этим как бы признавалось ее негласное лидерство в сохранении духовных устоев российской государственности. Наличие двух столиц являлось наглядным подтверждением жизненности возникшей культурно-идеологической оппозиции «древней» и «новой» России, концепционно осмысленной Карамзиным.

Из чего складывалась обозначенная Карамзиным дихотомия? Из уловления динамики исторического процесса. Логика движения истории России допетровского времени раскрывалась ему в закономерной последовательности сменявших одна другую фаз становления российской государственности. Карамзин обозначил их в «Записке о древней и новой России». Центростремительные тенденции самого раннего этапа ее становления уступали место центробежным силам, проявившимся в период удельной раздробленности княжеств, которая в свою очередь была преодолена мудрой объединительной политикой московских князей, утвердивших господство самодержавия. Промыслительная функция этой формы власти в условиях российской действительности была для Карамзина несомненной.

Свою «Историю...» он смог довести только до описания событий начала XVIII века. Тем самым полной картины эволюции русской государственности Карамзин не успел представить. Но концепция подобной эволюции у него сложилась, что можно заключить из содержания «Записки...». Согласно такой концепции, с момента укрепления Московского государства целеполагающая основа периодизации исторического процесса меняет свой масштаб, ибо период самоутверждения этноса в пределах выявления своей автохтонной самодостаточности исчерпал себя. Для дальнейшего существования русской нации как субъекта мировой истории наступает период осознания себя реальной частью Европы. И отныне решающим фактором государственного и культурного строительства становится активное приобщение к ценностям европейской цивилизации.

Собственно сопричастность исторических судеб России с судьбами Европы обозначилась уже в XVII веке, особенно в период Смутного времени, когда на московском престоле на какой-то момент оказался польский ставленник Лжедимитрий и возникла реальная угроза для государственного и конфессионального суверенитета страны. Угроза была в конечном счете преодолена, причем решающая роль в освобождении Москвы принадлежала стихийно организовавшимся окраинным областям страны, продемонстрировавшим невиданный заряд пассионарности российского этноса. В данном эпизоде о европейском статусе Московского государства не приходится говорить. Русь выступила по отношению к Европе как лишенный права выбора объект польско-шведской экспансии.

Положение коренным образом изменяется при Петре I. Начиная с конца XVII века, когда определились приоритеты политики молодого царя, этот процесс вхождения Руси в Европу охватывает все сферы общественного бытия русского народа, вплоть до изменения одежды и нравов. Глубоко символичным с этой точки зрения было перенесение Петром I столицы государства фактически на границу с Европой. «Новый» период российской истории становится периодом ее европейской державности. И в этом каче-

стве обновленная реформами Петра I Россия действительно противостояла всему многовековому периоду существования древней, средневековой Руси. Это был свободный сознательный выбор нацией своего исторического пути. Петр явился всего лишь энергичным исполнителем этого провиденциального решения.

Следует учитывать, что осознание качественной важности нового политического статуса России, который она приобрела в результате реформ Петра I, произошло задолго до написания Карамзиным его «Записки...». Многочисленные свидетельства этого мы можем видеть и в трудах историков XVIII века, и в сочинениях публицистов этого столетия, в том числе и современников Петра I, наконец, в художественной и мемуарной литературе эпохи. Попытки осмыслить новое состояние России с неизбежностью приводили к вопросу о том, чем была Россия до привития ей европейских форм культуры. В какой мере навязанный Петром I отказ от сложившихся веками устоев жизни предков был предрешен и был ли этот разрыв связи с культурными традициями прошлого невосполним? Все эти и другие вопросы в умах людей XVIII века не утрачивали своей актуальности и по мере удаления от времени петровских преобразований приобретали дополнительную остроту. В сущности, в поисках ответов на эти вопросы создавались предпосылки роста национального самосознания и формировались представления о месте России в семье европейских государств. Проследить динамику этого роста самосознания обновленной России как процесса, связанного неразрывно с сохранением культурной памяти прошлого, и составляет главную задачу предпринятого труда.

Укажем еще на один важный аспект проблемы. Обретение Россией нового политического статуса породило естественное повышение интереса к ней в европейских странах, которые отныне перестают рассматривать своего восточного соседа как оплот невежества, дикости и бескультурья. До XVIII столетия в отношении европейцев к России преобладали нередко высокомерно снисходительная неприязнь и враждебность. Основанием для подобной предвзятости служило почти полное отсутствие объективной информации о жизни, социальном устройстве Руси, ее нравах и обычаях. Спорадически проникавшие в Европу сведения о Московии, сообщавшиеся путешественниками или побывавшими в ней иностранцами вроде Олеария, Герберштейна, Мейерберга, Жака Маржере и др., часто грешили недостоверностью, будучи наполненными порой фантастическими домыслами. Вопрос этот уже служил предметом внимания историков, и я не буду особо останавливаться на нем.[4] Замечу только, что такому положению в известной мере способствовали культурная замкнутость Руси, отгороженность ее духовной жизни как православной окраины Европы от динамично развивавшегося после пережитой эпохи Ренессанса и Реформации протестантско-католического Запада.

Для понимания уровня источников, формировавших представления европейцев о нравах и нравственном облике русских людей, можно в качестве примера сослаться на откровения французского капитана Жака Маржере, несколько лет проведшего в России. С 1600 по 1605 год он служил в личной охране Бориса Годунова, а после смерти этого царя перешел на службу в охрану Лжедимитрия. О своем видении положения дел в России сразу по возвращении во Францию он поведал в книге «Состояние Российской империи и великого княжества Московии», издав ее в Париже в 1607 году (*Margeret J*. Estat de L'Empire de Russie et qrand Duche de Moscovie. Paris, 1607). 2-е издание вышло в 1669 году. Ж. Маржере дает свое обобщенное мнение о нравственном облике русских начала XVII века в том месте, где обосновывает свою версию об истинности Самозванца, якобы действительного сына Ивана IV, подмененного при отправке в Углич другим ребенком, который и был убит в 1591 году. Одно из обоснований касалось отмечавшихся современниками недостаточной религиозности псевдо-Димитрия и презрительного отношения его к национальным обычаям. Русских людей действительно удивляло, что сын Ивана IV очень редко посещал церковные службы, не любил ходить в баню и не признавал привычного для всех послеполуденного сна. Маржере так объясняет подобные странности поведения самозванца: «Ссылаются на то, что он насмехался над русскими обычаями и следовал русской религии только для виду; этому не нужно удивляться. Особенно если принять во внимание их нравы и образ жизни, так как они грубы и необразованны, без всякой учтивости, народ лживый, без веры, без закона, без совести, содомиты и запятнаны бесчисленными другими пороками и скотскими страстями».[5]

Такой представала древняя допетровская Россия глазам читающей Европы. Что касается социального устройства Московской Руси, то оно характеризуется, по мнению французского капитана, распространением поголовного рабства: «...все жители страны, благородные и неблагородные, самые братья императора (этот титул Маржере постоянно применяет к царю. — *Ю. С.*) называют себя холопами господаря (Clops hospodaro), т.е. рабами императора».[6] Мнения о Руси, сообщавшиеся в других книгах иностранцев, побывавших в стране, мало чем отличались от приведенных выше. Тот же Олеарий, при всей внешней объективности описаний своих впечатлений о Московии, всерьез полагал, что пребывание в рабстве — исконная участь русских: «Натура их такова, как умный Аристотель говорит о варварах именно, что „они не могут и не должны жить в лучших условиях, чем в рабстве"».[7]

Книга Маржере была известна в России. Ее читали Феофан Прокопович, А. П. Сумароков, князь М. М. Щербатов. Знали в России XVIII века и сочинения Олеария, Герберштейна, Ганса

Стрюйса и др. Необходимость разрушить сложившиеся у европейцев подобные стереотипы насчет России также можно считать одним из стимулов для русских писателей и историков в их обращении к отечественному прошлому. Древность становилась для них не просто объектом чисто исторических разысканий, но хранителем самобытного духовного опыта, который никакие нововведения не могли отменить.

Петр I действительно, по удачному выражению Пушкина, «прорубил окно в Европу», заставив Запад взглянуть на Россию иными глазами. Стереотипы высокомерного недомыслия в оценках исторического прошлого и современного состояния страны, как мы увидим ниже, сохранялись еще долго, но общий взгляд европейцев на Россию коренным образом изменился. Решающую роль в этом сыграли военные успехи Петра I в его противоборстве с, казалось бы, непобедимой Швецией. Но еще большее значение для европейцев имела неутомимая работа Петра по просвещению страны, насаждению в ней наук и художеств, распространению светского образования, развитию промышленности и новых ремесел. Все это протекало в рамках активного усвоения достижений европейской цивилизации, и это несомненно импонировало европейцам.

Созданием историко-культурного мифа о Петре I — законодателе на троне, преобразовавшем облик своей прежде варварской страны, историческая мысль XVIII века во многом обязана европейской историографии.[8] Показательный пример мифологизации личности Петра мы имеем в известной похвальной речи Б. Фонтенеля, произнесенной им на заседании Парижской академии в ноябре 1725 года «Eloge du czar Pierre I». Русский царь предстает в речи Фонтенеля творцом, преобразившим облик своей нации, до него пребывавшей в состоянии «варварства»: «Московия, или Россия, была в невежестве и грубости, подобных тем, которые сопутствуют всегда первоначальному возрасту народов. Это было отнюдь не от того, что московиты были лишены живости и проницательности ума, способности к подражанию тому, что они видели. Но вся их деятельность была под гнетом: крестьяне, рожденные рабами и задавленные немилосердными господами, довольствовались только плодами грубого земледелия, обеспечивавшего им возможность существовать».[9] Речь эта, переведенная на другие языки, в том числе и на русский, была широко известна в Европе. Концепция «просвещенного абсолютизма» получала в ней свое конкретное обоснование, будучи подкреплена реальной практикой монарха, вознесшего свой народ из политического небытия.

Образцом мудрого правителя, воина и законодателя, труженика на троне, просветившего свой народ, — таким демиургом «новой» России представал Петр в панегирике Фонтенеля. Страна не имела до Петра I ни выхода к европейским морям, ни флота, ни

боеспособной армии, пребывая во мраке невежества и отсталости: «Все надо было вновь делать в Московии, а не что-то усовершенствовать. Речь шла о создании новой нации, и что было подобно Творению, надо было действовать одному, без поддержки, без инструментов. Слепая политика предшественников почти полностью отделила Московию от остального мира».[10]

Посылка русских людей «искать знания и света у иноземцев» и привлечение в Россию иностранных специалистов стало решающим условием, по мнению Фонтенеля, просвещения нации.

Влияние подобной трактовки личности Петра I и его роли в истории России испытали многие европейские авторы, обращавшиеся к этой теме.

По существу, оценивая результаты реформаторской деятельности Петра I, Фонтенель выводит ту оппозицию «древней» и «новой» России, которая составляла неизменную основу анализа состояния страны, коль скоро речь заходила о ее европейском статусе. От Фонтенеля такой подход был унаследован Вольтером, Монтескье, Дж. Литтльтоном и другими европейцами вплоть до Мабли. Сочинения всех этих авторов были хорошо известны в России, многие были переведены.

Мы увидим ниже, что параллельно с указанными процессами, имевшими место в развитии европейской исторической мысли XVIII века, идеологическое осмысление изменений политического и культурного состояния страны в рамках указанной оппозиции будет активно протекать в самой России, в трудах историков и публицистов, в творчестве писателей и поэтов. Иногда такое осмысление совершалось стихийно, иногда оно было результатом вполне определенного социального заказа, но порой оно приобретало черты скрытой полемики, имевшей своим адресатом взгляды современных авторов, как европейских, так и отечественных. Несомненно одно. Сближение с Европой имело глубокие последствия для всей системы миропредставления, которой еще до недавнего времени регулировались мировоззренческие основы русского общественного самосознания.

Как уже отмечалось выше, параметры культурных приоритетов изменились. Усвоение западноевропейских идеологических доктрин неумолимо влекло за собой такое положение, при котором русские начинали смотреть на себя глазами европейцев, ибо вновь обретенные формы общественного самосознания нередко покоились на постулатах европейской, в основном просветительской, мысли. Так, например, представление о рабском состоянии российских крепостных крестьян как внутриполитическая проблема было осознано европейскими идеологами едва ли не раньше, чем это произошло в России. Питательной почвой для формирования критического отношения к крепостничеству в глазах просветительски настроенных русских мыслителей XVIII века, по существу, оказывались те представления о свободе и естествен-

ных правах личности, которые были выработаны в Европе. Аналогичным образом опорные понятия для фиксации сословных прерогатив дворянства в системе монархии, такие как честь, личное достоинство, рыцарский политес в обхождении, появляются в лексическом обиходе русского языка только в XVIII веке, будучи усвоены в процессе перенесения на русскую почву новых норм светского этикета.

Автохтонность ритма саморазвития российского этноса с реформами Петра I была нарушена. Теперь этот ритм резко ускорился. Россия оказалась вынужденной догонять Европу. И весь XVIII век протекает для нее в борениях и встрясках — войнах, административных и политических реорганизациях, в постоянном наращивании образовательного и научного потенциала, широчайшем культурном строительстве — причем во многом за счет перенесения на русскую почву европейского промышленно-культурного опыта.

Но по мере вхождения в европейский мир, знаменовавшего становление «новой» России, с середины XVIII века обнаруживается мощная тяга ко всему, что связывалось с традициями России «древней», к сохранению исторической памяти нации. И это было закономерно. «Европеизация» России, начатая Петром I, явилась одновременно стимулятором роста национального самосознания, что отразилось и на активизации отечественной историографии, и на резком повышении интереса к отечественному прошлому в сфере художественной культуры. Последить взаимодействие этих параллельных процессов составляет также одну из основных целей моего исследования.

В задачу настоящей монографии не входит анализ самого исторического процесса. Это дело историков. Меня будет интересовать диалектика восприятия этого процесса общественной мыслью России, осознание людьми XVIII столетия своего нового состояния. Это восприятие на разных этапах эпохи не оставалось неизменным, но протекало в рамках отмеченной выше дихотомии противостояния двух ликов России — «древней» и «новой». Создание объективной картины динамики взаимодействия этих взаимодополняющих граней отечественного самосознания XVIII—начала XIX века и будет главной задачей монографии.

Замысел настоящей книги возник и оформился окончательно в ходе моей многолетней работы по подготовке и выпуску проблемного научного сборника «Литература и история», три тома которого вышли за прошедшие десять лет (с 1992 по 2001 год). На страницах этого издания были впервые опубликованы некоторые главы книги, в настоящем виде переработанные и дополненные. Общая концепция труда вырабатывалась в процессе творческих контактов с участниками сборника, отдельные положения монографии апробировались и уточнялись в ходе дискуссий на научных конференциях, проходивших в стенах Пушкинского До-

ма. На протяжении всех этих лет я также пользовался неизменной поддержкой и помощью сотрудников сектора русской литературы XVIII века, возглавляемого Н. Д. Кочетковой, и работников библиотеки Института. Не имея возможности перечислять всех, помогавших мне в работе над книгой, позволю себе назвать В. Е. Ветловскую, Г. Леман-Карли, К. Г. Исупова, В. А. Кошелева, А. В. Малинова. Их ценные советы и указания, а также дружеское содействие поддерживали меня в процессе подготовки монографии. Сердечное спасибо всем.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 10.

[2] Там же. С. 126.

[3] См. об этом: *Черников М. В.* Царство и имперство как философемы русского общественного сознания // Русская философия. Новые исследования и материалы. СПб., 2001. С. 222–225.

[4] Детальная картина эволюции постепенного знакомства Европы с Россией содержится в цикле работ М. А. Алпатова «Русская историческая мысль и Западная Европа» (Книга 1-я. XII–XVII вв. М., 1973; Книга 2-я. XVII – первая четверть XVIII века. М., 1976; Книга 3-я. XVIII – первая половина XIX века. М., 1985).

[5] Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета. М., 1982. С. 213. (Пер. с франц.).

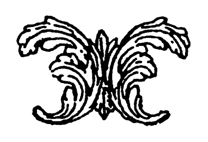
[6] Там же. С. 160.

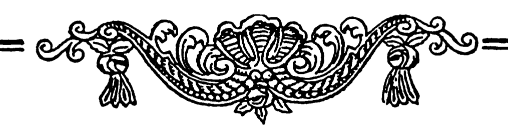
[7] *Адам Олеарий.* Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Спб., 1906. С. 199.

[8] Одним из последних наиболее обстоятельных исследований, посвященных данной проблеме, является монография С. А. Мезина «Взгляд из Европы. Французские авторы XVIII века о Петре I». Изд. 2-е, исправл. и дополнен. Саратов, 2003. На этот ценный труд мне еще придется ниже ссылаться.

[9] Œuvres diverses de M. de Fontenelle. A la Haye, 1729. T. III. P. 357–358.

[10] Там же. P. 363.





Глава I

«ПРЕВРАЩЕННАЯ РОССИЯ» ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ ПЕТРА I

(П. П. Шафиров, И. Т. Посошков, Феофан Прокопович)

Оппозиция «древней» и «новой» России как историософская проблема возникает на вполне определенном этапе отечественной истории — в первой четверти XVIII века.

Время царствования Петра I (1689—1725), отмеченное бурным процессом широких преобразований во всех сферах государственной жизни, стало своеобразным рубежом, отделившим многовековую историю Древней Руси от всего последующего развития страны. Политический статус России приобрел новое качество. И именно от реформ Петра I и всего, что явилось их следствием, историографическая традиция ведет отсчет «нового» периода русской истории в его противопоставленности «древнему» средневековому периоду допетровской Руси.

В чем смысл итогов этого поворотного этапа развития русской нации и как они воспринимались современным общественным сознанием? Таковы первые вопросы, неизбежно возникающие при попытке осмыслить сам феномен Петровских реформ и их исторические последствия для судьбы России.

Главным итогом политики Петра I стало превращение страны в мощную военную державу, без учета интересов которой баланс расстановки политических сил в Европе отныне не мог быть достигнут. Успехи в Северной войне (1700—1721), ставшие возможными благодаря созданию новой регулярной армии и флота, обеспечили выход России к Балтийскому побережью. Тем самым открылись пути для свободного развития торговых и экономических связей с Западной Европой. Строительство Петербурга с последующим перенесением в него столицы русского государства окончательно утвердили необратимость процесса преобразований. На протяжении первой четверти XVIII века качественно изменились структура административного управления страной и порядок судопроизводства. Система приказов уступила место кол-

легиям и министерствам, а место Боярской думы занял сенат. Страна покрывается сетью мануфактур. Коренным образом меняется ситуация в сфере образования: в Москве и Петербурге создаются светские учебные заведения, готовившие кадры для армии, флота и промышленности. Активная посылка молодых людей для учебы за границу сочетается с не менее активной политикой привлечения в Россию специалистов из Европы. Открытие в Петербурге в год смерти Петра I Академии наук как бы увенчало титанические усилия монарха по распространению в стране просвещения.

Включение России в систему европейских государств потребовало смены ценностных приоритетов, какими отныне должны были определяться нормы духовной жизни российского общества. Введением Священного Синода и уничтожением института патриаршества Петр I окончательно отстранил Церковь от ее вмешательства в прерогативы светской власти. Но тем самым Церковь в итоге оказалась полностью лишенной того влияния, которое она имела в прошлом в культурно-идеологической сфере. Официальная культура теперь приобретала подчеркнуто светский характер. И это обмирщение культурного сознания привело к полной переориентации эстетических установок, определяющих художественную практику. Сотериологический тип культуры, свойственный средневековому миросозерцанию, каким жила допетровская Русь, сменился системой ценностей, исходившей из эвдемонического истолкования смысла бытия. Данный тип культурного сознания сформировался в европейском искусстве как следствие эпохи Возрождения. Осмысление предназначения человека в мире на пути спасения души в грядущем ее предстоянии Богу уступило место представлениям о самоценности человеческой личности, призванной утвердить свое право на счастье здесь на земле. Россия усваивает этот новый для нее гуманистический взгляд на природу человека.

И в русском искусстве XVIII века превалирующее значение приобретает идея личного самоутверждения, несущая с собой установки на преобразование жизни во имя служения обществу, с одной стороны, и достижения личного успеха — с другой.

Достаточно обратиться к повествовательной беллетристике первой четверти XVIII века, чтобы почувствовать, какая разительная перемена в умонастроениях и вкусах произошла у русского человека, еще полстолетия назад прилежавшего к чтению таких произведений, как «Повесть о Тверском отроча монастыре», «Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Савве Грудцыне», где торжествовала идея христианского смирения и зачастую утверждалась домостроевская мораль. Теперь массовый демократический читатель увлекается иной литературой: «Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли», «Гистория о храбром российском

ковалере Александре и о любителницах его Тире и Элеоноре», «Гистория о некоем шляхецком сыне, како чрез высокую и славную свою науку заслужил себе великую славу и честь и ковалерской чин и како за добрые свои поступки пожалован королевичем в Англии». К этим оригинальным повестям примыкали многочисленные переводы европейской беллетристики вроде «Гистории о Францеле Венециане», «Повести о Петре Златые ключи», «Гистории о гишпанском шляхтиче Долторне», во многом служившие образцами для структурного оформления названных отечественных повестей — «гисторий».

Стихия авантюрности сочетается в этих повествованиях со скрытой публицистичностью, подчиненной отстаиванию идеалов, утверждаемых духом петровских преобразований. Покидающие родителей сыновья едут учиться в чужие края (в русских повестях это Европа), попадая в ситуации, немыслимые в прежние времена. Они подобны персонажам волшебных сказок или рыцарских романов, утверждают новые нормы жизненного поведения, когда личная инициатива, ум, энергия, любовь к знаниям становятся решающими факторами их возвышения в обществе. Они достигают высших государственных должностей, женской любви, всеобщего уважения и славы. Таков Василий Кориотский, простой матрос, овладевший всеми морскими науками, заслуживший уважение голландского купца, после пребывания в стане разбойников удостоивающийся любви Флоренской королевны Ираклии и в конце концов ставший королем флоренским. Таков шляхецкий сын, благодаря только уму и успехам в науках преодолевающий жизненные испытания и завоевывающий любовь дочери Цесаря, а затем и английской королевны, становящийся вторым человеком в Англии. Все это отражало качественно новый взгляд на человека и его место в мире. Вспомним финалы повестей XVII века — «Повести о Горе-Злочастии» или «Повести о Савве Грудцыне». Последним прибежищем оторвавшихся от прежних устоев жизни героев остается монастырь. Совсем иначе складывается судьба героев повествований первой четверти XVIII века. Активность героев в их стремлении достигнуть успеха в жизни, самоутвердиться на путях ее преобразования отражала практику Петровской эпохи. Если вспомнить судьбу таких людей, как А. Д. Меншиков, П. И. Ягужинский, П. П. Шафиров, то станет ясным публицистический подтекст этих новых повестей, пафос которых прекрасно воплощал собой то новое, что принесло время преобразований.

Ярчайшим показателем сдвигов, происходящих в общественном сознании в любую историческую эпоху, является язык. Для переходных этапов, каким несомненно была первая четверть XVIII века, процессы, совершавшиеся в языке, были отмечены особой динамичностью. Петровское время особенно наглядно демонстрирует борьбу нового со старым, ибо бурное вторжение в

жизненный обиход россиян отсутствовавших ранее в русской общественной жизни явлений повлекло за собой появление массы новых понятий и с ними целые комплексы новых, заимствованных из других европейских языков, слов и лексических формообразований.[1] Разные сферы потребностей демонстрировали и разные источники обогащения русской лексики.

Петр I создает флот, практически отсутствовавший в Московской Руси. И русский язык обогащается словами и терминами: *матрос, мичман, адмирал, бастион, фрегат, гавань, навигация, рейд, такелаж* и др. Появляется целый комплекс морских терминов, обозначающих разные предметы корабельной оснастки и понятия, необходимые в практике мореплавания.[2]

Петр реформирует армию по европейскому образцу, и в русском языке появляются слова, заменяющие, а иногда и отменяющие прежние воинские термины. В язык входят слова, обозначающие воинские звания, ранее отсутствовавшие в России: *лейтенант, унтер-офицер, сержант, капитан, бригадир, полковник, генерал* и т. д. Старинное слово *войско* теперь все чаще заменяется словом *армия* и соответственно вместо слова *воин* в обиход входит немецкое слово *солдат*. Слово *победа* употребляется наряду со словом *виктория*. Наряду с привычным термином *полк* появляются понятия *рота, батальон, дивизия*. Вместо исконно русской *крепости* укрепления порой обозначаются словом *фортеция*, появляются *редуты, флеши, ретранше-менты*. Вместо привычного *донесение* начинают употреблять термин *реляция*, *воеводу* сменяет *военачальник*. *Пакгауз, мартира, фугас, фузея, бомбардир, фейерверк* — вся эта лексика становится активной частью словарного русского фонда с первой четверти XVIII века.[3] Реформирование административных органов власти, а также новые черты бытовой культуры способствуют появлению в русском языке таких слов, как *сенат, ассамблея, канцелярия, коллегия, кабинет, министр, канцлер, резидент, фельдъегерь*.

Публицистические сочинения эпохи, особенно официальные документы, пестрят заимствованными словами вроде *сатисфакция, абшид, декларация, рефлексия, дедикация, потентат, есенция*, хотя всем этим понятиям в русском языке существовали эквивалентные термины. В сущности, подобное насыщение национального языка иностранной лексикой отражало экспансию в жизненный уклад русского общества новых норм бытия и связанного с ним европейского мироощущения. Новые явления жизни, осознание своего пребывания в обновленном мире вызывало у людей желание изъясняться не так, как говорили их отцы. Новообразованные дворяне теперь предпочитают вместо русского слова *прогулка* употреблять *променад*, вместо *развлечение* — *плезир*, вместо *оскорбление* — *афронт*, вместо привычного *слово* — *пароль* и т. п. Язык становился полем борьбы нового со старым, он изменился. Проблема «древней» и «новой» России со всей ост-

ротой была скрыто поставлена самой жизнью в языке, и эта проверка на прочность нововведений апробировалась процессами лексического обогащения. Многое было принято, но многое было и отвергнуто, не выдержав испытания временем.

Наиболее активно этот процесс протекал в публицистике. Именно публицистика была той литературной формой, в которой осознание новизны исторической ситуации становилось предметом анализа. Ее задачей являлось прямое отстаивание проводившихся Петром I преобразований.

Вообще, в развитии исторического самосознания масштабы решаемых нацией политических задач не всегда бывают адекватны тем культурным достижениям, в которых оказывается зафиксирован процесс роста этого самосознания. Это особенно характерно для этапов национальной истории, обозначающих известный рубеж в развитии государства, когда происходит смена идеологических приоритетов и все общество переживает процесс качественного обновления. В истории России Нового времени таким рубежом явилась первая четверть XVIII века, нашедшая в публицистике необходимую ей форму идеологического самоутверждения. Отсюда ясно, почему помимо упоминавшейся выше повествовательной беллетристики основные достижения петровского периода в области литературы приходятся на жанр публицистики. Среди наиболее ярких публицистов этого времени следует назвать дипломата П. П. Шафирова, крестьянина-экономиста И. Т. Посошкова и идеологического сподвижника царя в делах церковной политики Феофана Прокоповича. В сочинениях этих авторов наиболее отчетливо выразился тот новый уровень общественного самосознания, который соответствовал духу переживаемого Россией исторического момента. И именно их взгляды на новое состояние России заключали в себе первые подступы к осмыслению вопросов соотносимости этого нового состояния с прежним статусом Российского государства и укладом жизни Московской Руси. До осознания утрат и соответственно издержек предпринятых Петром I реформ дело пока не доходит, поскольку общей идейной установкой публицистических выступлений этого времени было безусловное оправдание и поддержка преобразовательной политики царя. Но проблема «древней» и «новой» России в сочинениях названных публицистов, хотя и не прямо, но оказалась по-своему обозначена. Признавая необходимость преодоления прежнего состояния, в каком пребывала Московская Русь, каждый автор тем не менее неизменно соотносит политику Петра I с некоторыми аспектами политики его предшественников в соответствии с кругом проблем, затрагиваемых в том или ином сочинении.

Рассмотрение публицистического наследия Петровской эпохи под обозначенным нами углом зрения целесообразно начать с трактата П. П. Шафирова, который в исторической науке неред-

ко обозначается сокращенно как «Рассуждение о причинах Свейской войны». Между тем полное название этого трактата, написанного в 1717 году, когда конечный исход Северной войны уже был фактически предрешен, позволяет судить не только о содержании самого сочинения, но и уловить его конечную цель. Это был, прежде всего, дипломатический документ, в немалой степени рассчитанный на общественное мнение Европы, составленный на основе подлинных исторических документов и помимо своей публицистической функции выполнявший серьезную политическую задачу. Известно, что Петр I курировал подготовку этого трактата. Им лично было написано «Заключение к читателю». Полное название трактата Шафирова не оставляет сомнения о его открытой политической направленности: «Рассуждение, какие законные причины Его Царское Величество Петр Первый, царь и повелитель всероссийский и протчия и пр. и пр. к начатию войны против короля Карола 12 Шведского 1700 году имел, и кто из сих обоих потентатов, во время сей пребывающей войны, более умеренности и склонности к примирению показывал, и кто в продолжении оной с столь великим разлитием крови христианской и разорением многих земель виновен; и с которой воюющей стороны та война по правилам христианских и политических народов более ведена».

Объяснение причин войны и характера ее ведения обеими сторонами подчинено у Шафирова одной задаче — полному оправданию политики Петра и конечной апологетизации его личности. Эту задачу выполняет уже развернутое посвящение книги — «Дедикация или приношение» — царевичу Петру Петровичу, заключавшее вполне определенную концепцию петровского царствования. Смысл этой концепции сводится к обоснованию заслуг Петра I, обновившего, по существу, Российское государство и заставившего Европу считаться с ее новым политическим статусом. Так, уже на второй странице «Дедикации» Шафиров прямо определяет основные заслуги царя-реформатора, приведшего Россию «весма в иное состояние обыкновении внутрь и почтение, и знатность вне Государства <...> так, что, хотя пред несколко десятьмы леты о Российском народе и Государстве тако в других Европейских государствах разсуждали и писали, как о Индийских и Персидских, и других народах, которые с Европою, кроме некоторого купечества, никакого сообщения не имеют, тако и об оном, не токмо ни в каких Европейских делех, до войны и миру принадлежащих, никакой рефлексии и рассуждения не имели; но оной и в число Европейских народов мало причитали. Тако ныне никакое дело ниже во отдаленных краях Европейских не чинится, к которому б или о Его Царском Величества приязни и союзе не старались, или осторожности и опасности в противности от оного себе не имели».

Шафиров недвусмысленно показывает, чем была Россия до Петра («...оной и в число европейских народов мало причитали»)

и чем она стала за прошедшие семнадцать лет с начала Северной войны после достигнутых в ней побед. Примечательна ссылка на мнения о российском народе в «других Европейских государствах». Причем речь идет о каких-то сочинениях и официальных, по-видимому, выступлениях общественных деятелей или дипломатов.[4] Авторов их Шафиров, правда, здесь не называет, но подобная отсылка свидетельствует, что он был достаточно хорошо ориентирован в представлениях о России, какие были распространены в современной ему Европе. В качестве альтернативы подобным мнениям и должен был служить его трактат. Естественно, на передний план в раскрытии причин внезапного преобразования России им выдвигается неутомимая деятельность Петра.

Новое состояние страны оценивается автором трактата как плод неустанных трудов русского монарха, чья личная инициатива была решающим фактором достигнутых успехов. Петр сумел в короткий срок обучить свой народ и прославить его перед лицом Европы: «...в том истину реку, что не обрящется не токмо в нынешних нашей памяти веках, но ниже в гисториях прежних веков, Его Величеству равного, в котором бы едином толико Монарху надлежащих добродетелей собрано было и которые бы не во многие лета в своем Государстве толь многие славные дела не токмо начал, но и от большей части в действо произвел, и народ свой, который в таких делах до его Государствования отчасти мало, отчасти же и ничего не был искусен, не токмо обучил, но и прославил».[5] И словно в дополнение к подобному пассажу в том месте, где Шафиров, обозревая далее разные сферы деятельности Петра I и касаясь его заслуг в части реформирования армии и последовавших вслед за тем военных успехов России, оценивает личную роль царя в этом деле и вновь подчеркивает контраст между прежним состоянием, в каком пребывали русские, и новым, достигнутым, прежде всего, благодаря энергии и личному примеру царя: «Аще посмотрим на воинские дела на земли, то Его Величество во многих как благополучных, так и злополучных случаях не токмо сам себя показал Великим вождем и храбрым, и неустрашимым, и рассудительным воином, каковых из его равных едва ли кто в сии веки обретися может, но и подданных своих, которые в регулярном воинстве никакого искусства ни знания не имели, в такое состояние и порядок привел, что ныне между лутчих войск в Европе почитаются».[6]

Заслуживает внимание, что при несомненном патриотизме автор все происходящие в России перемены измеряет европейским опытом. В уподоблении России Европе он видит конечную цель той политики, которую проводил Петр I, и он с нею целиком согласен. Ничего другого публицист не видит. Субъект преобразований, русский народ, несший на себе все тяготы реформ, остается вне поля его зрения. Шафиров ничего не говорит о той цене, которую пришлось заплатить народу за неукротимость царя в его

стремлении провести свои преобразования в максимально сжатые сроки. Уже на следующий год после смерти Петра обнаружилась ужасающая картина в финансовом положении государства. Казна была опустошена, а крестьяне бедствовали. Эти явления подспудно назревали именно благодаря тягостной войне, необходимость которой обосновывал публицист. Незадолго до окончания войны Петр своим указом ввел практику расквартировки армии по уездам, установив при этом нормы натуральной повинности на местное население. И это легло также тяжелым бременем на крестьян.

Автор трактата, по-видимому, существовавшего положения дел не знал. К тому же он писал свое сочинение по поручению и под негласным руководством Петра I. Для него было важно утвердить новую роль России в европейском мире и разъяснить некоторые важные аспекты политики русского царя, связанные с Северной войной.

Основное содержание трактата составляли ответы на вопросы, представленные в его названии. В предварявшем основной текст вступлении, сразу после Посвящения, Шафиров обобщенно сформулировал тезисы, легшие в основу содержания глав книги.

1. Показание «важных и законных, древних и новых причин», по которым Петр начал войну с шведской короной.

2. Обоснование, что вину за столь продолжительный ход войны и пролитие многой крови человеческой несет шведский король.

3. «Что со стороны Царского Величества во время сея войны со всякою умеренностью, христианским милосердием и по обычаю всех политичных христианских народов поступлено. И ежели какая жестокость где и показана, то более для отмщения швецкой жестокости ⟨...⟩ учинено. Против того ж с Швецкой страны оная война с начала и до сего времени была не по обычаю политичных народов, но со всякою суровостию, нелюдскостию досадителствы ведена».[7]

Как видим, заключенная в тезисах проблематика уже предваряет основное содержание трактата, и о его антишведской направленности можно судить со всей определенностью.

В то же время в сжатых тезисах, отражавших суть содержания трактата, даны и очертания его композиции, состоявшей соответственно из трех глав и Приложения, которое включало в себя копии грамот и договоров со шведами XVI–XVII веков, касавшихся земель и городов, за которые шла война. Вообще, все содержание трактата было строго документировано. Шафиров проявляет хорошую осведомленность в древних договорах и всех переговорных процессах, которые протекали ранее между Швецией и Московской Русью. Трактат обнаруживает и знакомство автора с летописными источниками.

1-й артикул (глава) посвящался объяснению причин Северной войны, начатой Россией против Швеции осенью 1700 года по-

сле неудачных переговоров со шведским королем. Петр требовал извинений и наказания Рижского генерал-губернатора графа Далберга за оскорбления, нанесенные последним Великому посольству во главе с царем в марте 1697 года во время путешествия Петра I в ряд европейских государств. Король Карл XII игнорировал требования русского царя. Вскоре последовало объявление войны.

Глава состояла из двух частей. В первой части рассматривались «древние причины» к начатию войны, уходившие корнями в политические события XVI—XVII веков. Во второй рассматривались «новые причины», связанные с упомянутым выше инцидентом во время пребывания в Риге в 1697 году Великого посольства.

Для нас представляет особый интерес 1-я часть главы, посвященная «древним причинам» войны, в свете давнего исторического соперничества двух государств, России и Швеции, за контроль над восточным побережьем Балтийского моря и прилегавших к нему областей, включая Карелию и Приладожье.

Согласно свидетельствам российских летописей за 1026 год, на что ссылается Шафиров, большая часть провинций Лифляндии и Эстляндии уже тогда находилась в сфере интересов Руси, как выражается автор трактата, «под областью и протекцией Российской короны принадлежала»: город Юрьев (по-немецки Дерпт), также и Ревель (в летописях значившийся как Колывань), Пернов (ставший Пярну), Ивангород (по-немецки Яганесбург), где церкви российские, замечает Шафиров, сохранились до сих пор. «Что провинции Карелия и Ингрия, или Карельская и Ижорская земли, со всеми принадлежащими ко оным уездами, городами и местами издревле ко всероссийскому империю принадлежали, то не могут и сами Шведы отрещи»,[8] — замечает автор трактата. Однако неудачные Ливонские войны Ивана IV Грозного, длившиеся около двадцати лет (с 1558 по 1580 год), а также усиление Польши при Стефане Батории свели на нет успешные поначалу действия Руси по выходу к Балтике. В 1583 году по перемирию со Швецией, заключенному в Плюссе, к шведам отошли Нарва и другие области и города в Эстляндии, Ям и Копорье из Новгородских владений, Кексгольм в Карелии. Все это теперь «король Шведский имел счастье по обычаю временном в воинских случаях взять у его Царского Величества 1577 и 1578 ⟨...⟩ Нарву, с некоторыми малыми местами во Эстляндии, да из Новгородской провинции Ямы и Копорье, да в Карелии Кексгольм».[9]

Новый виток шведской экспансии Шафиров связывает со временем Смуты. Описав в общих чертах захват власти в Москве самозванцем Григорием Отрепьевым и его конец, публицист особо останавливается на эпизоде приглашения на Русь шведского корпуса Делагарди в надежде на помощь в борьбе с поляками, на-

ходившимися еще в Москве. Но эффект оказался обратным. Отряд Делагарди перешел на сторону поляков. Шведы захватили Новгород, на какое-то время осадили Псков и хозяйничали в северо-западных областях как хотели. Ослабленная Смутой Русь вынуждена была мириться с таким положением. Заключенный при посредничестве английского посла в деревне Столбове между Ладогой и Тихвином 27 февраля 1616 года Столбовский мир фактически закреплял сложившуюся ситуацию. Оценивая итоги этого унизительного для России мира, Шафиров заключал: «...и по оному тако те провинции (имеются в виду Лифляндия, Эстляндия, Карелия и часть Ижорской земли. — *Ю. С.*), против всякой истины и христианской любви, за толь многими мирными договорами и союзом оборонительным похищенные, Короне Шведской достались и тем Российскому государству и народу невозвратной убыток, не токмо в купечестве, но наипаче в пресечении коммуникации со всеми Европейскими Государствы учинился. Чего оная Корона, всегда Российскому Государству враждебная, паче всего искала; дабы всегда оной в неведении в воинских и политических делех содержать и ни до какого искусства чрез обхождение с Европейскими народы не допустить».[10] В последней фразе Шафиров высказывал сокровенную идею всего трактата, раскрывая истинные цели внешней политики Петра I: покончить с изоляцией России, реально сблизиться с Европой, чему на протяжении последних двух веков упорно противились Ливония и Швеция.

Таковы были «древние причины» к начатию войны со Швецией», и они были по сути дела главными, ибо возврат аннексированных шведами земель северо-запада России и выход к Балтийскому побережью оставались стратегической задачей, без решения которой страна не могла далее нормально развиваться. Петр I это хорошо понимал и подчинил решению этой задачи все находившиеся в его распоряжении средства.

Древняя история оказывалась, таким образом, неразрывно связанной с современностью. Решение политических вопросов, вставших перед Российским государством на рубеже XVIII века, потребовало опоры на традиции, на древние права, закрепленные документальными источниками, дававшими юридические основания для возврата России Балтийского побережья и захваченных Швецией областей Эстляндии, Лифляндии, Карелии и Ижорской земли. Идеологическим обоснованием в решении этих политических задач и должен был служить трактат Шафирова.

2-й и 3-й артикулы (главы) были посвящены, в сущности, близким вопросам: кто виноват в затягивании войны, продолжении излишнего кровопролития и разорения земель и с чьей стороны проявляется больше гуманности и терпимости по отношению к противнику, и в частности к пленным. В контексте общей проблематики трактата рассмотрение этих вопросов должно было вновь

продемонстрировать моральную правоту и превосходство позиции русского царя в данном военном конфликте.

Так, во 2-й главе, после перечисления неоднократных попыток со стороны Петра I к примирению уже после объявления войны, в частности через французского посла, Шафиров демонстрирует несговорчивость и высокомерие Карла XII и его министров: «... Его Величество Король Свейской не токмо оных предложений не хотел слушать, но и министры его с великой гордостию и ругательством на те предложения ответствовали: говоря, что их Король прежде того с Россиею мира не учинит, пока, к Москве пришед, Его Царское Величество с престола низвержет, и его Государство Всероссийское разделит на малые княжения и воеводства, и обяжет трактатом все регулярные войска по Европейскому обычаю учрежденные перевесть (дабы чрез то Российское Государство обнажить сил)...».[11] В самой Швеции Карл XII уже назначал своих генералов и министров на посты наместников и губернаторов русских земель и городов. Шафиров детально перечисляет все случаи отказа шведского короля от ведения мирных переговоров даже после разгрома его под Полтавой в 1709 году, описывает тщеславное поведение его в Бендерах.

В 3-й главе автор трактата раскрывает умеренность и даже уважительность со стороны Петра I к пленным, в частности к шведскому послу, и, наоборот, приводит многочисленные примеры жестокости и нетерпимости шведов, и конкретно самого короля, по отношению к русским, попавшим в плен или оказавшимся от него в зависимости.

В конце, как бы предвидя несогласие отдельных читателей с его доводами, Шафиров от лица неких воображаемых «негодующих» задает себе как автору вопросы, призванные уточнить собственную позицию. На первый вопрос: «*Для чего сия война начата?*» — он не считает нужным отвечать, полагая, что исчерпанные разъяснения на этот счет читатель уже получил. Но на второй вопрос: *Для чего так долго продолжается; лутче б, хотя и с великою уступкою, помириться?*»[12] — Шафиров обстоятельно отвечает, затрагивая при этом принципиальный и весьма щепетильный вопрос относительно общего отношения к России со стороны европейского мира. Причину затяжки войны автор трактата целиком относит на счет неуступчивости шведов. И когда воображаемый оппонент замечает о якобы оправданности такой их позиции, поскольку они слишком много потеряли в войне и ждут больших уступок, на которые русский царь не идет, то в своем ответе Шафиров в свою очередь ставит вопрос о привычке европейцев неуважительно относиться к России, рассматривая русских неравноправными партнерами. Но времена изменились, чего шведы никак не хотят понимать: «Прежние времена не суть равны нынешним, ибо Шведы тогда (т. е. в прежние времена, до войны. — *Ю. С.*) о нас не так рассуждали и за слепых имели,

как о том славной историк Пуфендорф пишет в книге Введение во истории, которая ныне переведена и напечатана на Славенском языке».[13]

Для понимания этой отсылки к книге С. Пуфендорфа, содержавшей распространенные в Европе мнения о России и ее народе, полезно напомнить точку зрения этого немецкого историка и юриста, высказанную в известном труде «Введение в европейскую историю», на который и ссылается Шафиров. Книга эта, кстати, была переведена на русский язык по личному указанию Петра I и издана в Петербурге в 1718 году. Одиннадцатая глава книги была посвящена России и называлась «О России, или Обще о Московии». Об источниках сведений, на которые опирался Пуфендорф, характеризуя эту часть Европы, сказать трудно. Но поверхностность и известная предвзятость позиции автора в отношении к Московии очевидна. Краткий исторический очерк — от принятия Русью христианства (датируемого, правда, 989 годом) и до последнего события известного историку — взятия Петром I турецкой крепости Азов в 1696 году — давал общее представление о быстром росте политического могущества Русского государства. Но следовавшие вслед за ним описания характера и нравов русских, оценка культурного уровня нации и принятых в стране устоев политической власти создавали неприглядную картину отсталости и чуть ли не дикости. Вот что писал Пуфендорф: «О нравах и разуме народа Российского ничтоже воспоминать имеем, еже бы с великою их славою сопряжено было, ниже бо Россияне тако суть устроены и политичны, яко же прочии народи Европейски.

В письменах же толь неискусны суть, яко в писании и прочтении книг совершенство учения полагают. Паче же и самые Священницы толико суть грубы и всякого учения непричастны, яко токмо прочитывать едину (т. е. первую. — *Ю. С.*) и вторую божественного писания главу или толкование Евангельское умеют, болше же ничто не знают. Зазорны же и неверодержательны суть, свирепы и крове жаждущие человецы. <...> Рабский народ рабско смирятися и жестокостию власти воздержатися в повиновении любит...».[14]

Политическое и культурное небытие России в глазах европейского историка выводится из почти полного невежества ее населения, лишенного якобы и истинного понимания своей веры, и каких-либо нравственных устоев. Все это могло бы казаться справедливым, с точки зрения миросозерцания только представителя Европы, пережившей эпоху Возрождения и подошедшей к концу XVII века с выдающимися достижениями промышленно-технической мысли, а также в области науки и культуры. Но не следует абсолютизировать правоту и гносеологическую корректность такой позиции. Говоря об отсталости России от Западной Европы, исторически вполне объяснимой, если исходить из узко европо-

центристского понимания исторического процесса как такового, Пуфендорф, конечно же, не принимает в расчет специфики особых, отличных от европейских, условий становления и развития русской государственности и ее восточнохристианских конфессиональных корней, обусловливавших известную консервативность, внешнюю заторможенность динамики духовного бытия этноса.

Признавая неприхотливость русских в быту, способствовавшую их воинским успехам, Пуфендорф в то же время подчеркивает полное отсутствие у них представлений о свободе и о гражданских правах, принятых в цивилизованных государствах. Объяснение этому он находит в самодержавной форме правления, исторически сложившейся в России: «Еже к виду правления общества надлежит, известно есть, яко великий Князь (сего Россияне своим языком Царь нарицают) повелительство владычественное имеет и по воле своей и угодию вся творити и управляти может. Народи же ему без отлагания и чина повинны служить тако, яко не в числе граждан, но между неволниками исчислятися могут...».[15]

Таков был уровень представлений европейского историка о России до того момента, когда еще не обозначились в полной мере плоды преобразовательной политики Петра I. Шафиров потому и ссылается в своем трактате на труд С. Пуфендорфа, что для своего времени он наиболее красноречиво отражал распространенные в Европе мнения о России: «...не токмо одни Шведы, но и другие отдаленные народы всегда имели ревность и ненависть на народ российской и тщились оной содержать в прежнем неискусстве, особливо же в воинских и морских делех».[16] Но автор трактата хорошо осознает, что времена переменились. Укрепившаяся внутренне после перенесенной Смуты Россия на пороге XVIII века стояла перед задачей укрепления своего геополитического положения в Европе. Война со Швецией призвана была решить эту задачу. Шафиров в 3-й главе своего сочинения не только приводит примеры препятствования со стороны шведов выходу России к Балтийскому побережью, но и раскрывает широкие экспансионистские планы Швеции в ее стремлении вообще лишить Россию каких-либо возможностей для развития связей с Европой: «Еще ж вящше объявляю, что при Нарве с прочими взят был с нашей стороны в полон доктор Григорий Корбонарий, который ясно сказывал, что Шведы давно имели намерение к войне против Россиян и сделан был проэкт, чтоб Новгород, Псков, Олонец, Каргополь и город Архангельской завладеть, дабы с иностранными областьми весьма купечество у России пересечь, которые его слова тогда междо веры и недоверия приняты. Но потом, когда Рига и Ревель взяты, то от многих из их же подданных и пленных о том подлинное свидетельство явилось, что, конечно, такое их намерение было давно, но ожидали свободного времени».[17]

Пожалуй, впервые общественному мнению разъяснялась так ясно и недвусмысленно скрытая политическая подоплека упорства Швеции в нежелании признать свое поражение. Как бы завершая свои разъяснения, Шафиров подводит им итог, обозначая четко рубеж обретения Россией нового политического качества: «Того ради разсуди, какая была всегдашняя злоба сих соседей еще при начатии рощения Российской славы и введения добрых порядков? Каково ж ныне, когда господь Бог так прославил, что оные, от которых почитай вся Европа опасалась, ныне от нас побеждены суть?»[18] Так устанавливает публицист петровского времени водораздел между «древней» Россией, отвергавшейся Европой, и Россией «новой», становившейся отныне, благодаря решительной политике Петра I, равноправным субъектом европейского мира. Культурного паритета с Европой ей еще предстояло достигнуть. Но начало было положено. «Новая» Россия, определяя свои геополитические права быть частью Европы, в сущности, оставалась наследницей Московии. Ведь Петр стремился к достижению целей, которые ставили перед собой еще московские цари в лице его отца Алексея Михайловича. Но для достижения этих целей требовалось Россию преобразовать, обновить, что и сделал Петр.

Если резюмировать содержание заключительных глав трактата Шафирова, то их суть сводится к раскрытию истинного отношения европейских государств к России, на политическом уровне всегда отличавшихся скрытой неприязнью к ней и с опаской относившихся к внезапному усилению ее влияния в результате успехов в Северной войне со Швецией. Отсюда будет идти отсчет времени для европейцев в появлении феномена, получившего в историографии определение «новая Россия».

В идеологическом аспекте трактат Шафирова был призван нейтрализовать сложившийся в европейском общественном сознании стереотип представлений о России и показать ее политический облик в новом качестве. Будучи одним из наиболее серьезных идеологических актов петровского времени, трактат утверждал концепцию обновления России и ее статус европейской державы. Идея «новой» России раскрывалась во внешнеполитической плоскости, и это придавало трактату открыто официальный характер правительственного документа. Апологетическая установка данного публицистического сочинения полностью соответствовала патриотической направленности его пафоса.

По сути дела, взгляд на Россию, который заключался во «Введении в европейскую историю», и был отражением тех представлений о ней, с которыми ассоциировалась у современников Шафирова та «древняя» Россия, которую предстояло преодолеть и которая противостояла создаваемой трудами Петра будущей «новой» России. Петр I не случайно лично велел перевести это сочинение С. Пуфендорфа на русский язык. Донесение до сознания

своих соотечественников весьма нелицеприятных истин о том состоянии обскурантизма, в котором они пребывали в глазах соседей, по-видимому, входило в намерения Петра I, ибо отвечало его конечным целям — порвать с прежней косностью и сблизиться с Европой. В обстановке коренной ломки прежних устоев любое внедрение европейского взгляда на вещи вписывалось в общий контекст преобразований.

В этой связи любопытны свидетельства европейцев, бывших современниками и очевидцами Петровских реформ и своими глазами наблюдавших рождение «новой» России. Одним из таких свидетельств были «Записки о Петре Великом и его царствовании» Браунштейгского резидента в России Ф. X. Вебера, известные под названием «Преображенная Россия...» (Das Veränderte Russland...») и изданные на немецком языке во Франкфурте в 1720 году. Вебер находился в России с 1713 года в течение почти четырех лет, лично общался с Петром I, и его «записки» содержат ценнейшие наблюдения о происходившем в стране. Мнения Вебера о характере и нравах россиян исполнены также зачастую нескрываемого пренебрежения. Столкнувшись с совершенно незнакомыми ему обычаями, он многое не может понять. Но он поражен масштабами строительства Петербурга и особенно Петергофа, на котором занято несколько тысяч рабочих и лучшие мастера и «который скоро представит собой новый Версаль». Двигателем всех происходящих в России перемен Вебер считает царя, энергия и универсальность познаний которого его поражает. Петр I — «первейший и разумнейший министр, искуснейший генерал, офицер и солдат своего царства, ученейший из всех русских богословов и философов, хороший историк и механик, искусный кораблестроитель и еще лучший мореход: но во всех этих знаниях имеет он очень ленивых и из-под палки действующих учеников».[19] Последнее замечание Вебера очень симптоматично. Это постоянное подчеркивание несоответствия устремлений царя настроениям и чувствам его подданных составляет едва ли не ведущий лейтмотив содержания его записок. Но из этого брауншвейгский резидент делает любопытный вывод. По его мнению, неспособность русских руководствоваться в своих действиях нормами рассудка может стать залогом успеха царя в осуществлении его замыслов, ибо Петр I может привести своих подданных к лучшей жизни только силой: «...там, где у русских господствует страх и повиновение, а не разсудок, там они будут впереди других народов, и если царь еще продержит скипетр свой только 20 лет, то он уведет страну свою, именно вследствие сказанного повиновения, так далеко, как ни один другой монарх в своем государстве».[20] Таково весьма оригинальное понимание стимулов, могущих обеспечить успех преобразований в России, по мнению Вебера. Это тот же взгляд на Россию представителя европейского цивилизованного мира, не способного понять или оценить реаль-

ность иной цивилизации, какой мы видели из сочинения С. Пуфендорфа.

Вебер приводит в своих записках еще одно мнение о русских, связанное с восприятием реформ. Он ссылается на письмо некоего француза, также содержавшее весьма нелестные характеристики подданных Петра I: «Московиты — самые тщеславные и прегордые из людей; они смотрели прежде на другие народы как на варваров и одних себя считали образованными, смышленными и мудрыми. С тех пор как Его Царское Величество познал смешную сторону такого их самомнения и заставил их учиться у иностранцев, они повиновались, но с затаенною гордостию, которая мешает им вникнуть в то, чему их обучают, и заставляет думать о себе, как о народе передовом, более ученом и смышленном, чем их учителя, которых они ненавидят и преследуют. <...> Слава, честь, бескорыстие кажутся им химерою; они не могут вообразить себе никаких предметов духовных и ограничиваются теми, которые доступны чувствам; они не могут понять, что какой-нибудь достойный иностранец, явившийся к ним на службу, руководится побуждением, отличным от желания приобрести только деньги и в добавок издеваются даже между собою над иностранцами...».[21]

Из этих слов с еще большей очевидностью явствует, что только сила и воля Петра обеспечивают в России успех реформ. Между царем и подавляющей частью населения страны существует скрытый разрыв. Уязвленность француза понятна. В чужой стране, даже находясь в привилегированном положении, он не испытывал духовного комфорта и потому принимался рассуждать о «чести и бескорыстии», якобы приведших его в Россию, где не имеют понятия о подобных вещах. Но хлынувшие в страну по приглашению царя европейцы почему-то мало задумывались об уязвленности русских.

Вебер так резюмирует высказывание французского корреспондента, полностью разделяя его взгляды: «...хотя сказанной француз хорошо знает русских, но не касается всех свойств, потому что сам царь, вполне понимающий превосходным умом своим недостатки своих подданных, называет их стадом неразумных животных, которых он делает людьми. Но вообще трудно сломать их упорство или искоренить вполне зло в сердцах их».[22] Вновь восприятие происходящего в России предстает в аспекте противостояния царя своему народу. Остается, правда, неизвестным, где и когда Петр I отзывался о своих подданных, как о «стаде неразумных животных». Сам же Вебер в другом месте «записок» приводит слова Петра о русских солдатах и матросах как образцах «храбрости и победоносности». Пока же отметим, что в свете приведенных выше высказываний становятся ясными источники предвзятых взглядов на русских в Европе, поскольку та же книга Вебера «Преображенная Россия» была широко там известна. Мнение о неуважительном отношении Петра к своим подданным

было вообще довольно распространено среди иностранцев. Достаточно сослаться также на высказывание датского посланника Юста Юля, пребывавшего в России в 1709—1711 годах и заметившего в своем дневнике, что «Царь с самого вступления своего на престол в важных делах почти что не имеет помощников, вследствие чего поневоле заведует всем сам. Ему-де приходится обращать скотов в людей (скотами царь называет природных своих подданных) и предводительствовать ими в войне с одним из могущественнейших мудрейших и воинственнейших народов в мире».[23] С подобными утверждениями будет позднее полемизировать Ш. Монтескье в своем трактате «О духе законов», как мы увидим ниже.

Любопытно сравнить с высказываниями Вебера и Юля мнение другого иностранного очевидца событий, связанных с реформаторской политикой Петра I, — английского инженера Д. Перри. Он также общался с царем и изложил свои впечатления о России в книге «Настоящее состояние России с донесением о том, что ныне правящий Царь совершил наиболее замечательного в своем государстве». Опубликованная в Лондоне в 1716 году книга вскоре была переведена на французский и другие европейские языки, став едва ли не основным источником сведений о переломном этапе в истории России до появления трудов Вольтера. Рассмотрение всех аспектов содержания этого сочинения не входит в нашу задачу. Но показательно, что и Перри отмечает далеко не однозначное отношение населения страны к реформам царя, проявлявшееся даже среди его ближайших сподвижников, с которыми приходилось сталкиваться английскому инженеру, в частности со стороны князя Ф. М. Апраксина и князя Б. А. Голицына. Размышляя о значении Полтавской победы, Перри даже допускает возможность открытого выступления народных масс против царя в случае, если бы в решающем сражении со шведами его постигла неудача. «Несомненно, — пишет Перри, — что если бы царь потерял битву при Полтаве, то не только между казаками, но и между русскими произошло бы восстание; русские также были везде подготовлены к возмущению и во многих местах уже брались за оружие в надежде получить облегчение в притеснениях, которые терпели под царским правлением. Они восстали бы тоже в предположении получить возможность вернуться к прежним своим суевериям и невежеству и избавиться от ненавистных им иностранцев. ⟨...⟩ Но фортуна была благосклонна к Петру в этом деле, и он возвратился триумфатором в Москву».[24] Не ускользнули от внимания Перри и элементы самоуправства в поведении Петра I, демонстрировавшие весьма своеобразные в глазах иностранца представления о справедливости. Он ссылается на указ Петра, по которому «никто не должен передавать прямо царю никакой жалобы, но сначала должен обращаться с прошением к боярину или офицеру при дворе, изложив суть жалобы. И если на два проше-

ния не будет ответа, жалобщик может подать прошение царю, но с угрозой, что после проверки царем жалобы тот из двух, кто будет виноват (будь то боярин или простой подданный), подвержен будет смертной казни. После опубликования указа желающих обращаться к царю с жалобами, не было».[25] Именно это сообщение Перри привлечет внимание Монтескье в главе 26 (Книга XII) его трактата «О духе законов», где как раз рассматривалась проблема терпимости в монархическом государстве.

Перри пробыл в России до 1716 года, около шестнадцати лет. И все это время ему приходилось сталкиваться с «всеобщим отвращением», которое питали многие старые бояре к новым замыслам царя. При этом главная причина неприязненного отношения населения к реформам, по мнению Перри, крылась в недоверии русских к иностранцам, окружавшим царя. Правда, тут же англичанин с гордостью приводит примеры благотворности влияния иностранцев на царя, ссылаясь на отмену Петром I принятого на Руси старинного обычая закапывать живыми в землю по шею женщин, изменивших своим мужьям. После этой отмены, замечает Перри, «Московиты стали добрее к иностранцам».[26] С нескрываемой гордостью упоминает Перри и об основании в Москве по указанию Петра I математической школы, руководителем которой был шотландец Фаргюссон.

Приведенные высказывания иностранцев вместе с памятниками отечественной публицистики свидетельствуют, что путь становления «новой» России был не простым. Известное сопротивление преобразованиям имело место на всем протяжении царствования Петра I и не прекратилось, как мы увидим, и после его смерти. Но реформы были реальностью, независимо от того, кто и как их принимал. Основной массе населения, действительно, казалась не совсем понятной политика царя, направленная на превращение русских людей в иностранцев. Этим частично объясняется недоумение оказавшихся в России европейцев, наблюдавших скрытое противодействие жителей страны инициативам царя. Но именно к русским солдатам обращался Петр перед началом Полтавской битвы и именно благо России было для него тем делом, во имя которого он призывал солдат сражаться, не делая исключения и для самого себя.

В подобном переплетении различных точек зрения и зарождается осмысление новизны переживаемого Россией исторического момента. Причем теоретическое осознание водораздела между прежним и новым ее состоянием формируется на двух уровнях. Идейная оппозиция «древней» и «новой» России возникает, с одной стороны, в умах западных современников происходивших событий. После разгрома Карла XII под Полтавой, появления русского флота на Балтике, начала строительства Санкт-Петербурга в устье Невы и постепенного превращения прежней Московии в Российскую империю они вдруг столкнулись с отсутствовавшим

ранее политическим феноменом на своих восточных рубежах. Теперь они получили возможность наблюдать процесс преобразований и извне, и изнутри. Известия о «новой» России европейцы получали и от своих соотечественников, широкой волной хлынувших в страну по приглашениям Петра и участвовавших в ее преображении. В этом растянувшемся на столетие осмыслении нового качества России будут участвовать и Монтескье, и Фонтенель, и Вольтер, и Ж.-Ж.Руссо, и Мабли, и другие мыслители века Просвещения.[27]

С другой стороны, преобразования Петра, полностью изменившие политический облик страны и сам ход ее исторического развития, предопределили естественную потребность осмыслить свое новое состояние у самих жителей страны. Менялось общественное самосознание. Русские почувствовали себя теперь «политичным народом», что позволило им взглянуть на себя с исторической дистанции. Русские люди как бы ощутили ход времени, история становилась для них мерилом происходивших в современной жизни событий. Это нашло свое отражение, как мы видели, в трактате П. Шафирова. И это новое качество духовного бытия россиян; это живое ощущение пройденной исторической дистанции прекрасно выразил сам Петр I в речи при спуске построенного на петербургских верфях корабля в 1714 году, содержание которой сохранил Вебер в своих «Записках...» и которую царь произнес на борту корабля в присутствии министров и своего ближайшего окружения: «Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось лет 30 назад, что мы с вами здесь у Ост-Зейского моря будем плотничать, и в одеждах немцев, в завоеванной у них же нашими трудами и мужеством стране, воздвигнем город, в котором вы живете; что мы доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышленными; что увидим у нас такое множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государи?»[28] Все аспекты обновления облика России предстают для Петра как итог его неустанных трудов вместе с народом страны. И последним аргументом, подтверждающим правильность избранного пути в глазах царя, является завоеванное отныне уважение к России со стороны «чужестранных государей».

Пройдет семь лет, и в связи с заключением Ништадтского мира, подводившего черту под многолетней Северной войной, сенат поднесет Петру I титул императора. Отмечая заслуги Петра перед Россией, государственный канцлер Г. И. Головкин в своей приветственной речи 22 октября 1721 года по этому случаю выделил именно аспект повышения международного авторитета России, отныне ставшей признанной европейской державой: «Единыя Вашими неусыпными трудами и руковождениями мы, ва-

ши верпии подданные, из тмы неведения на феатр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены и во общество политичных народов присовокуплении».[29]

Так рождалась идея «новой» России. И она будет оплодотворять созидательную деятельность не одного поколения русских людей XVIII века — ученых, поэтов, писателей, зодчих, художников, — способствуя перенесению на русскую почву лучших достижений европейской цивилизации и последующему расцвету отечественной культуры XIX века.

Но эта идея «новой» России высветила еще один аспект общей проблемы становления русского общественного самосознания. Он обозначился почти одновременно с вышеуказанным. Сближение с Европой поставило со всей остротой вопрос о самодостаточности российского этноса, о значении и месте в историко-мировом процессе многовекового опыта русской нации с неповторимыми формами ее духовного и материального бытия. От всего ли надо было отказываться и все ли бездумно надо было перенимать у Европы. В какой мере нравы, обычаи народа, православная вера, ставшая с X века неотъемлемой частью духовной жизни Руси, могли быть отменены или заменены на что-то другое?

О соотносимости законов и нравов, о роли конфессионального фактора в жизни народов задумывались уже европейские мыслители эпохи Просвещения (тот же Ш. Монтескье). В России проблема национальной самобытности культуры, вопрос сохранения отечественных нравов после реформ Петра I обрел дополнительную актуальность. В сущности, это была одна из граней более широкой проблемы: «Россия и Запад». В результате петровских нововведений многое из того, что определяло самобытность уклада русской жизни и ее духовной культуры, теперь, казалось бы, безвозвратно отошло в прошлое. Но оно оставалось как наследие национальной истории, как традиции, как историческая память. И это наследие продолжало жить в сознании русских людей. Так вырисовывается другая сторона медали — идея «древней» России как альтернатива западнической модели развития Российского государства, ставшей на какое-то время решающим фактором включения русского этноса в европейский мир.

Культурно-идеологическое осмысление этого аспекта проблемы возникает несколько позднее, когда начнут обнаруживаться некоторые негативные стороны тотальной европеизации русского общества, особенно в среде дворянства. Но отдельные попытки выработки альтернативных путей преобразований с опорой на внутренние ресурсы и собственный опыт возникают уже в ходе реформ. И здесь зарождается вторая линия эволюции русской общественной мысли XVIII века, отражавшая специфику национального менталитета и тех духовных ценностей, которые были порой незаслуженно отвергнуты. В эпоху Петровских преобразований такие попытки не могли быть приняты к руководству. Но

идеологическое осознание их необходимости имело место. И свидетельство тому мы находим в творчестве другого яркого публициста Петровского времени — И. Т. Посошкова. Он оставил замечательные по своей глубине и прозорливости экономические и дидактические сочинения. Содержание их позволяет в полной мере оценить сложность тогдашней исторической обстановки, ибо показывает, что соотечественникам Петра далеко не были чужды понятия чести, славы и бескорыстия, как о том писали приезжие чужестранцы. Как справедливо определил эту личность Н. П. Павлов-Сильванский, «в противоположность западникам — Петру и его ближайшим сотрудникам, Посошков был типичным московским прогрессистом»[30] и как бы принадлежал сразу двум эпохам — XVII веку и XVIII.

Родившийся в 1652 году Посошков сформировался в атмосфере домостроевского уклада Московской Руси времени царствования Алексея Михайловича, но в наиболее зрелый период своей жизни был свидетелем тех бурных перемен, которые происходили во время правления Петра. Богатый жизненный опыт, энергичность и предприимчивость этого выходца из крестьян, ставшего позднее купцом и промышленником, широкая эрудированность и пытливый ум, определившие его способности мыслителя и экономиста-самоучки, были поразительны. Посошков живо интересовался всем. Он находился в переписке с местоблюстителем патриаршего престола Стефаном Яворским и высказал ему ряд ценных советов по повышению авторитета Русской православной церкви, усилению грамотности духовенства. Его многообразные проекты по улучшению дел в государстве и активное стремление участвовать в преобразовательном процессе преследовали одну цель — благо Российского государства. В этом отношении он был достойным представителем петровского времени, сразу принявшим близко к сердцу программу Петра. Этим же была вызвана и его безуспешная попытка выступить в конце жизни непрошеным советником царя, что в какой-то мере определило его трагическую судьбу в 1726 году, когда он умер в тюрьме. Но остались его труды, правда немногочисленные. Главным среди них, представляющим для нас особый интерес, следует назвать «Книгу о скудости и богатстве» — уникальное по своей содержательной насыщенности сочинение. Это экономический трактат и одновременно яркое публицистическое выступление, раскрывающее узловые аспекты тогдашнего политико-экономического состояния страны. Написанная в 1724 году и предназначенная для царя книга осталась Петру неизвестной, как она оставалась неизвестной широкой общественности вплоть до 1772 года.

«Книга о скудости и богатстве» была плодом многолетних наблюдений и размышлений, и ее замысел возник у автора задолго до окончательного оформления. Об этом можно судить по другому сочинению Посошкова — коротенькому фрагменту, представ-

лявшему собой, по-видимому, первоначальный набросок замысла. Этот фрагмент относится к 1704 году и был написан за двадцать лет до завершения трактата. Но в нем уже проглядывают черты будущего зрелого сочинения. В исторической науке данный отрывок принято называть «Доношение о исправлении всех неисправ». Программность его не вызывает сомнений.

Уже сам зачин «Доношения...» пронизан чувством безысходного пессимизма: «Аще кто восхощет умныма очима воззрети на житие наше православно российское и на вся поведения и дела наша, то не узрит ни во единой какой любо вещи здравого дела. 〈...〉 Во всем духовенстве и иночестве прямого здравого дела нет. Ни во церквах прямого порядка не обрящеши, ниже во чтении и пении, ни в приходящих людех, ниже во гражданском, ниже в поселянском, ни в воинском, ни в судейском, ни в купецком, ни в художном, ниже в самых скитающихся по улицам нищих, и не вем такового дела или вещи какой, еже б пороку в ней не было. Несть в нас в целости от главы даже и до ногу, и живем мы всем окрестным государствам в смех и в поношение».[31]

Пафос зачина разительно напоминает те неприглядные выводы о нравственной несостоятельности русских людей, которые мы приводили из отзывов иностранцев. Характерно, что и меру оценки состояния дел в стране Посошков основывает на мнениях о ней со стороны «окрестных государств». В сущности, такая позиция была сродни отношению к положению дел в России самого Петра, когда он принимался за реформы. Это был взгляд на самого себя русского человека, задумывающегося о собственном состоянии. Это был в то же время акт духовного самосознания, и, с этой точки зрения, в данном фрагменте (уже в приведенных фразах) было по-своему заключено ядро концепции будущего трактата. Вместе с тем в них своеобразно предвосхищалась и композиция книги: были перечислены сословия и круги российского общества, положение которых должно было стать предметом анализа в трактате, причем именно в том порядке, в каком предполагалось располагать главы сочинения.

Но было одно существенное отличие в позиции Посошкова от западнической точки зрения. Автор фрагмента верил во внутренние силы России, способные обеспечить преодоление всех неустройств. И эти надежды он связывал с восстановлением доверия у народа к Церкви, с обновлением расшатанных к концу XVII века устоев православного вероисповедания: «А за помощию Божией вся б неисправы исправити было возможно. И так нам Русь свою мочно исправити во утверждении веры, что никакие воды не поколеблют ее, ниже львы, а не то что волченята вредити могут».[32] Собственно наведению порядка в вопросах веры и была посвящена основная часть сохранившегося до нас фрагмента.

И второй фактор, с которым связывает Посошков свои надежды, это царская власть, в чьей воле сохраняется единственная

возможность исправить существующее положение в стране: «Точию на сие великое и велехвальное дело надобна воля со желанием великого государя. И еже б избрал на такое дело разумного и желательного человека и власть имеющаго таковую, чтоб ему никто из великих людей противен не был, но и духовнаго чина на его б волю слагалися. И естли сия вся тако великий государь состроит, то всем, еже под солнцем, другаго такова славнаго и богатаго и храбраго государства не обрящется, и вся прежде бывшая наша поношения обратятся в возвышения и славу».[33] И в этом также Посошков предстает типичным представителем своего времени. Он за «новую» Россию, но он пытается найти источники ее обновления в ней самой, не исключая опоры на те идеологические и общественные силы, которые Петром были отвергнуты.

Дата написания упомянутого фрагмента приходится на самый ранний период преобразований. Прямых апелляций к Петру, учитывая отрывочность и явную незавершенность сочинения, в нем нет. Но связь его с содержанием будущего трактата несомненна. В подготовленной за год до смерти Петра «Книге о скудости и богатстве» Посошков развернет свои мысли в полном объеме. Он действительно выступает в ней своеобразным сподвижником царя, взяв на себя смелость изложить ему свое видение дела.

В своем трактате Посошков давал широкую картину состояния государственных дел в России конца XVII — первой четверти XVIII века и излагал свои предложения по исправлению многочисленных неустройств в экономической, финансовой, военной, судебной, административной и других сферах правительственной политики. Причем на первое место он ставил заботу о нравственно-духовных устоях жизни народа. В отличие от Шафирова он рассматривает состояние России как бы изнутри, основываясь не столько на документах, сколько на собственном жизненном опыте. И при этом проявляет прекрасную осведомленность о жизни всех социальных слоев страны, об узловых проблемах бурного времени преобразований.

Чего желает Посошков? Чтобы в России был порядок, чтобы русские люди жили нравственно и достойно, чтобы Российское государство было богатым и сильным, пользуясь уважением со стороны других народов. Что для этого надо сделать? Это и излагает он в своем трактате. Государство Посошков рассматривает как единство взаимосвязанных социальных групп, в котором каждое сословие, каждый чин выполняет только ему свойственную функцию, и тем самым обеспечивается стабильность и процветание государственного организма: духовное здоровье народа должно обеспечивать «священство», безопасность государства — «военный люд», правосудие — «судейские люди», торговлю и финансовое благополучие — «купечество», промышленность — «художественные мастера». Своеобразный анализ роли в общест-

ве перечисленных социальных слоев и составляет предмет внимания автора. Последние специальные главы посвящены вопросам положения крестьянства и служилому дворянству. Есть даже глава о разбойниках — этого характерного явления российской социальной жизни. Такова структура трактата.

Рассмотрение всех содержательных аспектов этого необычайно насыщенного труда не может входить в мою задачу. В контексте решения основной проблемы монографии интересно проследить, как человек включается в процесс создания «новой» России, оставаясь в глубине души представителем старого уклада жизни, далеко не все принимая из того, что несла с собой «европеизация». При всей безусловной поддержке политики Петра I в осознании необходимости перемен, при всей общности конечного пафоса их идейных устремлений в ряде случаев Посошков занимает позицию, явно расходившуюся с той, которую проводил царь. Так, например, на первое место в ряду условий, могущих обеспечить исправление существующего положения, он ставит повышение авторитета Церкви в государстве. «Священство — столп и утверждение всему благочестию и всему человеческому спасению, ибо без него никаковыми мерами до царства небесного никакову человеку дойти невозможно»,[34] — прямо заявляет Посошков уже в предисловии. Сотериологическая установка мировоззренческой позиции автора очевидна. И вся 1-я глава трактата посвящена детальному анализу положения в государстве служителей культа. Он фиксирует падение веры в народе: «От презвитерского небрежения уже многие нашего российского народа в погибельные ереси уклонилися. ⟨...⟩ И так было до нынешнего 723 года в церквах пусто, что и в недельный день человек дву-трех настоящих прихожан не обреталося».[35]

Укрепление благочестия в обществе — вот в чем видит Посошков один из главных рычагов оздоровления Российского государства. И основная ответственность за это лежит на священниках. «И мое мнение тако мысли моея касается, яко вся наша погибель и спасение залежит во презвитерах. Аще они будут немыслени, то и люди паствы его немыслени будут, а аще презвитеры будут благоразумны и святы, то и люди паствы его вси будут вразумительны и к святости близки».[36] Но для этого нужно, чтобы священники были грамотны, чтобы они сами вели высоко нравственный образ жизни и могли посвящать все свое время и силы только пастве. Посошков излагает конкретные меры по исправлению существующего положения.

Прежде всего во всех епархиях он предлагает построить школы, где должны учиться дети священников, дьяконов, дьячков и пономарей, и, кто не прошел школьного учения, того в священнический чин или в дьяконы не рукополагать. Он предлагает напечатать и разослать во все школы Библии, учительные сборники, Четьи-Минеи и другие церковные книги.

Далее Посошков предлагает строго усилить требования к нравственному поведению клира. «И того за хотящим архимандричества смотрити, не лаком ли ко имению и не падок ли к питью и не склонен ли к блуду, чтоб, будучи в архимандритстве, не нанес бы на тот свой чин пороку. <...> А буде кой поп или дьякон, паче же аще инок, пойдет пить на кабак или в корчму, то таковых надлежит наказать сугубо, дабы на духовный чин пороку не наносить».[37] Нравственность духовенства — первое условие духовного здоровья народа.

И наконец, Посошков поднимает вопрос об обеспечении священников возможностью сосредоточиваться исключительно на духовном окормлении паствы вместо того, чтобы бóльшую часть времени искать средства для пропитания себя и семьи и заниматься хозяйством. Пока, по его наблюдениям, сельские попы мало чем отличаются от пахотных мужиков, и от этого прежде всего страдает вера, когда «ради земледельства поповского стоят Божии церкви яко пустые храмины без славословия Божия, а православные христианы за их земледельством умирают ничим же отменно от скота».[38] Выход из положения Посошков находит в практике введения десятины. Он предлагает, чтобы все дворяне и крестьяне, находящиеся в приходе, от всех своих доходов, от собираемого урожая, от накошенного сена и т. д. отдавали бы десятую долю священникам, с тем чтобы те занимались бы только церковной службой.

Примечательно, что Посошков нигде ни словом не касается вопроса об отмене Петром I института патриаршества в России и введения Святейшего Синода. Часть мыслей, высказанных в трактате, он уже излагал ранее в своих посланиях к местоблюстителю патриаршего престола митрополиту Стефану Яворскому. Со смертью этого уважаемого всеми иерарха, ставшего, кстати, президентом Святейшего Синода, вопрос о кандидатах на замещение высшего поста в Русской православной церкви для Петра больше не стоял. В политику царя в этом вопросе Посошков, видимо, предпочел не вмешиваться.

Таким образом, в понимании главных причин социального неустройства и источников их исправления Посошков остается человеком XVII века, рассматривая происходящее в системе ценностей не будущего, но прошедшего. Не только выучка у Европы в перенимании наук, внешних черт быта, одежды, модного поведения, но и соблюдение чистоты веры отцов, укрепление основ христианского благочестия — вот в чем видит он спасение России.

Положение в армии — другая тема, волнующая Посошкова. Ей он посвящает 2-ю главу трактата «О воинских делех». Здесь он выступает безусловным сторонником нововведений. Превращение армии в боеспособную, профессионально подготовленную силу должно составлять главную заботу государства. Судя по содержанию главы, сам Посошков какое-то время служил в войсках

и прекрасно знал все тонкости воинской науки. Он сразу ставит вопрос ребром. «В военном деле аще люди будут в военном артикуле не весьма навыклыи и в ружье силы не разумеющии, к тому же аще и стрелять цельно неумеющии, то весьма таковые люди в военном деле будут не споры и неприятелю не страшны. А еще же к тому и пищею будут неизобильны, то и наипаче плоха будет у таковых служба. Есть слух, что иным солдатам и по десяти алтын на месяц денежного жалованья не приходит, и о таковой их скудости, чаю, что никто великому Государю не донесет, но, чаю, доносят, будто вси сыти и всем довольны».[39]

Фактически в этих трех фразах первого абзаца главы Посошков сразу обозначает основные недостатки положения в армии, исправление которых необходимо для поднятия боевого духа солдат и военных успехов. Повышение уровня обученности солдат, серьезное улучшение их материального содержания (от должной еды и до соответствующей современным требованиям экипировки) и увеличение денежного довольствия — эти меры он считает необходимыми в первую очередь, ссылаясь на конкретные примеры многочисленных нарушений, свидетелем которых он был. Последней инстанцией, на которую возлагает свои надежды автор трактата, остается Государь. В его воле изменить положение к лучшему. Но, как полагает Посошков, царь недостаточно информирован об истинном положении дел. В этом Посошков видит причину всех бед.

Центральное место в трактате занимала 3-я глава «О правосудии», посвященная рассмотрению системы судопроизводства в России. Здесь государственность позиции Посошкова проявляется в полной мере. Он показывает себя великолепным знатоком многих тонкостей судного дела, и его рекомендации поражают компетентностью суждений и прозорливостью. Надо сказать, картина судебных неустройств, существовавших в стране и раскрываемых Посошковым, свидетельствовала, что эта сфера социальной жизни извечно оставалась в России наиболее неблагополучной. Допетровская «древняя» Русь мало чем изменилась, несмотря на усилия царя-преобразователя. Посошков и теперь пытается исходить из высших нравственных принципов, ставя во главу угла законы православного благочестия. В этом он по-прежнему остается человеком XVII века: «Бог — правда, правду он и любит. И аще кто восхощет Богу угодити, то подобает ему во всяком деле правда творити. Наипаче всех чинов надлежит судьям правда хранити (...). Понеже судья судить имянем царским, а суд имянуется Божий, того ради всячески судье подобает ни о чем тако не старатися, яко о правде, дабы ни Бога, ни Царя не прогневити».[40]

Но именно правды в российских судах Посошков и не видит. И его поражает больше всего то, что это имеет место в стране, издревле принявшей православие — эталон христианского благо-

честия в его глазах: «Нам сие велми зарочно, что не то что у иноземцев, свойственных христианству, но и у бесурман суд чинят праведен, а у нас вера святая, благочестивая и на весь свет славная, а судная расправа никуды не годная, и какие Указы Императорского Величества не состоятся, вси ни во что обращаются, но всяк по своему обычаю делает».[41]

Волокитство, взяточничество, некомпетентность судейства, полное отсутствие контроля за исполнением дел, наконец, отсутствие твердых постоянных узаконений как основы судопроизводства — таковы основные пороки судебного дела в России, как их видит Посошков. По каждому из них он высказывает свои взгляды на их причины и дает предложения по исправлению положения. Другое дело, что эти предложения не были услышаны его современниками. Примечательно, что Посошков, словно опережая время, ставит проблемы, решение которых на правительственном уровне будет сохранять свою актуальность на протяжении почти всего XVIII века. Приведу два примера.

Так, вопрос о коррупции в судах он ставит в прямую зависимость от материальной необеспеченности чиновничьего судебного персонала. И он высказывает здравую идею. В качестве единственного надежного средства покончить с практикой мздоимства и коррупции установить всем судьям и приказным людям постоянное государственное жалованье: «А судьям и всем приказным людям государево жалованье денежное и хлебное надлежит оставить, чтобы в том жалованье казна великого государя напрасно не тратилась. <...> Мне мнитца, лучши учинить, пропитания ради, главным судьям и приказным людям учинить оклад з дел, по чему с какова дела брать за работу».[42] Актуальность подобной меры, подсказанной Посошковым, подтверждалась многолетней неупорядоченностью данного вопроса в России, ждавшего своего решения вплоть до царствования Екатерины II. Взяточничество являлось неискоренимой общественной болезнью, разъедавшей всю систему судопроизводства. Частично эта болезнь уходила корнями в предшествующее столетие (вспомним сатирическую повесть «Шемякин суд»). Но широкое распространение этого социального порока также в известной мере было связано с процессами перестройки административного управления, вызванной реформами первой четверти XVIII века. Образование коллегий, департаментов, губернских канцелярий, судебных палат резко усилило бюрократию и рост численности чиновничьего аппарата. Этой массе чиновников, находившейся на государственной службе, надо было платить за исполняемую работу. При тех огромных средствах, которые приходилось отныне изыскивать на содержание новой регулярной армии, на создание флота, на осуществление различных строительных проектов, а главное, на ведение войны государственных денег на оплату труда самого низшего слоя чиновного люда попросту не хватало. Петр I нашел выход из

положения за счет введения практики акциденций. Если главным чинам канцелярий в коллегиях было установлено постоянное жалованье, то низшим служащим судов и коллегий — приказным служителям, писцам, подъячим — было официально разрешено пользоваться акциденциями, т. е. доходами от добровольных подношений челобитчиков за произведенный труд. Подобная форма оплаты довольно скоро превратилась в источник вымогательства и коррупции, на что и указывал Посошков, предлагая свой план решения проблемы. Впрочем, его голос был тогда не услышан. Практика акциденций сохранялась вплоть до царствования Екатерины II. Она издала ряд указов о наказании чиновников за взятки, в частности известный манифест от 15 декабря 1763 года «О наполнении судебных мест достойными и честными людьми; о мерах к прекращению лихоимства и взяток; о взимании с 1 генваря 1764 года по приложенному реестру положенных по новым штатам на жалованье разных сборов и об отсылке оных в Штате-Контору»,[43] который был призван упорядочить систему производства и определял источники средств, которые отныне правительство выделяло в виде твердо установленного жалованья для чиновников коллегий, канцелярий и присутственных мест в провинциальных судах. Но взяточничество настолько глубоко проникло в практику судопроизводства, что его уже невозможно было искоренить никакими указами и манифестами.

Посошков остро чувствует зависимость степени коррумпированности судей от социального положения чиновничьего аппарата, и он предлагает «великородных судей», во избежание жестокости наказаний за взятки, к работе в судебных инстанциях не привлекать: «...лучши изначала ради установления правды в суды посадить из ниских чинов, а паче из приказных людей, кои в делах искусны и страх Божий в себе имут. ⟨...⟩ А высокородные на уложенныя уставы мало смотрят, но как кто восхощет, так и делать будет по своей природной пыхе».[44]

Эта демократическая ориентированность умонастроений Посошкова, при всем несомненном монархизме его общей идеологической позиции, помогает понять и еще одно кардинальное предложение экономиста, касавшееся упорядочения системы законоположения в России. Он предлагает создать «правосудную книгу», или «судебник», который бы содержал весь свод российских узаконений с использованием как древних статей Уложения царя Алексея Михайловича, так и иностранного опыта, и на базе, естественно, современных указов упорядочить ведение судебных дел: «...надлежит сочинить правосудную книгу с подлинным рассуждением на всякие дела. ⟨...⟩ И правосудного ради уставу надлежит древнего суда Уложение и новоуставные, гражданские и военные, печатные и письменные, новосостоящие и древние указные статьи собрать. <...> И к тем русским рассуждениям, прежним и нынешним, приложить и из немецких судебников, и кои статьи и из

иноземских уставов будут к нашему правлению пригодны, то тыи статьи и взять и присовокупить к нашему судебнику».[45]

К сочинению, с последующим обсуждением и принятием подобного «правосудного устава», Посошков предлагает привлечь все слои российского населения. Это необычайно смелая мысль для своего времени. В сущности, Посошков высказывает идею создания нового свода законов на базе общественного волеизъявления, предвосхищая по-своему знаменитую акцию Екатерины II с ее созывом Комиссии по сочинению Нового уложения, предпринятым в 1767 году: «И к сочинению тоя судебныя книги избрать человека два или три из духовного чина самых разумных и ученых людей и в божественном писании искусных, такожде и от гражданства, кии в судебных и во инных правительных делах искусных, от высокого чина, кои не горды и ко всяким людям нисходительны, и от ниских чинов, кои не высокоумны, и от приказных людей, кои разумны и правдолюбивы, и от купечества, кии во всяких делах перебывались, и от салдат, кии смысленны и в службах и нуждах натерлися и правдолюбивые, и из людей боярских, кии за делы ходят, и из фискалов. А мнитца мне не худо бы было выбрать и из крестьян, кии в старостах и в соцких бывали <...>. И, написав тыя новосочиненныя пункты, всем народом освидетельствовать самым вольным голосом, а не под принуждением, дабы в том изложении как высокородным, так и нискородным, и как богатым, так и убогим, и как высокочинцам, так и нискочинцам и самым земледельцам обиды бы и утеснения от недознания коего ждо их бытия в том новоисправном изложении не было».[46] Таков поразительный по своей смелости и общему демократическому пафосу проект Посошкова. Последней инстанцией в апробировании и одобрении новосочиненного свода узаконений должен быть, по мысли автора трактата, монарх.

Посошков особо подчеркивает ту роль, какую должны играть суды в отстаивании государственных интересов в делах торговли и привлечения в страну богатства. Примеры политики благоприятствования своим купцам, проводимой в европейских странах, для него являются решающим доводом в пользу применения подобной практики в России; у нас же это остается в небрежении. «В немецких землях вельми людей берегут, а наипаче купецких, и того ради у них купецкие люди и богати зело. А наши судьи нимало людей не берегут и тем небрежением все царство в скудость приводят, ибо в коем царстве люди богати, то и царство то богато, а в коем царстве будут люди убоги, то и царству тому не можно слыть богатому. Я сего не могу знать, что-то у наших судей за разум, что ничего в прок государству не прочат, только прочат имение себе, и то на час, а царству так они прочат, что ни за что многие тысящи рублев теряют».[47]

Проблема богатства государства, рассмотрение мер по приращению доходов в стране также составляют постоянный предмет

размышлений Посошкова. Этой теме посвящена в трактате глава «О купечестве». Данная сфера социальной жизни России была известна Посошкову досконально, поскольку была связана с его профессиональной деятельностью. Он видит в купечестве важнейшее сословие страны: «...без купечества никаковое, не токмо великое, но ни малое царство стояти не может».[48] Но и здесь он вынужден констатировать вопиющие неустройства.

С одной стороны, он отмечает равнодушие государства к делам торговли: отсутствие поддержки собственных купцов, неупорядоченность таможенной и налоговой политики, ущемление отечественных производителей товаров в пользу зарубежных торговцев. С другой стороны, он указывает на традиционное равнодушие и нерадивость русских купцов к своей выгоде и встречающиеся сплошь и рядом случаи нечестной торговли и обмана в сделках.

Посошков предлагает жесткие меры по ограждению интересов государства на основе принципов меркантилизма. Ввоз иностранных товаров не должен превышать вывоз собственных. Необходимо чужеземные товары не покупать, а менять на наши, причем по той же цене, по которой они привезены к продаже. Важно не позволять иностранцам диктовать правила торговли в ущерб российским интересам: «Сие странное дело, — пишет Посошков, — что к нам приехав с своими безделками, да нашим материальным товарам цену устанавливают нискую, а своим цену ставят двойную, а иным товарам и выше двойныя цены».[49] И он резонно замечает, что претензии и гордость зарубежных купцов ни на чем не основаны, кроме извечных представлений о якобы ущербности России, в то время как российские товары ни в чем не уступают иноземным, но даже их превосходят: «Для нас хотя вовсе они товаров своих к нам возить не будут, мы можем прожить и без их товаров, а они без наших товаров и десяти лет прожить не могут. И того ради подобает нам над ними господствовати, а им рабствовати пред нами и во всем упадка пред нами держать, а не гордость».[50] Забота Посошкова об интересах отечественной торговли была вполне понятна в свете той активной экспансии зарубежных товаров в Россию, сопровождавшей освоение российского рынка западными купцами на новых для них торговых путях. Но для русского экономиста, как мы видели, сближение с Европой в торговой сфере отнюдь не было окрашено радужным светом благожелательства к России со стороны западных партнеров. Необходимость защиты российской торговли от иностранной конкуренции диктовалась финансовыми интересами страны, и государственник Посошков это прекрасно понимал.

Любопытно в этой связи сравнить его позицию с позицией упоминавшегося выше Вебера, также весьма внимательно следившего за состоянием экономического и финансового положения в

России переходного периода. В свете тех огромных издержек, которые Петр должен был нести на ведение войны, вопрос об источниках доходов казны был первоочередным. Вебер в своих «записках» со знанием дела указывал эти источники: доходы от питейных домов и кабаков, от монополии за продажу табака, за продажу соли, монополии на все товары Сибирского региона (меха, китайский шелк, китайское золото), наконец, доходы от пошлин на ввозимые и вывозимые товары. Но, замечает Вебер: «Его Величество мог бы извлечь из подвластных ему стран несравненно больше, если б только он окружил себя мудрыми и верными советниками и финансы всех провинций своих поставил на немецкую ногу. 〈...〉 Но кроме того, что 10 или 12 иностранцам трудно и даже невозможно привести такое дело в незнакомой им стране в лучший порядок, царь в упорстве своей нации и в любви ея к неправде встречает еще величайшие препятствия...».[51]

Для Вебера, естественно, единственные, на кого Петр I может опереться в проведении своей политики, это окружающие царя иностранцы. Он вновь указывает на разрыв устремлений монарха с желаниями и настроениями своих подданных, говоря о некоей мифической приверженности русских к «неправде». На этом фоне трезвая позиция Посошкова, основанная на жизненном опыте, не оставляет места для иллюзий. Он убежденный патриот: «Немцы никогда нас не поучат на то, чтоб мы бережно жили и ничего б напрасно не тратили, только то выхваляют, от чего бы пожиток какой им припал, а не нам»,[52] — замечает он по адресу иноземных купцов. И в другом месте ниже, подводя итог своим размышлениям о практике торговых отношений с иностранцами, заключал: «Нам надлежит свой ум держать, и что нам к пополнению царственному потребно и прибылно, то надлежит у них покупать, а кои вещи нам не к прибыли или кои не прочны, то тех отнуд у них не покупать».[53]

Но в чем Посошков оказывается невольно солидарен с брауншвейгским резидентом, так это в постоянных апелляциях к Петру как единственному реальному двигателю совершаемых в России перемен. Мысль о том, что усилия монарха зачастую не находят поддержки у его подданных, что реформы нередко наталкиваются на сопротивление тех, кто скрыто уповает на возврат к прежним порядкам, эта мысль время от времени встречается в его рассуждениях: «Видим мы вси, как великий наш монарх о сем трудит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его желанию немного, он на гору аще и сам-десят тянет, а под гору миллионы тянут, то како дело его споро будет? И аще кого он жестоко накажет, ажно на то сто готово, и того ради, не изменя древних порядков, колко не бившись, покинуть будет».[54] Посошков и мыслит себя в числе таких «пособников» желаниям царя. И все, что он пишет, предназначалось прежде всего Петру I как последней инстанции в исправлении тех многочисленных неуст-

ройств, которые не давали российскому государству быть обильным и благополучным.

Кстати, опасения Посошкова относительно неблагополучия экономического состояния страны и скрытой оппозиции политике монарха-преобразователя были не так уж беспочвенны. Вскоре после смерти Петра I обнаружилось, что финансовое положение империи к концу второй четверти XVIII века было в тяжелом состоянии. Казна была опустошена, а крестьянство находилось на грани разорения. Многие указы Петра с его смертью просто не выполнялись, и попытки ревизии реформ исходили порой от тех, кто были сподвижниками Петра при жизни.

Когда в феврале 1726 года был учрежден Верховный Тайный Совет, то основным вопросом, которым он прежде всего занялся, стала разработка мер по облегчению положения крестьян, доведенных до нищенского состояния в результате Северной войны.[55] Императрица Екатерина I предложила членам Совета высказать свое мнение по данному вопросу. Вот что, например, уже в начале своего «Мнения» писал князь А. Д. Меншиков: «По рассуждении о нынешнем состоянии всероссийского государства оказывается, что едва ли не все дела, как духовные, так и светския, в худом состоянии находятся и скорейшего исправления требуют; и каким неусыпным прилежанием блаженныя и вечно достойныя памяти Его Императорское Величество ни трудился в установлении доброго порядку во всех делах, как духовных, так и светских и в сочинении пристойных регламентов, в надежде, что уже весьма надлежащий порядок во всем следовать будет, однако ж того по се время не видно».[56] Многие члены Верховного Тайного Совета разделяли позицию Меншикова. Страна действительно была на грани экономического кризиса, ибо последние годы царствования Петра I сопровождались неурожаями.

Очень многое из введенного Петром подвергалось со стороны верховников пересмотру. Была уменьшена подушная подать и отменена натуральная повинность при расквартировке армии по уездам. Сама расквартировка также была отменена указом февраля 1727 года.

Подушный принцип сбора податей с крестьян, который ввел Петр I, также подвергся критике. Верховники предлагали вернуться к системе подворной раскладки подати, существовавшей в Московской Руси в XVII веке.

Был поставлен вопрос и об отмене административной реформы Петра 1718—1722 годов, по которой благодаря введению надворных судов на местах суды отделялись от администрации, а также утверждалась должность камериров, надзирателей финансовых сборов, подчиненных камер-коллегии, с параллельным введением института фискалов, призванных осуществлять контроль над местной администрацией. Верховный Тайный Совет высказался за уничтожение этих должностей и надворных судов.

Попутно была уничтожена и должность генерал-прокурора, которую занимал П. И. Ягужинский, отправленный послом в Австрию, а затем в Польшу.

По мнению Н. П. Павлова-Сильванского, все реформы Петра держались на личной энергии царя. А главнейшие деятели петровского времени не сочувствовали этим делам, что и обнаружилось после смерти царя. Своеобразным комментарием поведению верховников, как и конечному выводу автора статьи, могут служить наблюдения и мысли И. Т. Посошкова, высказанные им в «Книге о скудости и богатстве» (1724), хотя в отличие от многих сподвижников Петра он не просто сочувствовал реформам Петра I, но, как мы могли убедиться, видел в них единственный путь оздоровления страны. Однако голос Посошкова не был в свое время услышан. Становление «новой» России в основных своих направлениях продолжало развиваться в русле намеченных Петром процессов сближения с Европой.

Последнее, на чем хотелось бы остановиться, это на отношении Посошкова к практике проводившегося Петром I активного привлечения в Россию иностранных специалистов. Из «Записок» Вебера видно, что, приглашая чужеземных мастеров, царь обеспечивал пребывание их в стране самыми выгодными условиями. После описания своего посещения строительства Петергофского дворца и парка, где работали лучшие мастера, Вебер замечает: «В это же время царь приказал написать своему агенту во Францию, чтобы он приискивал как можно больше всякого рода искусных ремесленников и договорил их приехать в Россию на выгодных для них условиях, обещая им, между прочим, что они будут иметь даровые помещения и первые 10 лет свободу от всех податей и повинностей».[57] Подобная практика подкреплялась и именными указами Петра I.

Посошков не отрицает пользы привлечения иностранных мастеров в Россию, но помимо участия их в осуществлении художественных и строительных проектов он предусматривает в качестве обязательного условия их пребывания в России подготовку кадров из числа местных учеников: «А буде иноземец приедет в Русь художник доброй мастерства именитого и у нас в Руси небывалого, и таковому надлежит дать дом, и отдать ему в наученье человек десяток или и болши, и учинить с ним договор крепкой, чтоб он тех учеников учил прилежно и нескрытно».[58] Как видим, на первом месте для Посошкова стоит забота о подготовке отечественных мастеровых, способных в последующем обеспечивать нужды страны. Такая забота имела, по-видимому, под собой определенные основания, ибо из последующих рассуждений Посошкова становится ясно, что далеко не все иностранные специалисты приезжали в Россию с честными намерениями: «А буде которой иноземец, по древнему своему обыкновению иноземческому, будет шмонить, а о ученье учеников не радеть, но чтоб, деньги

выманив, за море уехать, то ⟨...⟩ с чем он приехал, с тем и назад выслать его нечестно, и чтобы он в Руси у нас не шатался».[59] Посошков вплотную подходит к проблеме, которая станет одной из узловых в сатирической литературе второй половины XVIII века — проблеме роли иностранцев в воспитании российского юношества. Но об этом речь пойдет в последующих главах.

Еще одной, достаточно активной, силой, обеспечивавшей идеологическую поддержку политики Петра в его стремлении создать «новую» Россию, была часть высшего российского духовенства из числа образованных иерархов, таких как Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский, Феофилакт Лопатинский и др. В своих проповедях, «словах», «поучениях», в своих письменных сочинениях они разъясняли и пропагандировали важнейшие события времени в нужном для царя направлении. Не без влияния самого Петра I эти представители духовенства оказывались порой причастными к акциям особого культурного просветительства, столь характерного для Петровской эпохи. Отмечу, например, деятельность Гавриила Бужинского, епископа Рязанского и Муромского, бывшего переводчиком исторических и юридических сочинений, пользовавшихся популярностью в Европе и отражавших уровень тогдашней научной мысли. Инициатором этих переводов в известной мере был сам Петр I. Помимо упоминавшегося выше труда С. Пуфендорфа «Введение в европейскую историю», переведенного по указанию царя Гавриилом Бужинским, он переводит другое сочинение этого же ученого — «О должности человека и гражданина» (СПб., 1726). Идеи естественного права и идеи гражданского права становились отныне достоянием русских читателей. Для неискушенных в теории русских умозрительные постулаты этого полунаучного пособия открывали совершенно новый мир представлений об обязанностях человека перед властью, перед государством, перед самим собой. Благодаря подобным трудам создавались предпосылки нового уровня самосознания. Понятия общественного долга и сословных прерогатив пришли на смену домостроевским устоям, определявшим правосознание Московской Руси. И Гавриил Бужинский осознает идеологическую важность собственной переводческой деятельности. В предисловии к переводу он рассматривает свой труд как еще один шаг в приобщении соотечественников к плодам европейской образованности, видя главные заслуги в этом в неутомимой деятельности Петра I. Благодаря трудам этого монарха Россия «к такому ныне приведена состоянию, что преславным в Европе государствам, от древле процветающим, не токмо равна, но и всем удивительна пребывает».[60]

Еще ранее, также по прямому указанию Петра I, Гавриил Бужинский перевел весьма популярное в Голландии учебное пособие, восходившее еще к эпохе Гуманизма и принадлежавшее знаменитому Эразму Роттердамскому «Дружеские разговоры», быв-

шие учебником в голландских гимназиях. Учитывая личное желание царя способствовать этим переводом обучению голландскому языку, книга тогда же в 1716 году была опубликована, хотя, как указывал переводчик в предисловии, содержание «разговоров» не всегда в образе мыслей согласовывалось с «разумом церкви православной». Впрочем, для петровского времени появление переводных сочинений, заключавших в себе идеи протестантизма, было довольно типичным. Тому же Гавриилу Бужинскому, также по инициативе Петра I, был поручен перевод еще одного весьма популярного в Европе исторического пособия, содержавшего своеобразную концепцию совмещения Священной и гражданской истории. Это был труд протестантского богослова и историка В. Стратемана «Theatrum historicum exhibens Memoriae juvandae causá, per decem Exitus et per secula, omnes Reges, Imperatores, Pontifices Romanos...» (1656), на русский язык переведенный как «Феатрон, или Позор исторический, изъявляющий повсюдную историю Священного писания и гражданскую чрез десять исходов и веки всех царей, императоров, пап римских и мужей славных и прочая...» (СПб., 1724). Приобщение русского читателя к отдельным положениям протестантского мировоззрения, в частности в области хронологии, не затрагивало «догм веры», и публикация книги не вызвала возражений со стороны Святейшего Синода. Ситуация изменится в царствование Елизаветы Петровны, при которой в 1749 году последовало «Распоряжение Святейшего Синода об изъятии сочинения В. Стратемана из употребления под угрозой лишения Божьего благословения».[61]

Свои переводы Гавриил Бужинский снабжал обстоятельными предисловиями, в которых вводил русского читателя в проблематику переводимых сочинений и одновременно раскрывал ту новую культурно-идеологическую ситуацию, возникшую в России, где отныне созданы условия для переноса на русскую почву достижений научной мысли Европы. Чем Россия была до Петра I и чем она стала в результате неустанных трудов этого монарха? Вот вопросы, которые ставит переводчик и на которые он дает вполне определенные ответы. В «Посвящении Петру I» книги В. Стратемана, после похвал царю за его заботы о просвещении России, Бужинский создает оппозицию прежнего и нового состояния страны через противопоставление: «Не бяху ритори и витии, не обретахуся философи, и ниже философии имя слышашеся, и что удивителнее, аще бы дерзнул кто, естественным движим разумом, учений свободных искати и в них поучатися, жестоким подлежаще казнем и изгнаниям. Что же рещи о богословии, ея же неведущым пастырем церковным, како пасомый ими народ на путь спасительный возмогл управлен быти. Не воспоминаю о воинском наставлении, о архитектуре воинской и гражданской, о совершенной юриспруденции, о математике, о корабельном мореплавании и сим подобных».[62] Ничего этого до Петра I в России не было,

хотя Европа пользовалась давно этими благами. Путешествие в европейские страны открыло Петру источники для подражания. И он преобразует облик России: «Отсюда бо впоследствова, яко уже юноши российстии многия обходяще страны, многая почерпают учения, отсюду в России родишася витии, философи и богословы, оное странствование породило регулу воинскую <...> и положи основание флотов корабелного и галерного, его же плоды изъявляют плененные корабли неприятелскии, путешествие оно принесе архитектуру, юриспруденцию, математику, различная частная художества, словом глаголя, оное странствование всех благ российских источник».[63]

Таков еще один аспект осознания нового состояния России, позитивность которого в глазах церковного иерарха не подлежит сомнению. К слову сказать, Гавриил Бужинский занимал должность обер-иеромонаха русского флота, и в своих проповедях и «словах», посвященных победам на море, он, прославляя роль Петра I в превращении России в морскую державу, также в контексте провиденциального осмысления итогов Северной войны постоянно утверждал новое качество России. Таково, например, было «Слово о победе, полученной у Ангута, егда российским гребным флотом пленен шведский Шаутбейнахт с фрегатом и не малым числом других судов. Лета 1714, июля дня 27», произнесенное в день пятой годовщины одержанной у мыса Гангут победы на борту корабля «Ингерманландия» 27 июля 1719 года.

Но, пожалуй, наиболее яркой фигурой в этой плеяде церковных проповедников и публицистов петровского времени являлся Феофан Прокопович (1681—1736). Прекрасно образованный, политически мыслящий священнослужитель, он выступает реальным сподвижником Петра I в преобразовании России, взяв на себя роль фактического идеолога мероприятий, которые монарх проводил в заключительный период своего царствования как в вопросах руководства Церковью, так и в вопросах светской власти. Бывший до 1716 года префектом Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович впервые обратил на себя внимание Петра I своим «приветственным словом» в честь царя, которое он произнес в Софийском соборе в Киеве 5 июля 1706 года. Там значение деятельности Петра I уподоблялось вкладу, какой внесли в историю Руси киевские князья — равноапостольный Владимир, креститель Руси, и Ярослав Мудрый, создатель Софийского Собора и распространитель Божественного учения в Древней Руси.

Через месяц после одержанной Петром победы под Полтавой Феофан Прокопович произносит в Кафедральном соборе 24 июля 1709 года в присутствии царя «Панегирикос, или Слово похвалное о преславной над войсками свейскими победе, пресветлейшему и великодержавнейшему государю Царю и Великому князю Петру Алексеевичу всея Великая и Малыя и Белыя России самодержцу ⟨...⟩ в лето Господне 1709 месяца июня 27 Богом дан-

ной...». Петр сразу приказал напечатать «Панегирикос» на русском, польском и латинском языках, настолько сильное впечатление произвело на него это сочинение. В 1716 году он вызывает Феофана в Петербург и назначает его архиепископом Псковским и Нарвским. И с этого времени вся жизнь бывшего префекта Киево-Могилянской академии будет связана с отстаиванием политики Петра I, как при жизни царя-реформатора, так и после его смерти.

Первое же публичное проповедническое выступление Феофана в Петербурге в Троицком соборе по случаю годовщины рождения царевича Петра Петровича в конце октября 1716 года «Слово похвальное в день рождества благороднейшего государя царевича и великого князя Петра Петровича» позволяет судить, насколько точно уловил он идеологическую ситуацию в столице, насколько верно оценивается им общее направление политических перемен в стране, отражавших общее движение, заданное усилиями монарха-преобразователя. Прославление рождения наследника престола Феофан превращает в повод для обоснования принципа наследственной монархии как гарантии политической стабильности и укрепления государственного величия России. Исторический опыт Феофан подкрепляет примерами государств, где избирательность власти имела пагубные последствия для благополучия народов этих стран и их безопасности. Выход Руси из кризиса Смуты он связывает с утверждением династии Романовых и в абсолютизме Петра I видит источник дальнейшего роста политического авторитета России. И в обоснование правоты собственной позиции проповедник предлагает слушателям сравнить прежнее состояние России с тем, чего она достигла в результате преобразовательной политики Петра I: «Что бо была Россия прежде так не долгого времени? И что есть ныне? Посмотрим ли на здания! На место грубых хижин наступили палаты светлые, на место худаго хврастия, дивныя вертограды. Посмотрим ли на градския крепости! Имеем таковыя вещию, каковых и фигур на хартиях прежних не видели. Воззрим на седалища правительская! Новый сенаторов и губернаторов сан, в советах высокий, в правосудии неумытный, желательный доброжелателем, страшный злодеяниям! Отверзем статии и книги судейские! Уже и свободныя учения полагают себе основания, идеже и надежды не имеяху, уже арифметическия, геометрическия и протчии философския искусства, уже книги политическия, уже обоей архитектуры хитрости умножаются!»[64] После перечисления заслуг Петра I по созданию флота, строительства Петербурга, блестящих воинских побед над шведами на суше Феофан обобщает это похвалой Петру, преобразившему Россию.

Главный итог преобразований и побед измеряется по-прежнему обретением Россией нового политического статуса, свидетельством чего служат мнения о ней «иноземных народов»: «Минув-

ше бо многия, оттуду произшедшия пользы домашныя, да помыслит всяк, коликую обрете Россия во всем мире славу себе. Не буди бо в срамоту помянути, еже истинно есть, в коем мнении, в коей цене бехом мы прежде у иноземных народов: бехом у политических — мнимии варвары, у гордых и величавых — презрении, у мудрящихся — невежи, у хищных — желательная ловля, у всех — нерадими, от всех — поруганны. ⟨...⟩ Ныне же что храбростию любомудрием, правдолюбием, исправлением и обучением отечества, не себе точию, но и всему российскому народу, содела пресветлый наш монарх? То, что которыи нас гнушалися, яко грубых, ищут усердно братерства нашего; которые безчестили, славят; которые грозили, боятся и трепещут; которые презирали, служити нам не стыдятся; многие по Европе коронованные головы не точию в союз с Петром, монархом нашим, идут доброхотны, но десная Его Величеству давати не имеют за безчестие. ⟨...⟩ Поднесла главу Россия, светлая красная, сильная, другом любимая, врагам страшная».[65]

Осознание пройденной дистанции фиксирует качественный уровень преображения страны, что составляло постоянный предмет внимания публицистов петровского времени. Проповедник Феофан включается в этот процесс идеологического осмысления того политического феномена, каким явилась перед европейским миром «новая» Россия. Естественно, все успехи обновленной страны Феофан Прокопович связывает с личностью Петра, чьи заслуги в «исправлении и обучении отечества» непререкаемы: «Исповести бо воистину подобает: древянную он обрете Россию, а сотвори златую».[66]

Через год, 27 июня 1717 года, Феофан Прокопович произносит в той же Троицкой церкви «Слово похвальное о баталии Полтавской». Объясняя истоки этой победы, проповедник, подобно П. П. Шафирову, сознает историческую перспективу событий, приведших к началу Северной войны. Неизбежность ее он видит в постоянной враждебности к России со стороны Швеции: «...а сия брань на нас шведская возъярилася от зависти и рвения. ⟨...⟩ мнози бо шведом ово железом, ово сребром, ово делом, ово словом и советом против государства Российского содействовали».[67] Но показательно, как в трактовке современной политической ситуации Феофан улавливает неизбежную связь с прошлым. Противостояние России ее соседям, которые «народ наш, яко немощный и грубый презирали», восходило еще к XVI веку, когда Иван Грозный, предприняв решительную попытку утвердиться в Прибалтике, столкнулся с противодействием со стороны Швеции и Польши. Феофан ссылается на конкретные факты проявления такой враждебности: «Густав великий, король свейский, с великим пререканием писал к Елисавете, королеве аглинской, за то, что она несколько пушек послала в дар царю Иоану Васильевичу, уличая оноя неопасность (т. е. небезопасность. — *Ю. С.*), яко

показующая нам силу оружную; той же заповеда своим под смертию, дабы кто воинскаго учения и оружнаго художества не приносил в Россию. В лето 1563 был сейм в Любеке, городе поморском, где установлено тако ж, дабы от них не дерзал кто преходити к нам с искусством воинским и дела корабельного. Граф Гербесштейн, бывый посол к России от Максимилиана кесаря, увещавает Германию, дабы опасна была от Руссии и не показовала бы нам способов военных».[68]

Ко времени начала Северной войны положение мало в чем изменилось. Вот почему главную заслугу Петра I Феофан Прокопович видит в преодолении этой завесы враждебности. Налаживание равноправных отношений с Западной Европой стояло в центре политики Петра, и начало этому было положено знаменитым «великим посольством» 1697—1698 годов, когда царь в ходе посещения ряда европейских стран, помимо официальных встреч с государственными деятелями, в ранге простого плотника постигал секреты искусства кораблестроения на верфях Голландии и Англии. Однако решающим фактором для смягчения атмосферы недоброжелательства по отношению к России со стороны ее северных и западных соседей, признания ее авторитета в Европе стали военные успехи Петра I в противостоянии Карлу XII в ходе Северной войны. И этот аспект достижений России особенно подчеркивается в проповеди: «Увидели противницы обученное добре наше воинство; увидели всецело устроенную артилерию; увидели поднесенныя флота нечаянное флаки; услышали смутившийся Стамбул на посольство росское, новым к себе путем водным приспевшее».[69] Полтавская победа стала поворотным этапом в Северной войне, предрешив фактически ее успешное завершение и заставив весь европейский мир по-новому взглянуть на Россию. К союзу с нею теперь начинают проявлять интерес и Англия, и Франция, и Пруссия, и другие государства. Позднейшие историки были единодушны в признании факта: «Еще недавно едва известная в канцеляриях Вены, Версаля и Лондона, она (Россия. — *Ю. С.*) 〈...〉 сразу заняла место в первых рядах европейского концерта».[70] На этой перемене сосредотачивает внимание Феофан Прокопович, видя в Полтавской победе залог последующих успехов России как в военном, так и в мирном строительстве своего благополучия и процветания. «Новая» Россия рождалась на полях сражений.

Таков был дебют Феофана Прокоповича в Петербурге. Он сразу и необычайно активно включился в процесс преобразований, и Петр по достоинству оценил способности привлеченного к сотрудничеству церковного иерарха. Он поручает ему подготовку «Духовного регламента» — документа, долженствовавшего обосновать создание Святейшего Синода, коллегиального органа, призванного отныне управлять делами Церкви и фактически заменившего собой институт патриаршества. Известно, что после

смерти патриарха Адриана осенью 1700 года патриарший престол оставался вакантным, и местоблюстителем его был назначен рязанский митрополит Стефан Яворский. Такое положение не могло сохраняться долго. В то же время Петр, постоянно ощущавший скрытое сопротивление со стороны духовенства своим реформам, хорошо помнивший о борьбе своего отца, Алексея Михайловича, с патриархом Никоном, о двусмысленной позиции патриархов во время стрелецких бунтов 1682 и 1698 годов, понимал, что в личности патриарха для противников его реформ всегда будет сохраняться альтернатива власти, если и не политической, то идейной, освященной авторитетом Церкви. Утверждением Духовной коллегии, т. е. Святейшего Синода, подотчетного монарху и руководимого светским обер-прокурором, Петр I лишил духовенство привилегированного положения в обществе. Церковь превращалась фактически в придаток светской власти. Церковным иерархам предписывалось отныне в мирские дела и обряды не входить ни для чего. Идеологическое обоснование этого нового положения Церкви в ее отношениях со светской властью мы видим в трудах Феофана Прокоповича.

Еще ранее, в период подготовки данной акции и в связи с обсуждением вопросов о престолонаследии, вызванным процессом над царевичем Алексеем, Феофан Прокопович затронул тему о прерогативах царской власти в своей проповеди «Слово о власти и чести царской, яко от самого Бога в мире учинена есть и како почитати царей и оным повиноватися людие долженствуют», произнесенной в Троицком соборе в Вербное воскресение 6 апреля 1718 года. Идея незыблемости верховной светской власти, не подлежащей никакому контролю и освященной Божественной волей, доказывается в «Слове...» многочисленными примерами и сопровождается ссылками на апостолов и святых отцов Церкви, «убо властем противитися, есть противитися Богу самому».[71] В конце проповеди Феофан особо останавливается на притязаниях духовного чина сохранять независимость от светской власти и даже превосходствовать над ней. В последнем он видит проявление «змиина жала» католичества («папежского духа»). Позиция псковского архиепископа поражает последовательностью в отстаивании идеи превосходства светской власти над духовной. Феофан полностью лишает духовенство какого-либо избранничества и привилегий перед другими социальными институтами, отводя Церкви в государстве вполне определенную роль в соответствии с ее пастырской функцией: «...священство бо иное дело, иный чин есть в народе, а не иное государство. А яко же иное дело воинству, иное гражданству, иное врачам, иное художникам различным, обаче вси с делами своими верховной власти подлежат; тако и пастырие, и учитилие, и просто вси духовнии имеют свое дело, еже быти служители божиими и строители тайн его, обаче и повелению властей державных покоренны суть...».[72]

В даном случае Феофан Прокопович выступает открытым защитником идеологии абсолютизма, следуя политическим установкам Петра I. По-видимому, к этому времени относится эпизод, зафиксированный в «Достопамятных повествованиях и речах Петра Великого» А. К. Нартова, связанный с принятием Петром окончательного решения об уничтожении в России патриаршества и иллюстрирующий отношения царя с высшим церковным клиром: «Его императорское величество, присутствуя в собрании с архиереями, приметив некоторых усильное желание к избранию патриарха, о чем неоднократно от духовенства предлагаемо было, вынув одною рукою из кармана к такому случаю приготовленный Духовный Регламент и отдав, сказал им грозно: „Вы просите патриарха, вот вам духовный патриарх, а противомыслящим сему (выдернув другою рукою из ножен кортик и ударя оным по столу) вот булатный патриарх!". Потом, встав, пошел вон. После сего оставлено прошение об избрании патриарха и учрежден Святейший Синод».[73] Как бы подводя итог рассказанному, Нартов ссылается на поддержку, которую в учреждении Духовной коллегии и разработке Регламента оказали Петру церковные иерархи Стефан Яворский и Феофан Прокопович. В принятии решения быть самому главою Церкви в государстве Петр, по словам Нартова, руководствовался древней традицией: «...некогда, рассказывая о распрях патриарха Никона с царем родителем его Алексеем Михайловичем, говорил: „Пора обуздать не принадлежащую власть старцу. Богу изволившу исправлять мне гражданство и духовенство. Я им обое — государь и патриарх. Они забыли, в самой древности сие было совокупно"».[74]

В чем-то мысли, развиваемые Феофаном в «Слове о власти и чести царской...», предвосхищали идеи трактата «Правда воли монаршей» (1722). Но в обстановке готовившейся реформы церковного руководства публицистический подтекст проповеди, учитывая скрытое сочувствие отдельных иерархов к находившемуся под следствием царевичу Алексею, был очевиден. В «Духовном регламенте» идея строжайшего разделения светской и духовной власти, с вытекающим отсюда полным подчинением Церкви государству, обрела свое юридическое закрепление и была теоретически обоснована.

В первой части трактата Феофан Прокопович аргументирует обоснованность введения системы коллегиального управления Церковью. Традиция, опыт многовекового патриаршества, существовавшего в ближневосточных областях и в Византии, перенесенный в конце XVI века при царе Федоре Иоановиче в Россию, им не принимается в расчет. Феофан выполняет политический заказ, и объяснение причин уравнения прав высшей церковной власти с системой гражданского управления дается им преимущественно исходя из юридической логики. Каковы же аргументы, выдвигаемые в пользу отмены института патриарше-

ства? Прежде всего, Феофан апеллирует к отечественной традиции «соборности», вступая в скрытое противоречие с отстаивавшимся им же принципом незыблемости единодержавия власти для монарха: «...известнее взыскуется истина соборным сословием, нежели единым лицем...».[75] Предусматриваемая положением назначаемость членов Синода делала подконтрольность церковного руководства еще более очевидной, и это также согласовывалось с конечными политическими причинами данной акции.

Последующие два пункта как бы устанавливали разницу прерогатив коллегиального церковного управления и самодержавной власти монархов, «которым повиноватися сам Бог за совесть повелевает».[76] Если монарху заповедано взыскание истины по прихотям своим, «то кольми паче в церковном правлении, где правительство не монаршеское есть и правителем заповедуется, да не господствуют клиру».[77] Целесообразность соборного управления Церковью обусловлена юридически тем, что оно устанавливается монаршею властью: «Се же наипаче сильно есть, когда Коллегиум правительское под Державным Монархом есть и от Монарха установлено».[78]

В данном случае Феофан Прокопович имел прямую опору на мнение самого Петра I, высказанное им во Вступлении, предварявшем основной текст Регламента. «Между многими по долгу Богоданныя Нам власти попеченьми о исправлении Народа Нашего и прочих подданных Нам государств, посмотря и на духовный чин и видя в нем много нестроения и великую в делах его скудость, несуетный на совести Нашей возымели Мы страх, да не явимся неблагодарни Вышнему, аще толикая от него получив благопоспешества во исправлении как воинского, так и гражданского чина, пренебрежем исправление и чина духовного. ⟨...⟩ Того ради образом прежних, как в Ветхом, так и в Новом завете, благочестивых Царей, восприяв попечение о исправлении чина духовного, а не видя лучшего к тому способа паче Соборного Правительства».[79]

Приравнивание Святейшего Синода к светским административным учреждениям влекло за собой распространение на его членов равной ответственности за возможные юридически наказуемые потенциальные преступления: «...наипаче полезно, что в Коллегиуме таковом не обретается место пристрастию, коварству, лихоимному суду».[80] По мнению составителя Регламента, только коллегиальное руководство способно обеспечивать правосудие.

Как видим, почти вся аргументация в пользу реформирования церковного руководства демонстрирует преобладание, правда не явно выраженных, политических мотивов. Соборность в широком смысле как принцип решения важных вопросов, затрагивающих интересы всего церковного клира, не говоря уже о мнении мирян,

т. е. паствы, в данном случае оказались проигнорированы. Все решало мнение царя. И на это были свои причины.

Наиболее серьезный, седьмой по счету, аргумент в пользу уничтожения патриаршества раскрывает главную политическую подоплеку предпринятой Петром акции: необходимость укрепления абсолютизма, для которого наличие института патриаршества в стране сохраняло угрозу конкуренции власти. «Велико и сие, что от Соборного правления не опасатися отечеству мятежей и смущения, яковыя происходят от единого собственного правителя духовного. Ибо простой народ не ведает, како разнствует власть духовная от Самодержавной, но великою Высочайшего пастыря честью и славою удивляемый, помышляет, что таковый правитель есть то вторый Государь, Самодержцу равносильный, или и больши его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство».[81]

Приведенный фрагмент возвращает нас к центральной мысли проповеди Феофана Прокоповича «Слово о власти и чести царской», в котором также утверждалась идея безусловного превосходства светской власти над духовной. Теперь Феофан детально обосновывает эту мысль, указывая на угрозу государственной стабильности от раздоров между светским государем и высшим духовным пастырем. При этом он ссылается на исторические примеры и особенно на политику римских пап, чьи властные претензии сказались не только на конечной судьбе Рима в эпоху средневековья, «но иные государства едва не до крайнего разорения не единожды потрясе. Да не воспомянутся подобные и у нас бывшие замахи»,[82] — заключает абзац Феофан.

Говоря о замахах, автор Регламента, конечно же, имеет в виду события XVII века, когда в ходе проведения церковной реформы, начатой в 1653 году тогдашним патриархом Никоном, возникли острые разногласия между ним и царем Алексеем Михайловичем. Поначалу он пользовался неограниченной поддержкой царя, который, во всем доверяя патриарху, назвал его как-то публично «великим государем» и нередко привлекал к решению важных государственных дел. Однако отличавшийся властным и неукротимым нравом Никон довольно скоро в своих властолюбивых претензиях перешел допустимую грань, потеряв расположение царя. Дело дошло до открытого конфликта, когда Алексей Михайлович не почтил своим присутствием торжественную обедню в Успенском соборе 10 июля 1658 года, выразив через посланного к службе князя Ю. Ромодановского неудовольствие действиями патриарха. В ответ Никон после службы удалился в Воскресенский монастырь и фактически покинул патриарший пост.

Вопрос об избрании нового патриарха решался долго. Первая попытка низложения Никона на церковном соборе русских иерархов 1660 года успеха не имела. Во-первых, за Никоном не было вины в нарушении церковных догматов и в еретичестве. А главное, для правомочности решений подобных соборов необ-

ходимо было присутствие других патриархов Восточной церкви, без чьей санкции лишение сана иерарха такого ранга, как Никон, не могло считаться законным. Только в декабре 1666 года в присутствии прибывших в Москву по приглашению Алексея Михайловича двух высших православных иерархов — александрийского патриарха Паисия и антиохийского патриарха Макария — состоялось низложение Никона, обвиненного в самовольном оставлении патриаршего престола, а также в оскорблении Православной церкви и неуважении к царю. Никон был сослан в Ферапонтов монастырь, а новым патриархом избрали архимандрита Троице-Сергиева монастыря Иоасафа.

Для того чтобы представлять уровень честолюбивых претензий Никона, следует напомнить его рассуждения об отношениях между духовной и светской властью. Свои взгляды на этот вопрос он изложил в одном из ответов на вопросные пункты окольничего Р. М. Стрешнева, ведшего переговоры с Никоном, накануне решающего церковного собора. «...Приимем первое разумение ученых в законе духовном, — пишет Никон, — яже утверждают, яко власть царская имать быти повинна власти архиерейской, ей поручи Господь Бог ключи царства Небесного и дал ей силу на земли вязати и решити ⟨...⟩. Сего ради яснейше: царь имать быти менее архиерея, и ему в повиновении, зане и сие глаголю: яко духовенство есть людие избрании и помазани Духом святым». И для наглядности заявленного тезиса Никон прибегает к красочному сравнению: «...солнце нам показа власть архиерейскую, месяц же показа власть царскую, ибо солнце вящи светит во дни, яко архиерей душам, меньшее же светило — в нощи, еже есть телу; яко же месяц емлет себе свет от солнца и егда дале от него отступает, тем совершеннейши свет имать, такожде и царь: поемлет посвящение, помазание и венчание от архиерея, от его же абие воспринимать уже имать свое совершенное светило, еже есть: истиннейшую силу и власть. Таковое есть то разнство между теми двумя лицами во всем христианстве, яковая есть между солнцем и луною, ибо архиерейская власть во дни, еже есть над душами, царская же власть в вещах мира сего...».[83] Именно подобным взглядам призваны были противостоять узловые положения первой части «Духовного регламента», утверждавшие полное лишение церковного руководства какой-либо возможности вмешиваться в прерогативы светской власти.

Петр I, как мы могли выше убедиться, хорошо помнил о столкновениях своего отца с мятежным патриархом. И созданием Духовной коллегии, превратившейся вскоре в Святейший Правительствующий Синод, монарх-преобразователь раз и навсегда освобождал светскую власть от каких-либо притязаний на соперничество с нею со стороны церковных иерархов, сделав невозможным повторение подобных эксцессов в будущем.

«Новая» Россия в сфере ее конфессионального бытия оставалась теперь без патриарха, а последней инстанцией в принятии

решений, касавшихся высшего церковного руководства, отныне был сам Петр. Для обоснования этих новых прерогатив царя Феофан Прокопович пишет еще одно сочинение — «Розыск исторический» (1721), чисто идеологический документ, подчиненный вполне определенной цели.

В нем обосновывалось право светского правителя на духовную власть. Причем делает это Феофан с опорой на опыт истории. Еще в Древнем Риме в языческий период императоры рассматривались как понтифексы, т. е. верховные жрецы. И от этого титула, несмотря на его языческое происхождение, не отказались и христианские императоры в Византии. Без этого титула, пишет Феофан Прокопович, никакой император «не возмог бы ничего на пользу христианства сделать».[84] Позднее любой христианский правитель имел функции и епископа, и архиерея, хотя богослужения и не совершал. Это в полной мере, по мнению автора, распространяется и на царей.

Другим важнейшим аспектом содержания «Духовного регламента», призванным качественно обновить положение православного духовенства в российском обществе, является просветительская направленность этого документа. Одна из главных функций Синода, по мнению Феофана Прокоповича, должна была состоять в повышении грамотности духовенства. Вспомним, кто был выведен в первой сатире А. Кантемира «На хулящих учение» в качестве одного из главных противников науки и тем самым противников Петровских реформ. Первым среди таковых выступал священник Критон. Автор сатиры вкладывает в уста этого служителя культа основные доводы, которые делали несовместимыми интересы духовенства с преобразовательными мерами Петра I:

Расколы и ереси науки суть дети;
Больше врет, кому далось больше разумети;
Приходит в безбожие, кто над книгой тает, —
Критон с четками в руках ворчит и вздыхает,
И просит, свята душа, с горькими слезами
Смотреть, сколь семя наук вредно между нами;
Дети наши, что пред тем, тихи и покорны,
Праотческим шли следом к божией проворны
Службе, с страхом слушая, что сами не знали,
Теперь, к церкви соблазну, библию честь стали;
Толкуют, всему хотят знать повод, причину,
Мало веры подая священному чину;
Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,
Не прибьешь их палкою к соленому мясу;
Уже свечек не кладут, постных дней не знают,
Мирскую в церковных власть руках лишну чают...[85]

К моменту написания Кантемиром этой сатиры руководство делами Церкви уже несколько лет осуществлялось Святейшим Синодом. Но нарисованный сатириком портрет священника-рет-

рограда, видящего в распространении знаний источник всех зол, прекрасно иллюстрирует степень внутреннего сопротивления Церкви Петровским реформам. Сетования Критона во многом основываются на тех практических последствиях ограничения влияния Церкви в жизни общества, которые явились результатом политики Петра, и в том числе результатом уничтожения патриаршества.

При жизни Петра I сопротивление его реформам со стороны Церкви было еще реальностью, что обнаружилось и в деле царевича Алексея, и в общем настроении духовенства. Феофан Прокопович хорошо это понимал. Задолго до написания Кантемиром его сатиры автор «Духовного регламента» фактически обозначил позицию Петра I как раз по тем вопросам, которые так будут мучить ретроградствующего священнослужителя — и относительно притязаний духовенства на «мирскую власть», и относительно сохранения в народе уважения к церковным обрядам, и относительно подлинного источника ересей и суеверий.

В контексте идей «Регламента» назначение духовенства определяется как учительное в первую очередь. Развитие в народе религиозно-нравственных понятий, искоренение суеверий, борьба с ересями и расколом — вот чем должна заниматься Церковь в глазах идеологов петровской политики в конфессиональной сфере. Первейшим условием успешного решения этих задач является, по мнению Феофана, повышение грамотности духовенства. «Когда нет света учения, нельзя быть доброму церкве поведению, нельзя не быть нестроению и многим смеха достойным суевериям, еще же и раздорам и пребезумным ересям».[86] Таким образом, источником ересей и суеверий объявляются не науки, а невежество. В функции Синода, согласно «Регламенту», и должна была входить постоянная забота о грамотности духовенства. Непосредственно на местах этим должны были заниматься епископы, в чьем ведении находилось заведение в епархиях духовных училищ, семинарий и академий. Феофан Прокопович по пунктам подробно расписывает во второй части «Регламента» программу устройства духовных семинарий, вплоть до указания предметов, которые должны изучаться в них, порядка приема учеников, апробации их знаний. «Не надобе хвалитися Академии, но ниже смотреть на тое, что много учеников имеет; сие бо весьма суетно есть, но смотреть, как много есть остроумных и добре учащихся, с великою пользы надеждою...». Особо подчеркивает Феофан Прокопович необходимость наличия при каждой семинарии библиотек и снабжения их нужными книгами: «...при школах надлежит быть библиотеке довольной; ибо без библиотеки, как без души Академия».[87]

По существу, в развертывании на страницах «Духовного регламента» широкой программы развития духовного образования Прокопович по-своему практически реализовал то, что составля-

ло одну из главных забот И. Т. Посошкова и о чем тот безуспешно писал местоблюстителю патриаршего престола Стефану Яворскому. Крестьянин-самоучка и европейски образованный архиепископ Новгородский (в этот сан Феофан был возведен в 1725 году) оказывались единомышленниками, в равной мере видя в образовании главный рычаг преображения духовного пастырства тогдашней России, а тем самым и культурного уровня народа.

Яркий пример осознания необратимости происшедших в России перемен являло собой творчество сатирика князя Антиоха Кантемира. Всем своим обликом и образом мыслей писатель воплощал новый тип людей, порожденных Петровской эпохой. Европейски образованный, убежденный пропагандист науки, нетерпимый к косности и одновременно не принимавший на веру новомодные излишества, он посвятил себя в основном сатире, и пафосом его сочинений было отстаивание дела Петра I. Погруженная, казалось бы, в быт, сосредоточенная на критическом осмыслении фактов повседневной текущей жизни обличительная поэзия Кантемира была исполнена скрытой публицистичности и несла в себе утверждающее начало. Мы сталкиваемся в его сатирах с появлением образов, воплощавших собой людей «новой породы», носителей совершенно нового образа мышления, людей просвещенных, исполненных высокой нравственности и чувства общественного долга. Вот, например, тип судьи из второй сатиры, воплощающий идеальные представления о носителе правосудия:

Наизусть он знает все естественны права,
Из нашего высосал весь он сок устава,
Мудры не спускает с рук указы Петровы,
Коими стали мы вдруг народ уже новый,
Не меньше стройный других, не меньше обильный,
Завидим врагу и в нем злобу унять сильный.[88]

Подобный образ немыслим в литературе предшествующего столетия. Кантемир открыто заявляет об обновлении нации и рассматривает этот процесс в контексте тех преобразований, которые проводил Петр I. По сути дела, все содержание сатиры, посвященной проблеме истинного и мнимого благородства дворян, заключает в себе противопоставление новых начал прежнему жизненному укладу, сохранявшему пережитки местнической психологии.

Таким образом, идейная оппозиция «древней» и «новой» России незримо присутствует во всех сатирах Кантемира, отражая ту реальную атмосферу борьбы нового со старым, которая оплодотворяла пафос творчества сатирика, открытого сторонника Петровских реформ. Правда, сама природа жанра сатирического послания, с ее принципиальной заземленностью стиля, с ее бытовизмом содержания, ограничивала возможности создания такой поэтической системы, которая была бы способна воплотить идеи

обновленной государственности в адекватной масштабам обновления художественной форме. В полной мере воплощение созидательного духа петровских преобразований, создание идеализированного образа «новой» России будет достигнуто в торжественных одах Ломоносова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Смирнов Н. А.* Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху. СПб., 1910; *Огненко И.И.* К вопросу об иностранных словах, вошедших в русский язык при Петре I // Рус. филолог. вестник. 1911. № 3–4. С. 352–370; *Хаустова И. С.* О лексической синонимии в литературном языке Петровской эпохи (по материалам «Ведомостей» 1702–1703 гг.) // Начальный этап формирования русского литературного языка. Сб. статей. Л., 1961. С. 205–236.

[2] См.: *Розен С. Я.* Очерки по истории русской корабельной терминологии Петровской эпохи. Л., 1960; также: *Богородский Б.Л.* Старшая система морской терминологии в эпоху Петра I // Уч. зап. Лен. гос. педаг. ин-та им. А. И. Герцена. 1948. Т. LIX. С. 41–88.

[3] См. также об этом: *Хаустова И.С.* Лексикологическая характеристика «Ведомостей» Петра (по материалам лексики, связанной с военной тематикой) // Уч. зап. ЛГУ. 1958. № 243. Вып. 42. Сер. филол. С. 159–182.

[4] *Шафиров П. П.* Разсуждение, какие законные причины Его Величество Петр Великий ⟨...⟩ к начатию войны против Короля Карола 12 Шведского 1700 году имел. 2-е изд. СПб., 1722. Дедикация. С. 4–5.

[5] Там же. С. 3–4.

[6] Там же. С. 9–10.

[7] Там же. С. 36–37.

[8] Там же. С. 1–2

[9] Там же. С. 13–14.

[10] Там же. С. 58–59.

[11] Там же. С. 116.

[12] Там же. С. 217.

[13] Там же. С. 218

[14] Введение в историю Европейскую чрез Самуила Пуфендорфия на немецком языке сложенное... СПб., 1718. С. 407.

[15] Там же. С. 409.

[16] *Шафиров П. П.* Рассуждение... С. 218–219.

[17] Там же. С. 225–226.

[18] Там же. С. 227.

[19] Рус. архив. 1872. № 6. Ст. 1087.

[20] Там же.

[21] Там же. Ст. 1075–1076.

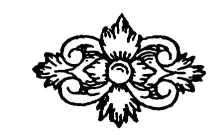
[22] Там же.

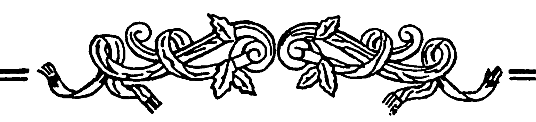
[23] Записки Юста Юля, датского посланника при Петре Великом (1709–1711). М., 1899. С. 210.

[24] *Perry Jean.* État present de la Grande Russie. A la Haye, 1717. P. 25–26. (Перевод с фр. здесь и далее мой. – *Ю. С.*).

[25] Ibid. P. 136.
[26] Ibid. P. 193.
[27] Вопрос восприятия личности Петра I и его преобразований французскими мыслителями и историками XVIII века достаточно полно освещен в монографии С. А. Мезина «Взгляд из Европы. Французские авторы XVIII века о Петре I» (изд. 2-е, испр. и дополн. Саратов, 2003).
[28] Рус. архив. 1872. № 6. Ст. 1074.
[29] Реляция, что прежде и при отправлении назначенного от Его Имп. Величества Всероссийского в день 22 октября сего 1721 года торжества: о заключении с короною шведскою вечного мира чинилось. СПб., 1721. С. 3.
[30] *Павлов-Сильванский Н.П.* Очерки по русской истории XVIII—XIX вв. СПб., 1910. С. 61.
[31] *Посошков И. Т.* Книга о скудости и богатстве. М., 1951. С. 275.
[32] Там же. С. 276.
[33] Там же.
[34] Там же. С. 15.
[35] Там же. С. 21.
[36] Там же. С. 39.
[37] Там же. С. 31—32.
[38] Там же. С. 37.
[39] Там же. С. 42.
[40] Там же. С. 54.
[41] Там же. С. 91.
[42] Там же. С. 86—87.
[43] Полн. собр. законов Российской империи. Т. XVI. СПб., 1830. С. 457.
[44] *Посошков И. Т.* Книга о скудости и богатстве. С. 91.
[45] Там же. С. 80—81.
[46] Там же. С. 81—82.
[47] Там же. С. 77.
[48] Там же. С. 113.
[49] Там же. С. 122—123.
[50] Там же.
[51] Рус. архив. 1872. № 6. Ст. 1145.
[52] *Посошков И. Т.* Книга о скудости и богатстве. С. 127.
[53] Там же. С. 137.
[54] Там же. С. 99.
[55] См. об этом: *Павлов-Сильванский Н. П.* Мнения верховников о реформах Петра Великого // Павлов-Сильванский Н. П. Очерки по русской истории XVIII—XIX вв. С. 373—401.
[56] Там же. С. 378—379.
[57] Рус. архив. 1872. № 6. Ст. 1105.
[58] *Посошков И. Т.* Книга о скудости и богатстве. С. 143.
[59] Там же.
[60] *Пуфендорф С.* О должности человека и гражданина. СПб., 1726. С. 4.
[61] Исторический вестник. 1882. № 3. С. 732—733.
[62] *Стратеман В.* Феатрон, или Позор исторический... СПб., 1724. С. 2.
[63] Там же.
[64] *Феофан Прокопович.* Сочинения. М.; Л., 1961. С. 44.
[65] Там же. С. 46.

[66] Там же. С. 45.
[67] Там же. С. 50.
[68] Там же. С. 52.
[69] Там же.
[70] *Вандель А.* Императрица Елизавета и Людовик XV. М., 1911. С. 4.
[71] *Феофан Прокопович.* Сочинения. С. 83.
[72] Там же. С. 88.
[73] *Майков Л. Н.* Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. С. 71.
[74] Там же. С. 72.
[75] Духовный регламент. М., 1776. С. 8.
[76] Там же.
[77] Там же. С. 9.
[78] Там же.
[79] Там же.
[80] Там же. С. 9.
[81] Там же. С. 10.
[82] Там же. С. 11.
[83] *Каптерев Н. Ф.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. Сергиев-Посад, 1912. С. 128—129.
[84] *Феофан Прокопович.* Розыск исторический. СПб., 1721. С. 14.
[85] *Антиох Кантемир.* Собрание стихотворений. Л., 1956. С. 57—58.
[86] Духовный регламент. С. 34.
[87] Там же. С. 39.
[88] *Антиох Кантемир.* Собрание стихотворений. С. 75.





Глава II

ИДЕЯ «ДРЕВНЕЙ» И «НОВОЙ» РОССИИ В СИСТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ М. В. ЛОМОНОСОВА

После смерти Петра I в развитии общественного самосознания наступает этап своеобразного подведения итогов. Политическая борьба за власть в верхах руководства страны, развернувшаяся на исходе 1720-х годов, не смогла поколебать утвержденного в царствование Петра I абсолютистского порядка правления. Попытка аристократической олигархии в лице Верховного тайного совета, возглавляемого Долгорукими и Д. М. Голицыным, контролировать высшую власть имела обратный результат, вылившись в десятилетний период самовластья Анны Иоанновны, отмеченный засильем при дворе немцев. И только восшествие на престол в ноябре 1741 года дочери великого преобразователя императрицы Елизаветы Петровны вновь напомнило о перспективах государственного строительства, обозначенного реформами начала века, когда на передний план выступали задачи просвещения страны и закрепление внешнеполитических успехов. Теперь отечественным приоритетам в области культурно-экономического строительства ничто не мешало.

Все это время Россия медленно, но неуклонно укрепляет свой новый статус.[1] Ее связи с европейским миром становятся шире и разнообразнее, культурное общение крепнет как по линии научных контактов Петербургской академии наук, так и за счет продолжавшегося притока специалистов в области градостроительства, театра, изящных искусств. Растет и расширяется значение Петербурга как нового культурного центра, в повседневную жизнь которого прочно вошли театр, журналистика, дворцовые приемы. Тяжелая пышность придворных торжеств, носивших печать немецкого педантизма и скуки в период правления Анны Иоанновны, сменяется после восшествия на престол Елизаветы Петровны открытым увлечением французской модой, пример чему подает фаворит императрицы граф И. И. Шувалов. Теперь для молодых

русских аристократов посещение европейских столиц и встречи с тогдашними знаменитостями становятся обычным явлением. Много способствовала познанию преобразованной России в странах Европы деятельность дипломатов новой формации, таких как князь Б. И. Куракин и в особенности князь А. Д. Кантемир.[2] Последний в период исполнения своих обязанностей русского посланника в Париже в начале 1740-х годов довольно активно представлял Россию в литературных и научных кругах Франции. Кантемир был лично знаком с П.-Л.-М. Мопертюи, Б. Фонтенелем, Ш. Монтескье. Он переписывался с Вольтером. Он предпринял перевод нашумевшего в Европе сочинения Монтескье «Персидские письма», содержавшего весьма оригинальные суждения о России. Текст перевода, к сожалению, не сохранился. Кантемир был одним из первых русских читателей вольтеровской «Истории Карла XII, короля Швеции» и в своих письмах к философу указал ему на недостаточно объективное освещение событий, касавшихся России.

Европа постепенно открывала для себя новую Россию, еще недавно пребывавшую в глазах интеллектуальной элиты западноевропейских стран в состоянии культурного небытия. Теперь положение коренным образом изменилось. В этой связи полезно напомнить своеобразный заочный диалог двух великих умов столетия, представителей своих наций — Вольтера и Ломоносова. Предметом диалога оказались вопросы истории России переходного времени.

В начале 1757 года русское правительство через кабинет-секретаря графа И. И. Шувалова обратилось к Вольтеру с предложением написать историю царствования Петра I. Давно мечтавший об этом, Вольтер принял предложение. Политический смысл инициативы Шувалова не подлежал сомнению. Это был еще один серьезный прорыв в идеологической и культурной изоляции, которой до сравнительно недавнего времени подвергалась Россия со стороны ее противников. Появление «Истории Российской империи при Петре Великом» служило бы фактическому признанию статуса России как новой европейской державы, а согласие Вольтера должно было поднять авторитет ее в глазах общественного мнения Европы.

В августе 1757 года Вольтер прислал И. И. Шувалову рукопись первых пробных глав своего труда. В Петербургской академии наук апробация полученных из Франции материалов была поручена М. В. Ломоносову. Его замечания свидетельствовали о прекрасной осведомленности в предмете. Они отражали общий уровень, какого достигла в лице Ломоносова русская историческая наука к середине XVIII века. Внимание Ломоносова привлекла не только фактическая сторона дела, но прежде всего концепция французского историка.

Будучи к этому времени автором нескольких исторических сочинений, Вольтер рассматривал свой новый труд как продолже-

ние уже выпущенной им ранее и широко известной в Европе «Histoire de Charles XII, roi de Suede» (Т. I—II. 1730—1731). В личности Петра I он видел как бы альтернативу той роли, какую судьба уготовила в истории шведскому королю. Уже начальной фразой своего нового труда Вольтер устанавливал отправной критерий в подходе к главному герою повествования. Естественно, она сразу привлекла внимание Ломоносова. «В первые 18 лет нынешнего столетия никакой герой в Севере не был известен, кроме Карла второгонадесять»,[3] — перевел он начальную фразу вольтеровского вступления. Историческое «небытие» России до правления Петра I как бы должно было вытекать из признания Карла XII единственной героической личностью, известной европейцам на севере континента в первые десятилетия XVIII века. Значительность фигуры Петра и всего сделанного им должна была таким образом раскрываться благодаря контрастному параллелизму в освещении заслуг русского монарха по сравнению с деяниями шведского короля. С другой стороны, наделяя Карла XII титулом «героя» Севера, Вольтер демонстрировал вполне определенную установку в понимании движущих сил исторического процесса. Это в равной мере распространялось и на его отношение к оценкам Петра I.

Не подвергая сомнению функциональную установку Вольтера, Ломоносов в то же время решительно оспорил хронологические параметры, намеченные французским историком в определении масштабов политических заслуг шведского короля: «Геройские дела Петровы, великие предприятия и труды славны учинились еще прежде Левенгауптской и Полтавской батальи. Карл XII показал бегством своим больше себя героя в Петре Великом задолго до 1718 года» (6.91). Таким замечанием Ломоносов сопроводил вышеприведенную начальную фразу рукописи. Вольтер принял замечание своего корреспондента, и в окончательном печатном тексте вместо «первые 18 лет» значилось «первые годы» (Les premières annés).

Вероятно, обозначив рубеж известности в Европе нового «героя» Севера 1718 годом, Вольтер имел ввиду посещение Петром I в 1716—1717 годах Европы, конечным пунктом которого был Париж, где русский царь произвел неизгладимое впечатление. Свидетелем тому был сам молодой Вольтер. Целью поездки Петра I было заключение соглашения об отказе Франции от своих союзнических отношений со Швецией, что было закреплено Амстердамским трактатом осенью 1717 года, а в мае 1718 года Аландским конгрессом, призванным разработать условия мира между Россией и Швецией, чему помешала внезапная гибель Карла XII в ноябре 1718 года. Ломоносов оставил без внимания эти скрытые соображения французского историка, предложив иную точку отсчета популярности русского монарха в Европе, что Вольтер вынужден был принять.

В приведенном эпизоде, как в зеркале, отражается процесс осознания нового положения России в системе европейских государств, вступление ее в новый период своей истории. И как следствие перед исторической мыслью вставала проблема соотнесенности двух обликов России: прежнего, относящегося к периоду Московской и древней Киевской Руси, и новой России, представшей перед глазами Европы в первой четверти XVIII столетия.

Собственно, начало переосмыслению места России в европейском мире было положено знаменитой речью Б. Фонтенеля в Парижской академии в ноябре 1725 года «Eloge du czar Pierre I». И именно там оппозиция «древней» и «новой» России была впервые официально сформулирована как следствие преобразовательной политики Петра, выведшего нацию из оков отсталости. Тем самым концепция просвещенного абсолютизма в лице Петра I находила свое подтверждение. Вольтер выступает продолжателем разработки традиции данного мифа, наполняя его новым содержанием.

Историки единодушны в том, что труды Вольтера, и прежде всего его «История Карла XII, короля Швеции», способствовали резкому увеличению интереса к России со стороны европейского общественного мнения. Именно в ней Россия представала в новом качестве внезапно появившейся на восточной окраине континента державы, поставившей предел политическому могуществу еще совсем недавно непобедимой Швеции. Успехи России в Северной войне, о чем уже шла речь выше, предопределили эти изменения в расстановке политических сил в Европе. И в первом труде Вольтера оценка противостояния Петра I шведскому королю, естественно, занимала одно из центральных мест.

Обращение Вольтера к личности Карла XII вытекало, по-видимому, из его осознанного стремления к развенчанию историографической традиции, представлявшей историю как цепь деяний выдающихся героических личностей, якобы предопределяющих ход исторического процесса. Уловить в истории невидимую связь между возвышением и упадком славы государств, раскрыть роль, какую в этом процессе играли волюнтаристские устремления отдельных властителей, носителей стихии разрушения, — эти вопросы всегда волновали Вольтера. Наглядным примером такой связи являлась политика шведского короля. «Несомненно, не найдется монарха, который бы, читая о жизни Карла XII, не излечился бы от безумия завоеваний»,[4] — замечал историк во вступительном слове к первому изданию труда. Учитывая роковую роль, какую в судьбе шведского монарха сыграла Северная война, значительное место в труде Вольтера оказалось уделено России, экскурсам в ее историю и сравнительно подробному освещению некоторых аспектов политики Петра I.

Сведения о России, которыми мог располагать Вольтер в ходе работы над этим своим трудом, исчерпывались преимущественно

европейскими источниками, восходившими главным образом к сообщениям побывавших в России европейцев, в том числе и шведов. Вольтер сам осознавал недостаточность этих сведений и пытался восполнить свои пробелы познаний о России в ходе подготовки второго издания «Истории Карла XII...» в 1737 году. Это явствует из его писем к прусскому королю Фридриху II, который предоставил в распоряжение Вольтера «Записки» И. Г. Фоккеродта, долгие годы жившего в России. При переработке труда Вольтер активно использовал эти данные, хотя в основных позициях трактовка личности Петра I во втором издании изменений не претерпела.[5] Для Вольтера русский монарх, неутомимый труженик на троне, представал антиподом Карлу XII. Перед описанием Полтавского сражения в конце I тома Вольтер дал сравнительную обобщенную характеристику двух монархов, уникальных по своей неповторимости в мировой истории: «Карл XII, знаменитый своими девятилетними победами, Петр Алексеевич — девятилетними трудами, положенными на формирование войск своих подобными шведским: один славился тем, что давал государства, другой — тем, что просвещал собственное; Карл любил опасности и сражался только для славы; Петр Алексеевич, не избегая опасности, вел войны только ради своих интересов 〈...〉 Карл имел титул *Непобедимого*, которого один миг мог его лишить; народы дали уже Петру имя Великого, которого он не мог лишиться, ибо снискал его не победами».[6] На примере судеб двух европейских монархов Вольтер наглядно иллюстрировал действенность одной из излюбленнейших доктрин эпохи Просвещения — концепцию просвещенного абсолютизма.

Петр I представлял в этом отношении ярчайший образец подлинно исторической личности. Взгляд на русскую нацию, пребывавшую до Петра во мраке невежества и выведенную им из этого полудикого состояния (именно такая концепция лежала в основе труда Вольтера), как раз и призван был подчеркнуть цивилизаторскую миссию Петра I, отношение к которому как к живому воплощению идеала просвещенного монарха составляло ведущий лейтмотив вольтеровской «Истории Карла XII...». После него подобный взгляд на Россию получил в Европе еще большее распространение. Тем самым проблема «древней» и «новой» России, хотя и не названная, но изначально подразумеваемая, для европейцев представала в однозначно прозападном ее осмыслении — до Петра I русские не были цивилизованным народом: «...сия неизмеримая страна была едва известна в Европе прежде царя Петра. Московиты были просвещены не больше, чем мексиканцы, когда Кортес открыл их страну; будучи от природы рабами своих господ, таких же варваров, как и они, пребывая в невежестве, они нуждались во всех искусствах, хотя и не чувствовали этой нужды, ибо подобная нечувствительность истребляла всякое трудолюбие».[7]

Полное невежество и бескультурье, а главное, обусловленное состоянием рабства полное отсутствие потребности в какой-либо производительной деятельности и как следствие отсутствие просвещения — такая неприглядная картина нравов, существовавшая на Руси до вступления на престол Петра I рисуется Вольтером на страницах его труда. Говоря о религиозности русских, он опускается до прямой клеветы, вроде той, какая веком ранее распространялась в упоминавшейся выше книге Ж. Маржере. «С благословением их попов они полагали себя чистыми перед Богом. Они переходили без угрызений совести от исповеди к воровству и убийству; и то, что является тормозом для других христиан, было у них поощрением к беззаконию»,[8] — пишет Вольтер. Не случайно он так высоко оценивает меры Петра I по ограничению влияния Церкви на общественную жизнь страны. Петр представал создателем новой нации.

Эту же точку зрения Вольтер сохранит в следующем своем историческом сочинении «Век Людовика XIV» (Le siecle de Louis XIV. (1751—1753)). Там Вольтер вновь чрезвычайно высоко отозвался о роли Петра I в истории России, «извлеченной им из варварства». «Прежде его Россия была пространною степью; русские не имели ни законов, ни благоустройства, ни просвещения и во всем походили на татар. ⟨...⟩ Российская империя сделалась могущественною с тех пор, как Петр Великий преобразовал ее».[9]

Так под пером Вольтера формируется представление об обновлении государства усилиями выдающейся личности, осознавшей предназначение своего народа, как пример действенности доктрины просвещенного абсолютизма. В рамках этой концепции закономерно вырисовывается оппозиция «древней» и «новой» России в ее западном осмыслении. И развитие подобного взгляда не претерпело существенных изменений у Вольтера, когда он приступал к работе над «Историей Российской империи при Петре Великом» в 1757 году. Разумеется, круг источников, использованных им для своего нового труда, был значительно расширен. Большое место среди них занимали материалы, доставлявшиеся Вольтеру из России через Академию наук».[10] И тем не менее первый вариант «Истории...», заключавший в себе восемь глав, присланных на апробацию в Петербург, содержал немало ошибок, что не преминули отметить все русские ученые, читавшие данный труд. Особенно обстоятельные «примечания» на рукопись подготавливаемого труда были сделаны Ломоносовым. Его наиболее серьезные замечания касались главы «Описание России» и были связаны с характеристикой отдельных эпизодов царствования Петра I, а также оценки событий, предшествовавших его реформам. Главу о стрелецких бунтах он попросту забраковал, обнаружив в ней «много неисправностей». «К сочинению ее можете перевести приказать мой экстракт о стрелецких бунтах» (6. 94), — замечает Ломоносов. Перевод экстракта действительно был выслан Вольте-

ру, — и глава о стрелецких бунтах была коренным образом переработана. Ломоносова не удовлетворило явное преувеличение Вольтером роли иностранцев в определении направления преобразовательной политики Петра I. Указал Ломоносов и на неточности, допущенные Вольтером в описании поражения русской армии под Нарвой в 1700 году, а также его последствий. Вольтер, как замечал Ломоносов, удосужился даже спутать даты рождения и смерти Петра. Отдельные недочеты формулировок Вольтера вызвали у Ломоносова справедливое негодование, поскольку затрагивали честь царской фамилии. Так, он резко воспротивился тому, что в труде Вольтера основатель династии Михаил Федорович Романов был назван «сыном ростовского архиерея». Ломоносов предлагает иную формулировку: «сын боярина Федора Никитича Романова, который был насильственно пострижен в монахи Годуновым» (6. 93).

Русские ученые, и не только Ломоносов, имели все основания чувствовать себя уязвленными перед тем предпочтением, какое в сочинении истории царствования Петра I было оказано иностранцу, даже такому авторитету, как Вольтер. Характерным в этом отношении можно считать появление в журнале «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» как раз в 1757 году статьи под красноречивым названием «Предложение, как исправить погрешности, находящиеся в иностранных писателях, писавших о Российском государстве». Статья принадлежала историку Г. Ф. Миллеру, работавшему в Петербургской Академии наук вместе с Ломоносовым. Миллер прямо заявляет, что «печатанныя в чужестранных землях о Российской империи книги ⟨...⟩ наполнены премногими погрешностями, что очень много в них недостает того, что потребно к обстоятельному знанию о России и что повторяются в них разные известия, писанныя лет тому назад за сто и за двести, к безславию Российского народа...».[11] Причину такого положения Миллер видит в недостатке собственных сочинений по истории и географии российского государства и в слабой активности со стороны русских читателей по исправлению погрешностей, заключающихся в иностранных трудах.

В контексте той трактовки прежнего состояния допетровской России, которая содержалась в последнем историческом труде Вольтера, становятся более понятны идеологические истоки роста национального самосознания, столь активно проявившегося в подъеме отечественной историографии 1760-х годов. Значительная роль в подготовке этого процесса принадлежала Ломоносову. Оппозиция «древней» и «новой» России, ставшая закономерным следствием осознания изменившегося статуса страны, не просто обозначила водораздел между двумя этапами русской истории. Она поставила вопрос о значении исторического прошлого в новую плоскость тех реалий, которые сложились в ходе укрепления российской державности к середине XVIII столетия.

Ломоносов выступает в XVIII веке, пожалуй, наиболее активным выразителем концепции просвещенного абсолютизма в той ее модификации, какая могла быть реализована в России в результате петровских преобразований. Государственность пафоса его творческой позиции пронизывала буквально все стороны идеологической программы, художественно воплощавшейся и в его торжественных одах, и в его похвальных словах монархам, и в его поэме «Петр Великий», не говоря уже о многочисленных надписях и программах к иллюминациям. Очень точно изменение политического статуса России в XVIII веке Ломоносов определил в программном «Слове благодарственном Ея Имп. Величеству на освящение Академии Художеств» (1764). В этой речи современное состояние России рассматривается как итог предпринятых по инициативе Петра I решительных мер по просвещению страны. «Никто в сем не усумнится, кто оглянется на минувшее время нынешняго столетия от начавшегося просвещения Петрова и рассудит, чему Россияне перед прежним научились» (8. 809). В сравнении с тем, что представляли собой в России наука и образование до реформ Петра, положение в стране разительно изменилось. И Ломоносов с полным правом видит в торжественном акте освящения Академии Художеств продолжение заданных великим преобразователем начинаний. Но главное, в чем видит он заслуги Петра, это изменение политического положения России в европейском мире. Несмотря на многочисленные препятствия, оно обрело отныне прочные основания. «...Россия ⟨...⟩ победами, доказавшими преимущество в храбрости и самым высокомысленным сопостатам, поставив свои пределы в безопасности и привлекши к себе прилежное внимание окрестных народов, яко важнейший член во всей европейской системе, требует величеству и могуществу своему пристойнаго и равномернаго великолепия» (8. 811).

Государственностью подхода в понимании задач изобразительного искусства, развитию которого предназначалась Академия, пронизана и программа, развернутая Ломоносовым перед ее питомцами: представить «виды Героев и Героинь российских в благодарность заслуг их к Отечеству» ⟨...⟩ и, перенося «в настоящее время минувшие российские деяния, показать древнюю славу праотцев наших» (8. 808—809).

Установление исторической преемственности успехов российской государственности — вот то, что принципиально отличало программу Ломоносова как идеолога просвещенного абсолютизма в России от западных публицистов и историков, и прежде всего Вольтера. С одной стороны, он несомненно осознает тот эпохальный разрыв, который произвели реформы Петра I, направившие развитие огромной страны по качественно новому руслу. В этом Ломоносов видит проявление Божественного промысла. Достаточно напомнить пронизанную идеей провиденциализма строфу

из широкоизвестной «Оды на день восшествия на всероссийский престол ея величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года», заключающую в себе взгляд на роль Петра в истории России:

Ужасный чудными делами
Зиждитель мира искони
Своими положил судьбами
Себя прославить в наши дни:
Послал в Россию Человека,
Каков неслыхан был от века.
Сквозь все препятства Он вознес
Главу, победами венчанну,
Россию, грубостью попранну,
С собой возвысил до небес.

(8. 199–200)

Существенно при этом обратить внимание на то, что в первоначальном виде (в рукописи и в издании сочинений 1751 года) предпоследний стих строфы имел иную редакцию: «Россию, варварством попранну». То, что Ломоносов счел необходимым переработать этот стих и в конечном счете отказался от слова «варварство» как определяющего понятия применительно к допетровскому состоянию России, очень важно.

Историческая закономерность вступления России в число ведущих держав Европы, как страны, ничем не уступающей остальным «политичным» государствам, была, в глазах Ломоносова, предобусловлена ее предшествующим развитием. В свете этого для него становилось неприемлемым квалифицировать прошлое России в категориях, полностью отрицающих наличие в ее истории какого-либо цивилизаторского начала. Понятие «варварство» было заменено.

И тем не менее не подлежит сомнению, что Ломоносов недвусмысленно подчеркивает грань, отделяющую новую созданную Петром Россию от прежнего состояния страны. Отмеченная оппозиция встречается едва ли не в каждом его произведении, коль скоро речь заходит о Петре. Это он «Движением своих величественных сил // Народу *новый дух и мужество вложил*» (8. 729), — восклицает Ломоносов в поэме «Петр Великий». Это Петр, «несравненный монарх», «что *свет открыл России всей*» («Ода на торжественный день восшествия на всероссийский престол... Елисаветы Петровны...» 1752 (8. 504)). С именем Петра связывается наступление в России «света» и прогнание «тьмы», невежества и неустройства. Благодаря его заслугам «*приняла новый вид Россия,* основаны науки и художества, учреждены посольства и союзы, отвращены хитрые умыслы некоторых держав против нашего отечества...» («Слово похвальное... императору Петру Великому...». 1755 (8. 606)). Подлинным апофеозом Пет-

ру и его преобразовательной деятельности в области просвещения нации звучат те места «Слова...», где раскрывается значение введенных им наук: «Таковым сиянием величества окруженныя науки и художества всякаго рода какую принесли нам пользу, доказывает избыточествующее изобилие многоразличных наших удовольствий, которых *прежде великаго России Просветителя предки наши не токмо лишались, но о многих и понятия не имели.* ⟨...⟩ Похвалялись некогда окрестные соседи наши, что Россия, государство великое, государство сильное, ни военного дела, ни купечества без их спомоществования надлежащим образом производить не может, не имея в недрах своих не токмо драгих металлов для монетного тиснения, но и нужнейшего железа к приуготовлению оружия, с чем бы стать против неприятеля. *Исчезло сие нарекание от просвещения Петрова...»* (8. 591—592).

Это постоянное противопоставление новой «просвещенной» России прежнему состоянию страны, пребывавшей до Петра в «грубости», становится общим местом почти у всех авторов, затрагивавших данную тему. «До времен Петра Великого Россия не была просвещена ни ясным о вещах понятием, ни полезнейшими знаниями, ни глубоким учением, разум наш утопал во мраке невежества, искры остроумия угасали и воспламениться не имели силы»,[12] — читаем мы в «Слове похвальном о государе императоре Петре Великом» (1759) А. П. Сумарокова. Не менее рельефно этот мотив развивается им в стихотворении «Россия щастлива Петром...»:

Исправил прежний он устав,
Переменил народа нрав:
Упрямство, грубость, лицемерство,
Им утесненны, скрылося зверство.[13]

Общность позиции Сумарокова со взглядами Ломоносова в оценке значения Петровских реформ бросается в глаза. И подобные приведенным примеры можно было бы найти и у других авторов этого времени.

Как поэт Ломоносов прославился уникальной попыткой сохранить для потомков облик Петра I в эпосе. По совету графа И. И. Шувалова на исходе 1750-х годов он обращается к созданию поэмы «Петр Великий». В рамках жанра героической эпопеи Ломоносов предпринимает смелый эксперимент — поэтическое воплощение хода истории, запечатленной в деяниях выдающегося монарха.

Замысел не был осуществлен до конца. Сохранились только вступление и первые две песни поэмы. Но и по реализованной части произведения можно судить о принципиально новаторском подходе Ломоносова к выполнению панегирического задания. Поэма должна была служить памятником Петру и одновременно историческим свидетельством важнейшего этапа истории России.

Воплотить в личности великого монарха дух созидательного начала истории — такова была задача автора. И при выполнении этого социального заказа Ломоносову пришлось столкнуться с целым рядом трудностей.

Как живописать историю, имея предметом исторические события, от которых сам автор был отделен всего одним поколением? Как относиться к традиции, предопределявшей условия выполнения подобного художественного задания в виде вполне установившегося, освященного веками и восходящего к античности канона жанра героической эпопеи? Как, наконец, вместить в рамки эпического повествования массу событий и исторических фактов времени царствования Петра I, не нарушив соразмерности их значения в общей картине того эпохального переворота, каким было отмечено описываемое время? Но главная трудность заключалась в установлении идеологической адекватности оценок прошлого современному политическому состоянию, правильный выбор тех ракурсов в раскрытии личности Петра I, которые бы, максимально воплощая нетленность его деяний, не искажали исторической истины. На первом месте для Ломоносова стоял, естественно, вопрос метода живописания истории. В рамках традиции жанра героической эпопеи, от которой не мог уклониться Ломоносов, выполнение взятой им на себя задачи в новых культурно-исторических условиях оказывалось далеко не простым. Политическая актуальность содержания должна была подкрепляться адекватной замыслу эстетической актуальностью. И здесь возникали определенные сложности. Сам масштаб и место героической эпопеи в системе литературных жанров классицизма налагали на поэта особую ответственность. «Ироическая, инако Эпическая Пиима и Эпопия есть крайний верьх, венец и предел высоким произведениям разума человеческого. Она и глава и совершение конечное всех преизящных подражаний Естеству»,[14] — писал В. К. Тредиаковский в теоретическом «Предызъяснении» к поэме «Тилемахида», разъясняя место героического эпоса в системе поэтических жанров классицизма.

Ломоносов осознавал значение взятой им на себя миссии, тем более что до него в русской литературе ничего подобного в данном жанре создано не было. Представления о героической эпопее как высшей форме поэтических творений, призванной воплощать события эпохального значения, сформировались еще в далекой античности, и эту традицию Ломоносов хорошо себе представлял. Поэмы Гомера и Вергилия, в позднейшее время дополненные эпопеями Т. Тассо, Л. Ариосто, Л. Камоенса, Д. Мильтона, наконец, «Генриадой» Вольтера, — весь этот опыт был в его распоряжении. Но за исключением, пожалуй, опыта Вольтера, поэма которого была посвящена реальному и историческому лицу, Ломоносов вряд ли при выработке метода своей эпопеи мог принять кого-либо из перечисленных авторитетов себе за образец.

Хотя во след иду Виргилию, Гомеру,
Не нахожу и в них довольного примеру.
Не вымышленных петь намерен я богов,
Но истины дела, великий труд Петров.
(8. 696)

— прямо заявляет он во «Вступлении». Учитывая ту роль, какая в эпопеях традиционно отводилась мифологической атрибутике и использованию волшебных и аллегорических персонажей, Ломоносов стоял перед выбором: как поступить с традицией. Поэтика классицизма не просто допускала, но предусматривала насыщение эпического повествования метафорическими уподоблениями из арсенала античной и христианской мифологии. Но для Ломоносова, обратившегося в своей поэме к реальным историческим событиям сравнительно недавнего прошлого, организация системы повествования на основе использования всех этих приемов была практически невозможна. Выполнение художественного задания в данном случае оказывалось напрямую связанным с отстаиванием определенных политических идеалов. И это было решающим фактором для установления отношения к традициям. Принцип достоверности, максимальной точности в изображении всего, что связано с личностью Петра I и временем его царствования, предопределяли методы обработки поэтом исторических материалов в ходе создания эпопеи. В этом кроется объяснение принципиального отказа Ломоносова от следования традиции античного героического эпоса в лице Гомера и Вергилия, и не только их.

Прослеживание композиционных звеньев первых двух завершенных песен эпопеи дает основание считать, что полностью об игнорировании Ломоносовым традиций предшественников говорить нельзя. Ломоносов несомненно опирался на опыт Вольтера, автора «Генриады», поэмы, прокламировавшей концепцию просвещенного абсолютизма. В мировую историю Генрих IV вошел как монарх, принесший мир и согласие растерзанной религиозными распрями стране, как гуманный правитель, покровительствовавший наукам и искусствам, как противник религиозной нетерпимости. Вольтер идеализировал Генриха IV согласно историографической традиции. Ломоносов в условиях России XVIII века развивал подобную традицию применительно к личности Петра I. Композиционный зачин его эпопеи явно был подсказан зачином «Генриады».

Напомним, что в песни I «Петра Великого» описывается путешествие Петра I по Белому морю, где он, будучи застигнут бурей, находит укрытие на Соловецких островах. И там Петр рассказывает от первого лица настоятелю Соловецкого монастыря о кровавых событиях стрелецких бунтов 1682 года. В поэме Вольтера основные события правления Генриха IV также предваряются поездкой будущего короля по морю в Англию, где Генрих Наваррский во 2-й песни поэмы повествует английской королеве

Елизавете о кровавых событиях Варфоломеевской ночи, массовой резне гугенотов католиками в августе 1572 года.

Перед этим Генрих делает короткую остановку на острове Джерси, где католический отшельник предсказывает ему обладание французским троном. Вольтер не избежал насыщения своей эпопеи аллегориями и даже изобразил посещение главным героем загробного мира, где он беседует с тенями умерших. Ломоносов до таких вольностей не доходит и, кроме изображения морского царя в I песни, впрочем поданного с легкой иронией, никаких атрибутов мифологии больше не использует.

То, что Вольтер вводит рассказ о Варфоломеевской ночи в ткань повествования в качестве своеобразной экспозиции основному панегирическому сюжету эпопеи, призвано было оттенить значение тех мер, которые предпринял Генрих Наваррский, став королем Франции, когда он издал знаменитый Нантский эдикт и тем прославил свое имя.

Аналогичную функцию в композиционной структуре «Петра Великого» выполняет рассказ о стрелецких бунтах в I песни эпопеи Ломоносова. Изображение бесчинств неуправляемой мятежной стихии, какой являлись стрельцы и свидетелем которых был юный царь, также призвано было показать в контексте всей поэмы историческую неизбежность тех крутых преобразований, которые предпринимает повзрослевший Петр, в корне изменивший облик страны. Показательно, что следующая II песнь поэмы была посвящена не взятию Азова и не поражению под Нарвой, что хронологически было бы оправдано, а событиям, связанным с успехами Северной войны — осаде и взятию Шлиссельбурга. В этом можно видеть предположительные контуры возможного движения творческой мысли Ломоносова, который, по-видимому, намеревался сосредоточить главное внимание в эпопее не на скрупулезной фиксации всех моментов биографии царя-реформатора, а на выделении главных, решающих для судеб страны событиях его царствования. Таковыми событиями несомненно были строительство Петербурга как новой столицы преображенного реформами государства и, конечно же, Полтавская победа. Можно предположить, что именно песни, включавшие описание этих событий, и должны были бы составлять кульминационные пункты содержания всей эпопеи, если бы она была завершена в полном объеме. Отдельные частные детали и реплики, растворенные в повествовании двух первых песен эпопеи, дают основания для подобных предположений.

Новаторство Ломоносова заключалось, прежде всего, в том, что движущим началом в осмыслении значения петровских преобразований выступает в его поэме логика исторических событий, оцениваемых по их политическим последствиям для судеб русского государства. Петр I как деятельное лицо истории, как реформатор на троне выступал конкретным вершителем тех эпохальных

перемен, которые преобразовали облик России. Именно поэтому для Ломоносова последним аргументом в утверждении созидательного пафоса дел Петра I остается всегда сама история. Отсюда следует почти полное отсутствие в его эпопее элементов фантастики и волшебства. Использование фактора чудесного в качестве мотивировки исторических событий и даже включение аллегорических персонажей в ткань повествования для Ломоносова остается принципиально чуждым.

Ломоносовская эпопея, если бы она была завершена, должна была бы служить идеологическим противовесом тем манифестациям достижений обновленной реформами России, которые создавались в сочинениях европейских историков и публицистов, не исключая и трудов Вольтера. Последние несомненно учитывались Ломоносовым в ходе написания «Петра Великого». Об этом можно судить исходя из общности пафоса в оценке заслуг Петра I на фоне развенчания ореола величия шведского короля Карла XII.

Утверждая торжество «новой» России через военные успехи в Северной войне, — в данном случае на примере взятия Шлиссельбурга — Ломоносов противопоставляет Петра I шведскому королю, опираясь на вполне реальный факт, известный историкам и дважды использованный Вольтером в его трудах. Я имею в виду эпизод, связанный с реакцией Петра I на высокомерное поведение Карла XII, отказавшегося в очередной раз от предложения о проведении мирных переговоров с русским царем. Карл отвечал посредникам, что он будет вести переговоры с царем не иначе как только в Москве.

Когда Петра известили о подобном ответе шведского короля, он заметил: «Мой брат Карл желает быть подобным Александру, но он не найдет во мне Дария».[15]

В поэме Ломоносова этот эпизод находит свое отражение. После взятия Шлиссельбурга Петр приказывает отпустить оставшихся в живых шведских солдат с честью домой. Гуманный поступок русского царя призван вновь высветить безумие завоевательских устремлений Карла XII. Как бы прозревая грядущее поражение Карла под Полтавой, Ломоносов по-своему обыгрывает приведенные выше слова Петра I о шведском короле, включая их в контекст прославления «новой» России:

Пусть дерзостно спешит как буйный ветр
к востоку
И приближается к предписанному року.
Не найдет Дария, чтоб Александром стать;
Не спорит меж собой развратна прежде рать:
Петрову новому учению послушны,
Россияне стоят в полках единодушны.
Движением своих величественных сил
Народу новый дух и мужество вложил.
(8. 729)

Подобной трактовкой событий Северной войны Ломоносов ниспровергал еще один миф, до недавнего времени бытовавший в западноевропейской историографии, — представление о России как о восточной деспотии, принадлежащей по культуре и обычаям к государствам азиатского региона. Развенчание претензий Карла XII на роль нового Александра Македонского, рассеявшего армии Дария, составляло одну из задач примененного Ломоносовым сравнения. Но важно обратить внимание на несомненную перекличку в оценках двух монархов у Ломоносова с Вольтером. «Карл пышностью своей возвысит честь Петрову», — завершает поэт приведенную тираду. И подобная формула полностью соответствует позиции Вольтера, хотя в раннем его труде — «Истории Карла XII» — представления о состоянии России до петровских преобразований нередко грешили необъективностью.

В полном соответствии с просветительской традицией Ломоносов в финале II песни своей эпопеи резко осуждает войны как орудие политики, приносящее народам кровь и страдания. Однако применительно к личности Петра он делает исключение. Война была для Петра I не самоцелью, но средством возвысить государство. Ломоносов понимает, что без военного противостояния Швеции вывести Россию из состояния отсталости для сближения ее с Европой было бы невозможно:

Другие в чести храм рвались через ту вступить,
Но сю он желал Россию просветить.
Когда без оныя не ввел нам просвещений,
Не может свет стоят без сильных воружений.
(8. 732)

Именно просветительская устремленность политики Петра постоянно подчеркивается Ломоносовым, даже когда он касается военных аспектов этой политики.

Так, под пером Ломоносова и его современников наполнялась содержанием и аргументацией проблема, очень скоро ставшая узловой как для русской историографии, так и для всей общественной мысли XVIII и XIX веков, — проблема ценностного соотнесения и тем самым противопоставления «древней» и «новой» России. Вполне закономерно, что каждое обращение к данной проблеме начиналось с уяснения роли Петра I в истории России и всего, что было связано с результатами его многообразной преобразовательной деятельности.

Отмеченная идейная оппозиция сформировалась в творчестве Ломоносова не на пустом месте, но была вскормлена всей культурной ситуацией, складывавшейся на протяжении первой четверти XVIII века. Ощущение дистанции между прошлым состоянием России и новым, исполненным динамики ритмом ее жизни, признание в этом решающей роли Петра, преобразившего неузнаваемо облик страны, уже имело место в литературе петровского

времени, сказавшись и на активизации русской исторической мысли, о чем уже шла речь в 1-й главе.

Однако, обращаясь к анализу всей совокупности оценок исторического прошлого России, рассеянных в одах и других произведениях Ломоносова, мы оказываемся перед необходимостью объяснения еще одного бросающегося в глаза факта, заставляющего думать о противоречивости и, казалось бы, непоследовательности его позиции. С одной стороны, отстаивание петровских преобразований закономерно вело к отрицанию того, что было связано с состоянием «варварства» или «грубости» (в значении — невежества), в какое была погружена Россия до начала XVIII века. Постоянное присутствие этой идейной оппозиции в различных сочинениях Ломоносова мы только что продемонстрировали.

Но, с другой стороны, столь же неизменно и настойчиво на протяжении всей жизни Ломоносов выступает горячим проповедником славного исторического прошлого России. Этот мотив звучит постоянно во многих его поэтических произведениях.

В той же поэме «Петр Великий» апелляции к историческому прошлому буквально пронизывают повествование, устанавливая преемственность воинских подвигов нового времени:

Военны подвиги Петровы начинаю,
В отцах и в дедах вам примеры представляю.
Неустрашимость их изобразит мой глас,
Что чувствуете вы наследственную в вас.
(8. 718)

Ломоносов вспоминает о заслугах Пожарского и Трубецкого, чье мужество спасло Россию в период Смуты. Он вспоминает летописную легенду об Олеге, двинувшем ладьи посуху под парусами при нападении на Царьград, когда описывает факт перенесения сухим путем русскими солдатами по приказу Петра галерного флота из Ладоги в Неву для штурма крепости Орешек. Он ссылается на Ивана III, введшего использование артиллерии в русском войске.

История в поэзии Ломоносова является не просто темой. Она оказывается включенной в формирование той системы риторического возвеличивания государственного идеала, какой был необходим поэту для создания перспективы процветающей и могущественной России, детища Петра I. Она выполняет роль того соединяющего начала, которое, устанавливая связь между прошлым и настоящим, выступает гарантом будущего.

О Боже, крепкий Вседержитель,
Пределов Российских расширитель,
Коль милостив бывал ты к нам!
Чрез семь сот лет едино племя

Ты с Росским скиптром сохранил;
Продли сему по мере время,
Как нынь Россию расширил.
(8. 564–565)

— восклицает поэт в «Оде на рождение великого князя Павла Петровича 1754 года». Незыблемость уходящего в глубь веков единодержавия объявляется залогом процветания существующей монархии. Государственность пафоса, которой постоянно была пронизана творческая позиция Ломоносова, в полной мере проявляется и в его трактовке всего, что связано с оценками отечественной истории. Он постоянно героизирует прошлое. Он ищет в древности примеры воинской доблести предков, как бы подтверждая ими обретение имперского величия обновленного реформами Петра I российского государства. Ломоносов по-своему устанавливает историческую преемственность военных успехов, достигнутых Россией при Петре I и его преемниках, напоминая о тех далеких временах, когда Русь на заре своего становления отстаивала свое право на существование и перед лицом грозной Византии, и в борьбе со своими беспокойными соседями.

Война плоды свои растит,
Героев в мир рождает славных,
Обширных областей есть щит,
Могущество крепит державных.
Воззрим на древни времена!
Российска повесть тем полна.
Уже из тьмы на свет выходит
За ней великий полк мужей,
Что на театр всесветный взводит
Одетых солнечной зарей.
(8. 747)

Содержание этой строфы из «Оды императрице Елизавете Петровне на день восшествия на всероссийский престол» (1761) становится понятным в контексте событий Семилетней войны 1756—1763 годов. Но существенно, что свою апелляцию к подвигам предков Ломоносов сопровождает экскурсом в далекое историческое прошлое Киевской Руси. Основываясь на известиях, сообщаемых летописями и византийскими историками, он вспоминает о подвигах Святослава, о крещении Руси Владимиром, о могуществе Владимира Мономаха и победе над ордой Дмитрия Донского. Особо выделяет Ломоносов победу над шведами князя Александра Невского, в котором он видит «Петрова мужеством предтечу». Так устанавливается связь современности с историей.

Аналогичным образом идея исторической преемственности славы предков утверждается в стихах, написанных на иллюминацию по случаю рождения великого князя Павла Петровича (1754). После перечисления героев древности Ломоносов завер-

шает исторический экскурс обращением к времени, непосредственно предшествовавшему эпохе Петра:

Твой Дед на вышшую степень Россию взвел
И свету показал хвалу преславных дел.
Великий Твой Отец, широкими стопами
Всходя, возвысил нас над прочими странами.
Но не дошед верьха по общей всех судьбе,
Весь труд свой совершить препоручил Тебе.
(8. 570)

Как видим, в этих панегирических стихах нет и намека на отсталое или приниженное положение России при предшественниках Петра I. Ломоносов масштабно выразил тот подъем национального самосознания, каким было отмечено его время. Для него апелляции к отечественному историческому прошлому имели еще один дополнительный стимул, будучи продиктованы его изнурительной и почти непрерывной борьбой со своими недоброжелателями в Академии наук. Вот почему его защита исторического прошлого своей страны также носит нередко полемический оттенок. Особенно отчетливо это проявляется в одной из лучших од Ломоносова, знаменитой «Оде на восшествие на престол Екатерины II» 1762 года. Именно опыт исторического прошлого выдвигается здесь в качестве решающего аргумента его заочного спора с чужеземными оппонентами, унижавшими традиции страны:

Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел
И чувствам собственным поверьте:
Не вам подвергнуть наш предел.
Исчислите тьму сильных боев,
Исчислите у нас героев
От земледельца до Царя...
(8. 779)

Эту же идею Ломоносов ранее развивал во «Вступлении» к своей «Древней российской истории». Сравнив историю России с течением полноводной могучей реки, Ломоносов указывает на творения «летописателей» как на свидетельства полнокровной духовной жизни предков: «Немало имеем свидетельств, что *в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели.* Инако рассуждать принуждены будут, снесши своих и наших предков и сличив происхождение, поступки, обычаи и склонности народов между собой» (6. 170). При всей явной полемичности сделанного заявления несомненным остается убеждение Ломоносова в достаточно высоком уровне общей культуры предков своих соотечественников, мало в чем уступавших другим народам. На этом основании он и утверждает значение национальных, по-видимому летописных,

источников для создания научной истории России. Как видим, отзывы Ломоносова о древнем допетровском периоде отечественной истории отнюдь не всегда были выдержаны в скептических тонах.

В связи с приведенными утверждениями встают закономерные вопросы: как соотнести позитивный ряд высказываний об историческом прошлом страны с тезисами, подобными заявленному в оде 1747 года, о «грубости», или «варварстве», в каком пребывала Россия до царствования Петра I.

Для ответа необходимо обратиться к трактовке Ломоносовым древнего периода истории России и уяснить, в какой мере научный подход Ломоносова к проблемам отечественной истории соотносим с его художественным творчеством. И начать, по-видимому, придется с ответа на вопрос о том, как сам Ломоносов понимал предмет исторической науки, в чем он видел свою задачу как историка.

Следует заметить, что для Ломоносова не существовало непроходимой грани между историей как наукой и поэзией. Он рассматривал как ту, так и другую в ряду «словесных наук» и считал их в равной мере подвластным законам риторики. Он полагал, что, с функциональной точки зрения, поэзия (стихотворство) и история родственны. Это явствует, например, из «Слова похвального Ея величеству государыне императрице Елисавете Петровне...» от 26 ноября 1749 года, произнесенном в день ее тезоименитства в публичном собрании Академии наук, где Ломоносов развернул перед слушателями впечатляющую картину той пользы, какую несет стране развитие различных наук. После раскрытия важности астрономии, физики, географии Ломоносов в форме риторического вопроса подводит слушателей к пониманию пользы «словесных наук»: «Чем военные сердца вящше к мужественному против врагов действию и храброму защищению отечества побуждаются, как славными примерами великих Героев?» — восклицает он и тут же отвечает: «Сии приводит на память История и стихотворство, которые прошедшие деяния живо описуя, как настоящия представляют: обоими прехвальные дела великих Государей из мрачных челюстей едкия древности исторгаются» (8. 252). Как видим, Ломоносов фактически не отделяет задачи исторической науки от задач поэзии, и в этом — характерная для его эпохи синкретичность гуманитарного знания с его дидактизмом и некоторым оттенком особой этической направленности. Красноречивым подтверждением этому может служить, например, и то определение истории, какое давал ей В. Н. Татищев: «...в истории не токмо нравы, поступки и дела, но и с того происходясчия приключения описуются, яко мудрым, правосудным, милостивым, храбрым, постоянным и верным честь, слава и благополучие, а порочным, несмысленным лихоимцам, скупым, ропким, превратным и неверным бесчестие поношение и оскорбление вечное последует, из

которого всяк обучаться может, чтоб первое, колико возможно, приобрести, а другого избежать».[16]

Свое понимание задач исторической науки в чистом виде Ломоносов изложил во вступлении к «Древней Российской истории»: «Велико дело есть смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, пренося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила. ⟨...⟩ История, повсюду распростираясь и обращаясь в руках человеческого рода, стихии строгость и грызение древности презирает... она дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судьям — правосудия» (6. 171). Важно подчеркнуть вытекающую из ломоносовского определения осознанную гражданственность его позиции историка. По его мнению, задача истории — пробуждать в людях чувство гордости за прошлое своего отечества, сохранять в веках подвиги героев для подражания потомкам. Собственно и свое поэтическое творчество Ломоносов рассматривает под этим же углом зрения, видя задачу своих стихов в том, чтобы сохранить будущим временам героические деяния своей эпохи:

Что вы, о позные потомки,
Помыслите о наших днях?
Дела Петровой дщери громки
Представив в мысленных очах
И видя зрак изображенный,
Среди Героев вознесенный,
Что молвите между собой?
(8. 143)

Так устанавливалась связь прошлого с настоящим и настоящего с будущим. Обусловленный духом времени элемент провиденциализма в осмыслении хода исторического процесса не отменяет строгой научности аналитических принципов Ломоносова-историка. Его выводы всегда покоились на фундаментальной проработке всего имеющегося фактического материала и на доскональном изучении источников. При этом Ломоносов не ограничивается только традиционными методами исторических наблюдений, но нередко привлекает в качестве аргументов факты из области культуры, из области развития языков. Его занятия грамматикой и историей русского языка давали прекрасную базу для подобных экскурсов. Вот почему такое внимание в доказательствах своих исторических построений Ломоносов уделял процессам языкового развития.

Уже в известных «Замечаниях» на диссертацию Г. Ф. Миллера «Происхождение имени и народа российского» (1749) в обоснование своей теории славянского происхождения роксолан и исконности заселения предками славян нынешней части европей-

ской территории России Ломоносов помимо ссылок на византийские источники привлекает на помощь языковые аргументы: «А чтобы славянский язык толь широко распространялся, надобно было весьма долгое время и многие веки, а особливо что славянский язык ни от греческого, ни от латинского и от другого какого известного не происходит. ⟨...⟩ Ибо никакою меркою статься не может, чтобы великий и сильный народ роксоланский вдруг вовсе разрушился, а после бы на том же месте, того же имени и того же языка сильный же народ вдруг появился, а не был бы с первым одного происхождения».[17] (6. 29).

Апелляция Ломоносова к языку для доказательства своих исторических концепций помогает многое понять и в его взглядах на роль Петровской эпохи как своеобразного водораздела в поступательном процессе истории России. Но прежде следует остановиться на одном высказывании Ломоносова, касающемся общих закономерностей развития языка. Оно имеет прямое отношение к уяснению методологических установок Ломоносова-историка.

Как и во всем, в оценках эволюции духовной культуры и эволюции истории Ломоносов исходил прежде всего из наблюдений и фактов. И в тех немногих случаях, когда Ломоносову приходилось затрагивать проблемы закономерностей исторического развития языка, его подход поражает своей последовательностью и стихийным историзмом. Вехами в уяснении его методологических принципов могут служить для нас многочисленные, подчас не связанные друг с другом отдельные замечания и высказывания. Такие высказывания встречаются даже в «Российской грамматике». Говоря в § 51 о способах словообразования в русском языке, Ломоносов словно вскользь формулирует необычайно емкое по своей глубине и проницательности положение: «Как и все вещи от начала в малом количестве начинаются, а потом привосокуплениями возрастают, так и слово человеческое, по мере известных человеку понятий, в начале было тесно ограничено и однеми простыми речениями довольствовалось, но с приращением понятий и само помалу умножилось...» (7. 409).

В основе приведенного высказывания лежит признание прогрессивно поступательного характера развития человеческого знания. Слово как исторически развивающееся явление рассматривается неотрывно от человеческой практики, в динамике постоянного обогащения и усложнения его функциональных свойств. Ломоносов выступает здесь с позиции научной мысли эпохи Просвещения. И в методологическом аспекте высказанное положение можно рассматривать как исходный тезис в понимании Ломоносовым проблемы исторического развития всех явлений, включая общественные. Это высказывание, пронизанное оптимистической верой в конечный прогресс культуры, помогает лучше понять позицию Ломоносова в объяснении закономерностей исторического развития русского государства.

Для Ломоносова-историка развитие языка было неотрывно от развития наций. Некоторые народы утеряли связь со своим древним языком, благодаря потере связи с историей своих предков. «Где древний язык ишпанский, галский, британский и другие с делами оных народов?» (7. 591). Так ставит вопрос Ломоносов в известном «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке». В более благоприятном положении, по его мысли, оказался русский язык: «По времени ж рассуждения, видим, что российский язык от владения Владимирова до нонешнего веку, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого разуметь не можно было» (7. 590). В рассмотрении древнейших этапов истории Руси Ломоносов проявляет широту взглядов, учитывая все многообразие факторов, определявших пути ее становления. Говоря в первой главе своей «Древней российской истории» об истоках формирования русской нации, Ломоносов признает участие в этом процессе разных культурно-языковых этносов. В частности, он высказывает мысль о постепенном, протекавшем в течение длительного времени взаимослиянии славянских и чудских (т. е. финно-угорских) элементов. В качестве аргументов Ломоносов ссылается на факты топонимики и языка: «От сего, — пишет он, — не токмо многих сел, но рек и городов и целых областей чудские имена в России, особливо в восточных и северных краях, поныне остались. Немалое число чудских слов в нашем языке обще употребляется» (6. 173). В констатации этого Ломоносов не видит ничего, что ущемляло бы национальное чувство русских, ибо ведущая роль славянских племен в формировании русской государственности подтверждена фактами культурно-языкового преобладания. «В составлении российского народа, — продолжает ниже Ломоносов, — преимущество славян весьма явствует, ибо язык наш, от славенского происшедший, немного от него отменился и по столь великому областей пространству малые различия имеет в наречиях» (6. 174). Одну из задач исторической науки Ломоносов и видит в необходимости расширения знаний о народах, «положивших по разной мере участие свое в составлении россиян». Причем сам процесс смешения племен и народов на заре становления русской государственности Ломоносов рассматривает как закономерность, в равной мере присущую всем другим народам. Подтверждение тому он ищет и находит в процессах, которые протекают в развитии языков: «Рассуждая о разных племенах, составивших Россию, никто не может почесть ей в уничижение. Ибо не о едином языке утвердить невозможно, чтобы он с начала стоял сам собою без всякого примешения» (там же).

Этот тезис, высказанный Ломоносовым в «Древней Российской истории», находит свое подтверждение и развитие в его подготовительных набросках «Материалы к российской грамматике». Размышляя о процессах образования литературного языка, Ломоносов ставит вопрос о соотношении русского языка с други-

ми. Характерно, что он уже осознает опасность порчи отечественного языка по причине засорения его иностранной фразеологией. Исходный пункт намеченных конспективно к рассмотрению вопросов гласил: «О злоупотреблении и введении иностранных слов. Языки не меньше разнятся свойствами, нежели словами» (7. 622). Другим пунктом программы, намеченным для включения в труд, должно было стать «Рассуждение о европейских языках и о сходстве их и разности». Переходя далее к проблеме формирования лексической основы русского литературного языка, Ломоносов перечисляет факторы, определявшие его обогащение в процессе исторического развития, указывает основные иностранные источники пополнения русской лексики:

«1) Иностранные слова пришли к нам с первыми нашими тремя князми, как *берлога* и проч.

2) С православною греческою верою. *Поп, панамарь, риза.*

3) От владения татарского.

4) От купечества с пограничн<ыми> персами, китайцами, англичанами.

5) Чрез сообщество и частые войны с поляками.

6) От введения наук в Российское государство чрез г<осударя> и <мператора> П<етра> В<еликого>» (7. 607).

Трудно не поражаться информативной насыщенности этого фрагмента, содержащего по сути дела своеобразную схему периодизации русской истории. Сама последовательность перечисления источников пополнения отечественного языка отражает процесс развития русской нации, основные этапы ее многотрудного становления: общение с варягами во времена легендарного Гостомысла; крещение Киевской Руси с последующим восприятием традиций греческой книжности; почти трехсотлетний период татарского ига; многолетнее противоборство с Речью Посполитой, вылившееся на какой-то момент в прямую интервенцию поляков в начале XVII века с целью овладения московским престолом. Каждый этап оставил свой след в формировании русского культурно-языкового фонда. Закономерно, что завершающим в этой схеме значится этап, отмеченный лексическими нововведениями, связанными с временем Петровских реформ. Качественное своеобразие этого этапа в отличие от других как бы подчеркнуто косвенным указанием на своеобразную завершенность процесса становления языка в силу вступления России в число «просвещенных» наций, благодаря «введению наук» в стране. Последнее обстоятельство составляло в глазах Ломоносова главный итог петровских преобразований. В этом состоял переломный характер данного этапа в истории России. Здесь проходил, по мысли Ломоносова, водораздел между «древней» Россией, «грубостью попранной», и Россией, обновленной науками в результате реформ Петра. Предельно отчетливо это убеждение Ломоносова было выражено им в уже цитировавшемся выше «Слове похвальном бла-

женныя памяти государю императору Петру Великому...» (1755). Одаренность Петра I «несравненною премудростию» («важность в рассуждениях, безпритворная в словах краткость, в изображениях точность, в произношении сановитость, жадность к познанию» и т. д.) предопределила неизбежность перемен: «Чрез сии Петровы дарования *приняла новой вид Россия, основаны науки и художества, учреждены посольства и союзы,* отвращены хитрые умыслы некоторых держав против нашего отечества...» (8. 606. Курсив мой. — *Ю. С.*).

Осознание новизны культурной ситуации, сложившейся в России в результате реформ Петра I, многообразно отразилось в поэтическом творчестве и научных трудах Ломоносова. И почти всегда рассмотрение конкретных проблем вписывается в общие контуры его исторической концепции. Вот как, например, раскрывает Ломоносов значение послепетровского этапа для судеб отечественного языка в набросках, сопровождающих его работу над пособием по грамматике. Одну из намеченных им историко-лингвистических разработок — «О злоупотреблении и введении иностранных слов» — Ломоносов сопроводил примечанием: «Писать присовокупление о переводах» (7. 622). Заготовительные наброски задуманной статьи «О переводах» сохранились. В конце этих набросков есть обобщающее, очень важное по смыслу, примечание: «Ныне принимать чужих не должно, чтобы не упасть в варварство, как латинскому. Прежде прием чужих полезен, теперь вреден» (7. 768). Речь идет о допустимом пределе пополнения русского языка иноязычной фразеологией. Но сама постановка вопроса Ломоносовым заставляет еще раз убедиться в том, как остро чувствовал он историческое значение и качественно новый уровень тех задач, которые были поставлены перед русской культурой XVIII веком, и еще, как в решении этих задач Ломоносов ищет и находит ориентиры, позволяющие ему осмыслить место и роль «новой» России в контексте общеевропейской истории. Что означали отсылка Ломоносова к примеру латинского языка и его предостережения против избыточности в насыщении современного ему русского языка иноязычными нововведениями? Почему следовало опасаться, чтобы русский язык не «упал в варварство, как латинский», когда, казалось бы, европейское просвещение достигло пределов России? Ответы на эти вопросы находим в исторических трудах Ломоносова.

Вызванный результатами петровских преобразований рост национального самосознания повлек за собой резкое обострение интереса к истории, к прошлому России. Это обстоятельство уже отмечалось исторической наукой.[18] Как справедливо заметил С. Л. Пештич в статье «О новом периоде в русской историографии и о так называемых официальных петровских летописцах», «В конце XVII—начале XVIII в. в условиях петровских преобразований и Северной войны исторические знания приобретали осо-

бое значение в общественной жизни России. Они обслуживали интересы дипломатии и военного дела, законодательства и публицистики ⟨...⟩ ни один важный государственный законодательный акт в ту пору не обходился без соответствующего исторического обоснования».[19] Именно в Петровскую эпоху создается целая серия исторических трудов, посвященных всестороннему описанию и оценке всего, что было связано с временем царствования Петра I. Сам царь не только активно поощрял эти занятия, но нередко принимал в них участие.

В этот же период закладываются основы отечественной историографии Нового времени. У истоков этого процесса стоит «История российская» В. Н. Татищева, плод многолетних разысканий и обследований летописных источников Древней Руси. Интерес к прошлому страны, потребность научного подхода к освещению ранних этапов истории русской государственности диктовались новой ситуацией, в которой оказалась Россия среди европейских государств после Северной войны. Своеобразный политический заказ времени ощущали и сами историки. Тот же В. Н. Татищев, говоря в своем «Предъизвесчении о истории обсчественной и собственно о русской» о необходимости и пользе созданного им труда, прямо связывает это с попытками западных историков исказить истинное освещение событий истории Древней Руси: «И хотя нас европейские историки тем порицают, якобы мы исторей древних не имели и о древности своей не знали для того, что они о том, какие мы истории имеем, неизвестны. ⟨...⟩ Наипаче же нуждна сиа историа не токмо нам, но и всему ученому миру, что чрез нея неприятелей наших, яко польских и других, басни и сусчие лжи, к поношению наших предков вымышленные, обличатся и опровергнутся».[20]

Вот почему общая активизация интереса к историческому прошлому русской нации в этот период привела к стремлению осознать место России во всемирно-историческом процессе. Первые наивные попытки утвердить политический авторитет страны при помощи обнаружения мифического родства правившей на Руси царской династии с потомками римских кесарей имели место еще в XVI веке. Такого рода концепция содержалась в «Книге Степенной царского родословия», принадлежавшей митрополитам Киприану и Макарию и изданной во второй половине XVIII века историком Г.-Ф. Миллером. «Жезлом же прообрази в Руси Самодержавное Царское скифетроправление, иже начася от Рюрика ⟨...⟩ иже прииде из Варяг в Великий Нов Град со двема братома своима и с роды своими, иже бе от племени Прусова, по его же имени Пруская земля именуется; Прус же брат бысть единоначальствующаго на земли Римскаго Кесаря Августа».[21] Эта гипотеза о генеалогическом родстве династии Рюриковичей с потомками Августа получила свое распространение в XVIII веке, в частности, в известном труде историка петровского времени А. И. Ман-

киева «Ядро российской истории», где утверждалось, что Рюрик, Синаус и Трувор, имевшие владения на побережье Балтийского моря, происходили от поколения Пруса, двоюродного брата Кесаря Августа.[22] Версия эта была принята Ф. А. Эминым, сославшимся в своей компилятивной «Российской истории» на труд А. И. Манкиева и на «внешних летописцев».[23] В русле этой тенденции следует рассматривать и фантастические домыслы о «грамоте», якобы данной славянам Александром Македонским. Даже Ф. А. Эмин, сообщивший об этой легенде, высказал сомнение в ее достоверности.[24]

Версия относительно династических связей Рюриковичей с римскими императорами не прошла мимо внимания Ломоносова при работе над «Древней российской историей». Но Ломоносов не счел возможным безоговорочно присоединиться к подобной гипотезе, ограничившись на этот счет сдержанным заключением: «Вероятности отрещись не могу, достоверности не вижу» (6. 216). Однако как историк он понимал важность постановки вопроса о включенности России в контекст общеисторического развития европейской цивилизации. Политические события первой четверти XVIII века вновь подтвердили актуальность проблемы. И Ломоносов предпринял попытку ответить на данный вопрос во «Вступлении» к «Древней российской истории». Правомочность причисления своего народа к числу цивилизованных наций мира он основывает на наблюдении своеобразной поступательной эстафетности выявления их роли в мировом историческом процессе. Точкой отсчета в определении исторической рядоположенности России Ломоносовым избирается античность: «Большая одних древность не отъемлет славы у других, которых имя позже в свете распространилось. Деяния древних греков не помрачают римских, как римские не могут унизить тех, которые по долгом времени приняли начало своея славы. Начинаются народы, когда другие рассыпаются: одного разрушение дает происхождение другому. Не время, но великие дела приносят преимущество» (6. 170).

Ломоносов утверждает идею преемственности исторического развития наций. В контексте этой преемственности он и стремится осмыслить значение ранних этапов истории русского государства.[25] Россия позже других стран вступила во всемирно-исторический процесс развития. Но это не отменяет ее права и способности внести свой вклад в этот процесс. Современником «великих дел» и ощущает себя Ломоносов, рассматривая предшествующую историю России в перспективе движения к ее нынешнему состоянию. В том же «Вступлении» Ломоносов проводит остроумную параллель, подтверждающую, по его мнению, «некоторое общее подобие в порядке деяний российских с римскими». Так, он считает «владение первых королей соответствующим числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей Российских; гражданское в Риме правление подобно разделению

нашему на разные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей Московских» (6. 170—171). Эту стройную картину «параллельного» движения форм политической власти в истории двух государств (Римского и Российского) Ломоносов сопровождает многозначительным комментарием: «Одно примечаю несходство, что Римское государство гражданским владением возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как сначала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась» (там же). Нетрудно заметить в последней фразе своеобразное предвосхищение исторической концепции Н. М. Карамзина. Но мне сейчас хотелось бы обратить внимание на другое.

Исследователи исторических взглядов Ломоносова единодушно оценивали процитированный фрагмент как свидетельство подтверждения монархических симпатий историка. И в этом есть свой резон. Но не менее важно рассматривать высказанную Ломоносовым параллель в контексте его размышлений о судьбах языковой культуры, на которые мы обращали внимание выше. Всемирно-историческое значение античной цивилизации не отменяло в глазах Ломоносова ее исторической завершенности. Судьбу Древнего Рима разделил и его язык, легший в основу языков европейских наций Нового времени, но тем не менее сохранившийся только в памятниках литературы. Ломоносов сознает великие заслуги греческих и римских авторов перед историей. «Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами, ибо хотя их владения разрушились и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев...» («Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (1757) (7. 592). Высочайший уровень развития литературы в Древней Греции и Риме стал, по его мнению, залогом сохранения в памяти человечества событий истории этих народов. Это убеждение легло в основу и его собственного понимания функции поэзии и исторической науки, как мы уже показывали выше.

Но одновременно с признанием непреходящих заслуг античных авторов Ломоносов ощущает себя представителем своего времени, своей страны. Он осознает себя сыном нации, которая не только сохранила свой язык, свою культуру, но и, несмотря на имевшийся за плечами многовековой опыт тяжелейших испытаний, оставалась полной энергии и динамизма, переживая в XVIII веке период своего исторического подъема. Именно здесь кроется объяснение той разноречивости в оценках национального прошлого, какую мы наблюдали в произведениях Ломоносова:

признание отсталости России, ввиду отсутствия до XVIII века развития в ней наук, высокой языковой культуры, и одновременно патриотическая гордость за ее величие в прошлом, соравном, по его мнению, типологически с историей Рима. Пример древних в свете переживаемого Россией исторического подъема объясняет предостережения Ломоносова относительно опасности засорения русского языка иноязычной фразеологией, дабы «не упасть в варварство, как латинскому». Приведенные высказывания помогают понять ту важную роль, какую античное наследие вообще занимало в системе научных и эстетических представлений Ломоносова.

Повышенное внимание к античности как эпохе, оставившей образцы героизма, запечатленные в шедеврах выдающихся мастеров, прослеживается на всех этапах творческого пути Ломоносова. Античность представала в его глазах как эталон культурного совершенства, как мера исторического самосознания. И в воспевании героических событий современности Ломоносов нередко прибегает к использованию признанных атрибутов античной культурной традиции, своеобразно русифицируя легендарные сюжеты:

Под инну Трою вновь приступит
Российский храбрый Ахилес,
Продерсский меч врагов притупит,
Хвалой взойдет к верьху небес.
(8. 106–107)

— восклицает Ломоносов в «Оде на день тезоименитства... великого князя Петра Федоровича» (1743). В этом уподоблении русских солдат Ахиллам характерная для историографии времени Ломоносова героизация трактовки хода исторических событий как бы обретает источник своей художественной наполненности. Аналогичную эстетическую функцию выполняет и нередко встречающаяся в поэзии XVIII века оппозиция: Петр I — Александр Македонский. Имя знаменитого греческого полководца, покорителя Азии, связывалось в европейской историографии эпохи Просвещения с вполне определенным комплексом идей. Он олицетворял собой тип монарха-завоевателя, и нередко его ставили в один ряд с Аттилой или Тамерланом. Для Ломоносова обращение к фигуре Александра Македонского вписывалось в его концепцию прославления просветительской политики Петра I, как монарха, чуждого стремлению к военной славе как таковой. Не случайно упоминание Александра Македонского встречается у Ломоносова в произведениях, где речь идет о Северной войне. И фигурой, с которой ассоциируется этот образ, выступает шведский король Карл XII. Так, в стихотворном посвящении «Краткого российского летописца» (1759) цесаревичу Павлу Петровичу Ломоносов напоминает правнуку о подвигах его великого прадеда, создавая контрастную пару: Петр — Карл, причем личность

шведского короля раскрывается через уподобление Александру Македонскому:

Я обращаю взор к вечерним сторонам,
В науках и войнах героев вижу там.
Для малости сих строк я их не исчисляю
И *вместо всех Петра со Карлом представляю.*
Сей шел, как Александр, вселенной потрясти,
Но он победами пресек его пути.
Один нас просветить учениями тщился
Другой в сражениях взять первенство стремился.
(8. 673. Курсив мой. — *Ю. С.*)

Ломоносов следует европейской историографической традиции, которая рассматривала Карла XII как политического авантюриста, чье непомерное честолюбие привело его к бесславному концу. Эту точку зрения разделял, как мы видели, и Вольтер.

В аналогичном идейно-эстетическом контексте упоминание фигуры Александра Македонского мы встречаем в поэме «Петр Великий» (1761). Ломоносов вспоминает монарха-завоевателя после описания взятия крепости Шлиссельбург, противопоставляя ему Петра I, о чем уже шла речь выше в ходе анализа поэмы.

Однако обращение к античному культурному наследию в целях героизации деяний соотечественников, как это видно на примере с образом Александра Македонского, не всегда сопровождалось апологетизацией античности. Пожалуй, даже наоборот. Античный мир присутствует в поэзии Ломоносова как ценностный ряд, обеспечивающий контрастность в утверждении величия тех дел, современником которых ощущает себя Ломоносов:

Хотя б Гомер, стихом парящий,
Что древних Еллин мочь хвалил,
Ахилл в бою как огнь палящий
Искусством чьим описан был,
Моих увидел дней изрядство,
На Пинд найти б нашел препятство;
Бесcловен был его б язык...
(8. 41)

Итак, апелляция к величайшему поэтическому авторитету древности Гомеру содержит оттенок своеобразной соревновательности. Она призвана показать превосходство деяний соотечественников поэта над подвигами легендарных героев «Илиады». Конечно, пассаж, приведенный из «Оды» на день рождения Иоанна Антоновича (1741), следует оценивать в ряду других традиционных риторических приемов, отличающих стиль всякой похвальной оды. Но в нем важно оценить функциональное осмысление Ломоносовым античного наследия как определенного этапа развития человеческой культуры в его противостоянии современности. Историческая преодоленность античной цивилизации рас-

крывается в произведениях Ломоносова через утверждение превосходства этой современности над прошлым. Причем воскрешаемые в его одах легендарные персонажи античной истории и мифологии ценны не сами по себе, а как средство для обеспечения наибольшей эффективности в выражении идеи возросшего национального самосознания. Так, например, в «Оде на прибытие... императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург по коронации» (1742) Ломоносов вспоминает легенду о римском патриции Марке Курции, бросившемся вместе с конем в гигантскую расщелину в центре Рима, чтобы, следуя предсказанию оракула, спасти город и его жителей от гибели. Сообщение о жертвенном поступке римлянина Ломоносов заключает восклицанием:

...Квириты, Марк ваш жив
Во всяком Россе, что без страху
Чрез огнь и рвы течет с размаху.
Всяк мнит, что равен он Алкиду
И что, Немейским львом покрыт
Или ужасную Егиду
Нося, врагов своих страшит...

(8. 90–91)

Легендарные известия, относящиеся к раннему периоду римской истории, органично дополняются атрибутами более древнего мифологического сознания, когда подвиги русских солдат уподобляются подвигам Геракла. Но эта разнопорядковость, по-видимому, мало беспокоит Ломоносова, поскольку в рамках поэтической системы оды все эти уподобления воспринимаются как звенья одного стилистического ряда, обеспечивающего героизацию современности.

Противопоставление Ломоносовым современности античной культурной традиции имеет и еще один аспект. При сознательной идеализации, свойственной стилистическим нормам одической поэзии классицизма, поэзия Ломоносова свободна от полного слияния с мифологизированной стихией античного миросозерцания и погруженности в нее. Так, в зачине той же оды 1742 года после традиционного обращения к Музе и столь же традиционных похвал в адрес признанных корифеев античной поэзии (Пиндара, Горация, Гомера, легендарного Орфея) Ломоносов достаточно смело отказывается признавать за «древней Лирой, вознесенной басньми к верьху мира», право первенства. Мотив получает свое окончательное разрешение в финале оды, где эстетическая несостоятельность древних выводится из их приверженности мифологии. В качестве альтернативы мифам выдвигается непреложность исторических свершений современности:

Еще пленена мысль мутится!
Я слышу стихотворцев шум,
Которых жар не погасится

И будет чтущих двигать ум...
Ко мне возносят скорбный глас:
«О коль ты щастливее нас!
Наш слог исполнен басней лживых.
Твой — сложен из похвал правдивых
На чтобы вымышлять нам ложно
Без вещи имена одне,
Когда бы было нам возможно
Рожденным в Росской быть стране,..

(8. 100. Курсив мой. – *Ю. С.*)

Полемический пафос, сопровождающий восприятие Ломоносовым традиций античности, как раз и призван был воплотить тот подъем национального самосознания, который одухотворял содержание его творчества, будь то героическая поэма или любые другие произведения. Ломоносов всегда остается певцом «новой России», пробужденной Петром I к осознанию своего исторического призвания, что не мешало ему постоянно напоминать соотечественникам о необходимости сохранения в памяти потомков исторических деяний «праотцев наших». Создание традиции национального искусства, а не слепое копирование античных образцов, разрабатывающих мифологические сюжеты, должно, по его мнению, быть руководящим стимулом творческих устремлений русских художников. Эта мысль фактически лежит в основе его знаменитого «Слова ⟨...⟩ на освящение Академии художеств», написанного за год до смерти, в 1764 году, и обращенного к молодым живописцам и скульпторам. И здесь упоминание античности служит прославлению современного состояния России: «О коль великое удивление и удовольствие произвести может Россия помощию художеств в любопытном свете, которой едва уже не до отвращения духа чрез многие веки повторяет древние Греческия и Римския, по большей части баснотворныя деяния» (8. 809).

Примеров, свидетельствующих о верности Ломоносова заявленному тезису, можно приводить без числа, ибо все его творчество было пронизано пафосом утверждения отечественной культуры и сохранения исторической памяти русской нации. На эту тему существует немало серьезных, специальных, капитальных исследований.[26] Каждый факт обращения Ломоносова к древнему периоду русской истории следует рассматривать в контексте задач, выдвинутых современностью. Исторический материал времен Киевской Руси и древнего Новгорода для писателей и художников русского классицизма явился своеобразным эквивалентом античной историко-мифологической традиции.

Для Ломоносова утверждение подобного подхода к историческому прошлому было не только делом творчества, но составляло предмет его научных, теоретических разысканий. По мнению Ломоносова, богатство проявления духовной жизни народов служит залогом возникновения письменных памятников, сохраняющих

известия будущим поколениям о событиях национальной истории. В русских летописях Ломоносов видит подтверждение этому: «Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежеств не было, какую представляют многие внешние писатели» (6. 170), — читаем мы во «Вступлении» к «Древней Российской истории». И далее, после приводившегося выше высказывания о своеобразной эстафетности поступательного движения мировой истории, Ломоносов устанавливает перспективу для понимания места молодой, но имевшей свой период древности русской культуры: «Посему всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет, но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности» (там же).

Итак, «недостаток в искусстве», отсутствие в Древней Руси литературы, соравной по своему уровню с той, какая была создана знаменитыми авторами Древней Греции и Рима, отражают, по мнению Ломоносова, относительную молодость русской нации, всемирно-историческое значение которой еще не раскрылось. Оно должно, по его мысли, проявиться в полной мере в будущем, когда обозначатся во всей силе плоды петровских преобразований. В отстаивании этой идеи грядущего славного будущего России и был заключен пафос исторической концепции Ломоносова всякий раз, когда он касался этой темы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Международные связи России в XVII—XVIII вв. (Экономика, политика и культура). Сб. статей. М., 1966.

[2] *Кедров С.* Русь Петра Великого за границею // Рус. архив. 1903. № 5, 11; 1904. № 6; 1905. № 3; 1906. № 4; 1907. № 6—7.

[3] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 6. С. 91. Далее все ссылки на сочинения Ломоносова следуют по этому изданию с указанием тома и страниц в тексте главы. Курсив мой. — *Ю. С.*

[4] Œuvres completes de Voltaire. Tome 23. Histoire de Charles XII. <Paris>, 1785. P. 7. (Пер. с франц.).

[5] Позиция Вольтера в оценке Петра I и его работа над «Историей Карла XII...» достаточно полно освещены в новейшей монографии С. А. Мезина «Взгляд из Европы. Французские авторы XVIII века о Петре I». Саратов, 2003. С. 75—88.

[6] Œuvres completes de Voltaire. Histoire de Charles XII... P. 181—182.

[7] Ibid. P. 48—49.

[8] Ibid. P. 50.

[9] *Вольтер.* История царствования Людовика XIV и Людовика XV, королей французских... М., 1809. Ч. 3. С. 48, 53.

[10] Обстоятельства работы Вольтера над «Историей Российской империи при Петре Великом» детально освещены в широкоизвестных иссле-

дованиях: *Шмурло Е. Ф.* 1) Петр Великий в оценке современников и потомства // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1911. № 11–12; 1912. № 5–6; 2) Вольтер и его книга о Петре Великом. Прага, 1929; а также: *Мезин С. А.* Взгляд из Европы. Французские авторы XVIII века о Петре I.

[11] Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие. СПб., 1757. Т. 1. С. 224.

[12] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех сочинений в стихах и прозе... М., 1787. Ч. 2. С. 248.

[13] Там же. С. 161.

[14] *Тредиаковский В. К.* Тилемахида. СПб., 1766. С. 7.

[15] Œuvres completes de Voltaire. Tome 24. Histoire de l Empire de Russie sous Pierre le Grand. 1784. P. 173.

[16] *Татищев В. Н.* История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 82.

[17] При всей гипотетичности теории этнического родства роксолан со славянами большинство историков Новейшего времени — Д. И. Иловайский, М. И. Артамонов, В. В. Мавродин, М. Н. Тихомиров, С. П. Толстов и др. приняли точку зрения Ломоносова о роксоланском происхождении термина «русь» или «рось». См. об этом: *Мартысевич И. Д.* Вопросы государства и права в трудах М. В. Ломоносова. М., 1961. С. 49–66.

[18] Обзор русской и западноевропейской историографии содержится в капитальных исследованиях М. А. Алпатова «Русская историческая мысль и Западная Европа» (XVII—первая четверть XVIII в.). М., 1976; «Русская историческая мысль и Западная Европа» (XVIII—первая половина XIX в.). М., 1985; а также в цикле монографий С. Л. Пештича «Русская историография XVIII века». Ч. 1. Л., 1961; Ч. 2. Л., 1965.

[19] Труды Отдела др. рус. литературы. М.; Л., 1960. Т. 16. С. 317.

[20] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 1. С. 81.

[21] Книга Степенная царского родословия, содержащая историю Российскую с начала оныя до времен... Иоанна Васильевича... М., 1775. Ч. 1. С. 7.

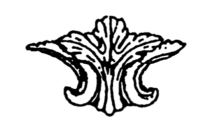
[22] *Манкиев А. И.* Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом Андреем Яковлевичем Хилковым. М., 1770. С. 22.

[23] *Эмин Ф. А.* Российская история жизни всех древних от самого начала России государей... СПб., 1767. С. 65–66.

[24] Там же. С. 26–27.

[25] Детальное рассмотрение этой проблемы см. в статье: *Белявский М. Т.* Ломоносов и русская история // Вопросы истории. 1961. № 11. С. 91–106.

[26] См.: *Моисеева Г. Н.* М. В. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971; также статью: *Бомштейн Г. Н.* Из наблюдений над историческими экскурсами в поэзии М. В. Ломоносова // О литературе (сб. статей). Пермь, 1966. С. 69–102.



Глава III

РЕАБИЛИТАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОШЛОГО В ЛИТЕРАТУРЕ И ЖУРНАЛИСТИКЕ 1760–1770-х ГОДОВ

(А. П. Сумароков, Н. И. Новиков)

К середине XVIII века отчетливо обозначились основные итоги европеизации русской культуры. Цели, которые в начале столетия ставил перед собой Петр I, были во многом достигнуты. Страна стала другой. Теократическая система государственной идеологии уступила место имперским формам общественного самосознания. Духовное бытие русской нации наполнилось новым светским содержанием, несшим в себе элементы приобщенности к нормам европейской культуры. Процесс этот протекал многообразно. Но особенно показательными были изменения в эстетической сфере культурного сознания.

В развитии отечественной культуры первой половины XVIII века, подготовившем постепенное утверждение в искусстве постулатов классицизма, преобладали инновационные тенденции. Рост национального самосознания измерялся степенью приобщения России к нормам европейской культуры. «Северный Расин», «наших стран Мальгерб», «наперсник Буало», «российский Лафонтен» — в подобных оценках собственных писателей русские авторы XVIII века утверждали достигнутый, как им казалось, культурный паритет. В этом растянувшемся на десятилетия становлении «новой Европии» превалирующей тенденцией оставались накопление и усвоение новых форм культурного бытия. Образование театров, появление разных органов периодической печати, создание широкой сети светских учебных заведений, вплоть до открытия в 1755 году в Москве университета, учреждение Академии наук и позднее Академии художеств, наконец, строительство Петербурга — новой северной столицы, призванной символизировать отныне европейский уровень российского менталитета, — все эти факторы знаменовали собой разрыв с прежним укладом жизни Московской Руси, отодвигая, казалось бы, в невозвратное прошлое все, что было связано с традициями национальной истории.

Однако в ходе осмысления наметившихся в начале столетия перемен начинают высвечиваться и другие аспекты последствий Петровских реформ. Появляются первые симптомы отрезвления от всепоглощающей новизны.

Европеизация затронула в основном жизненный уклад правящего сословия русского общества. Подавляющей части населения страны, которую составляло крестьянство, этот «цивилизационный» процесс не коснулся. Мало того, крестьяне нередко начинали смотреть на своих европеизированных господ как на чужеземцев. Стремление некоторой части дворян жить по нормам европейской (преимущественно французской) моды принимало порой такие уродливые формы, что утрачивались всякие представления о здравом смысле и среде обитания этих новоявленных «парижанцев». Образцы порожденного модой нелепого поведения дворян великолепно были запечатлены в сатирах и комедиях 1750—1760-х годов. Эта оборотная сторона «европеизации» нравов русского общества обнаружилась по мере углубления процессов, начало которым положили преобразования первой четверти XVIII века. Приобщение к подлинным богатствам европейской культуры в целом не прекращалось. Но на уровне бытового поведения слепое поклонение всему иностранному приводило порой к забвению родного языка, поношению веры и обычаев предков и просто к нравственной деградации. Вот почему проблема «древней» и «новой» России на рубеже 1760-х годов вновь обретает свою актуальность в духовных исканиях лидеров дворянской культуры, но уже основываясь на качественно иных идеологических установках, чем ранее.

Факторы, определившие актуализацию интереса к духовным ценностям допетровской Руси во второй половине XVIII века, были многообразны. Прежде всего, обращение к прошлому являлось естественным итогом обретения русскими нового исторического самосознания. Последнее выражалось в закономерной потребности осознать свое место в общем цивилизационном процессе, который переживал европейский мир и частью которого после реформ Петра I Россия становится не только в географическом смысле, но и по своим духовным устремлениям.

Сближение России с европейским миром предопределило и обостренный интерес к ней со стороны представителей интеллектуальной элиты других стран. В Европе появляются книги, посвященные России, в которых содержались оценки ее политического и экономического состояния, нравов ее жителей, истории. Особенно много материалов было посвящено Петру I и его реформам. Не все содержавшиеся в таких сочинениях сведения были объективны. Помимо домыслов и натяжек, проистекавших от элементарной неосведомленности, отдельные сообщения были проникнуты явной тенденциозностью. Культура и образ жизни россиян оценивались некоторыми европейцами зачастую только под одним углом зрения — по степени соответствия их нормам жиз-

ни, принятым в Европе. Причем этим нормам придавался умозрительный статус некоего эталона просвещенности. Доходило до отказа другим в способности адекватно воспринимать окружающий мир. В знаменитом трактате Ш. Монтескье «О духе законов» (кн. XIV, гл. II «Сколь люди различаются в различных климатах») есть любопытное высказывание о якобы бесчувственности русских: «...очевидно, что крупные тела и грубые нервы северных народов менее способны к беспокойству, чем нежные нервы народов южных стран ⟨...⟩. Надо содрать кожу с Московита, чтобы обнаружить у него чувство».[1] Среди всех северных народов в качестве примера подобной нечувствительности Монтескье посчитал возможным указать именно на русских. И это не было случайным для представителя Франции, никогда, кстати, не бывавшего в России. Ниже нам еще не раз придется обращаться к идеям этого выдающегося мыслителя своего времени. Пока же данным примером хотелось продемонстрировать тот уровень представлений о России, который был довольно распространен в Европе. Потребность разрушить подобные представления также в известной мере объясняет повышение внимания русской общественности к своему национальному прошлому, к обычаям своих предков, тем жизненным устоям, которые, казалось бы, были навсегда отменены реформами Петра I.

К этим факторам следует добавить общее повышение интереса в России к историческому прошлому, причем не только к отечественному. В 1760-е годы публикуются переводы капитальных трудов европейских историков (Ш. Роллена, Д. Юма, Ж.-Б. Кревье, П.-Ж. Солиньяка, Л. Гольберга), посвященных истории Древнего Рима, Англии, Польши, Дании. Несомненным толчком для активизации российской историографии в 1760-е годы стал выход во Франции труда Вольтера, о котором уже шла речь в предыдущей главе «История Российской империи при Петре Великом». Концепция, положенная в основу этого труда, не удовлетворила официальные власти России. И несмотря на то что он был переведен на русский язык Ф. А. Эминым уже в 1766 году, перевод так и не был опубликован. Зато тогда же выходит «Древняя Российская история» (СПб.,1766) М. В. Ломоносова и вторым изданием его же «Краткий российский летописец с родословием» (СПб., 1767). Начинает печататься «История Российская» В. Н. Татищева (М., 1768. Кн. 1. Ч. 1). Выходит обстоятельный труд П. И. Рычкова «Опыт Казанской истории древних и средних времен» (СПб.,1767). Как бы продолжая исторические разыскания Ломоносова, Ф. А. Эмин выпускает первые три тома задуманного обширного сочинения «Российская история жизни всех древних от самого начала России государей...» (СПб., 1767—1769).

Целенаправленно и методично изучают историю России академики-иностранцы, в основном немцы, работавшие в Петербургской Академии наук с самого ее основания. В трудах Г.З. Байера,

Г. Ф. Миллера, Ф. Г. Штрубе де Пирмона, приехавшего несколько позднее А. Л. Шлецера, посвященных исследованию российского прошлого, был выдвинут ряд проблем, ставших ключевыми в процессе становления молодой русской историографии (в частности, «варяжский вопрос», поднятый Байером еще в 1735 году, проблема роли Новгорода в зарождении русской государственности, поставленная Миллером в 1750-е годы; вопрос о Несторе как зачинателе традиции русского летописания, легший в основу источниковедческой концепции Шлецера, правда уже после его отъезда из России в конце 1760-х годов). Огромную роль в пробуждении интереса к отечественному прошлому сыграли многочисленные публикации статей Миллера в академическом журнале «Ежемесячные сочинения». Он же был редактором выходившего в Петербурге на немецком языке в 1730—1760-е годы журнала «Sammlung russischer Geschichte». Не без участия Миллера в Москве на исходе 1760-х годов предпринимается целая серия публикаций памятников древнего периода истории Московской Руси, в частности «Судебника Ивана Грозного» с примечаниями В. Н. Татищева (1768), «Книги степенной царского родословия» (1775). Именно благодаря Миллеру удалось осуществить издание «Истории Российской» Татищева, долгие годы остававшейся в рукописи. В то же время под эгидой Петербургской Академии наук начинают выпускаться тома «Русской летописи» по Никоновскому списку.

В свое время В. О. Ключевский в «Лекциях по русской историографии» тонко подметил качественную разницу в понимании задач исторической науки, какая существовала в XVIII веке между русскими историками и трудившимися в России историками-иностранцами. Труды отечественных ученых были отмечены осознанной идеологической направленностью, неким прагматизмом в осмыслении фактов. Наоборот, иностранные академики сосредоточивали свое внимание на критике источников, на анализе сравнительной ценности их содержания.[2] Такое положение было вполне естественно, поскольку для русских исследователей занятие собственной историей не только отвечало их духовным потребностям, но и служило созданию некоей целостной концепции развития российской государственности. Историческая наука в России XVIII века в лице того же В. Н. Татищева, уже осознав необходимость критики источников, еще не выработала всеобъемлющих приемов палеографической выверки фактов. Только на исходе столетия указанный разрыв устраняется в трудах И. Н. Болтина, в его известных «Критических примечаниях...» на сочинение французского историка Н.-Г. Леклерка «История древней и новой России», о чем ниже мы еще будем говорить.

«История становится наукой с того момента, когда рационалистическая теория исторического процесса соединяется с историческим источником. Такое соединение и составило заслугу В. Н. Татищева».[3] Деятельность его на этом пути продолжил Ломоносов в

аспекте скрытого противостояния концепционным установкам Вольтера.

Таковы в общих чертах факторы, предопределявшие повышение интереса к отечественному прошлому в контексте начавшегося переосмысления итогов «европеизации». В литературе процесс поиска исконных начал своей духовности протекал стихийно, в причудливом сочетании почерпнутых из исторических источников сведений о собственной древности с новейшими формами художественного осмысления истории, привнесенными традициями той же европейской культуры. Яркий пример такого сочетания мы видим в драматургии А. П. Сумарокова, заложившего своими трагедиями и комедиями основы отечественного репертуара русской сцены. Именно этому драматургу, с его подчеркнутым тяготением к французскому театру, принадлежала главная заслуга приобщения русских людей к нормам европейской театральной культуры, открытия соотечественникам драматургической системы Расина и Вольтера, в чем он сам неоднократно признавался. И в то же время именно Сумароков своими пьесами создавал предпосылки для роста национального самосознания. Под его пером становление новой русской драматургии в жанре трагедии на базе перенесения на национальную почву постулатов европейского классицизма началось с разработки сюжетов, почерпнутых из отечественной истории, преимущественно самого ее древнего периода, связанного с легендарными событиями становления российской государственности. Благодаря Сумарокову, эпоха Киевской Руси и древнего Новгорода стала для адептов классицизма в России XVIII века своеобразным эквивалентом античности.

Конечно же, ни о каком историзме как принципе художественного постижения отечественного прошлого в трагедиях Сумарокова не приходится говорить. Важно другое. Пьесы Сумарокова свидетельствовали о наличии этого прошлого, моделируя в сознании современников драматурга легендарную атмосферу Древней Руси. Нравственные коллизии, составлявшие содержание его трагедий, были порождены идеологическим контекстом, совершенно чуждым тем суровым временам, в которые были помещены персонажи сумароковских пьес. Трудно предположить, например, существование у древних русичей-язычников столь утонченных норм любовного обхождения, которое демонстрируют герои трагедий Сумарокова. Все это плоды усвоения уроков Расина. О явном внеисторизме представлений драматурга о прошлом можно судить по отдельным деталям, проскальзывающим в действиях персонажей, воплощающих образы древнекиевской знати. Чего стоит восклицание Оснельды в 5-м явлении второго действия трагедии «Хорев», узнающей о выступлении ее возлюбленного в поход против ее отца:

Хорев в ружье! О льстец!

Или появление Олега с бумагой в руках в 10-м явлении второго действия в трагедии «Семира». Конечно же, ни о каких «ружьях», ни о какой «бумаге» применительно к IX веку, — эпохе, в которую были помещены персонажи первых трагедий Сумарокова, говорить не приходится. Но зрители вряд ли замечали эти несообразности. Для них было важно погружение в собственное национальное прошлое как таковое. Это прошлое согласовывалось с известиями, содержавшимися в «Синопсисах» и летописях. В трагедиях Сумарокова действовали древние правители Руси, основатели династических фамилий. И они также были одолеваемы страстями, также страдали от невозможности обретения счастья и гибли, не в силах пережить свои страдания, перед неумолимостью законов нравственного или сословного долга. Зритель XVIII века верил тому, что происходило на сцене. О том, что нравственные коллизии сюжетов, как и понятия права личности, гуманизма власти, перешли в трагедии Сумарокова из репертуара европейских театров, зритель вряд ли задумывался. Но он видел на сцене своих предков, а не Андромаху с Пирром, не Агамемнона и не Клитемнестру. И это было главное. Нить исторической памяти не прерывалась. И хотя об истинности постижения духа древних времен в его пьесах можно говорить лишь условно, но стремление Сумарокова видеть героические характеры именно в отечественном прошлом полностью отвечало общей атмосфере роста национального самосознания, которая установилась с восшествием на всероссийский престол Елизаветы Петровны. Прошлое вновь служило настоящему. Легендарная древность включалась в процесс мифологизации преображенной России.

Вот почему, несмотря на условный древнерусский колорит, который стремился выдержать Сумароков в своих трагедиях, проблематика их не столько отражала психологию сознания людей прошлого, сколько закрепляла идеологические реалии современной автору действительности. В сущности, в трагедиях Сумарокова апробировались ключевые постулаты концепции просвещенного абсолютизма и на переднем плане стояла проблема долга монарха перед подданными. Насыщенность текста пьес Сумарокова политическими аллюзиями сообщала их действию открыто публицистическое звучание. И всему этому придавалось своеобразное историческое обоснование. Представление на сцене далеких предков — князей и вельмож Киевской Руси — призвано было подтвердить в глазах современников драматурга исконность утверждаемых в пьесах норм нравственного поведения. На этой почве мифологические легенды обретали значение традиций, знаменовавших естественную принадлежность России к семье европейских государств, имеющих общие цивилизационные корни. Характерна в этом отношении реплика одного из ведущих персонажей трагедии «Синав и Трувор», отца главной героини, Госто-

мысла. В самом начале пьесы он извещает дочь о своем решении видеть ее замужем за Синавом:

Пришло желанное, Ильмена, мною время
Соединить тобой мое с Цесарским племя.[4]

Сумароков следует здесь фактически легендарной версии XVI века о мифическом родстве великокняжеской династии Рюриковичей с потомками римских кесарей. Эта версия, вписывающаяся в контекст легенды о призвании на Русь варяжских князей, содержалась в «Книге Степенной Царского родословия» митрополитов Киприана и Макария, изданной в XVIII веке историком Г.-Ф. Миллером, с которым Сумароков был хорошо знаком. Версия перешла в труд историка петровского времени А. И. Манкиева «Ядро российской истории», где, например, утверждалось, что Рюрик, Синеус и Трувор, имевшие владения свои «по берегу моря Балтийского», происходили от поколения некоего Пруса, двоюродного брата кесаря Августа.[5] Гораздо сдержаннее, правда, эта версия сообщается в «Синопсисе, или Кратком описании о начале словенского народа» Иннокентия Гизеля, служившем для Сумарокова в период создания первых трагедий основным историческим источником. Там эпизод о приглашении в Новгород Рюрика с братьями сопровождается кратким указанием, что они пришли «от немец». Но и в этой скупой отсылке драматург находит основание для установления мифических корней дома Рюрика, возведя его предков к потомкам рода Августа. Так, декларируется исконность связей Древней Руси с Европой, что в условиях XVIII столетия имело принципиальное значение. Цивилизационные процессы, обозначившие включенность «новой» России в европейский мир, оказывались предобусловлены самой древностью.

Положение несколько меняется в конце 1760-х годов, когда Сумароков обращается к написанию трагедии «Димитрий Самозванец». Среди всех остальных трагедий она была единственная, в основу которой положено реальное историческое событие — краткий период пребывания на российском престоле политического авантюриста Григория Отрепьева, польского ставленника, объявившего себя сыном Ивана Грозного Димитрием. В июне 1605 года он утвердился в Москве, войдя в историю под именем Лжедимитрия I; но уже в мае 1606 года в результате восстания москвичей, во главе которых стоял Василий Шуйский, Самозванец был свергнут и убит разъяренной толпой. Сумароков обратился к этому сюжету, увидев в истории Самозванца благодатный материал для воплощения на сцене судьбы тирана. При работе над трагедией Сумароков использовал многочисленные исторические источники, в частности анонимную рукописную «Повесть како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов...» (1606), а также материалы, которые предоставили в его

распоряжение академик Г.-Ф. Миллер и князь М. М. Щербатов, готовивший в эти годы «Летопись о многих мятежах и о разорении Московского государства от внутренних и внешних неприятностей...» (СПб.,1771). Не исключено, что в поле зрения драматурга могло быть необычайно популярное в XVII веке сочинение келаря Троице-Сергиева монастыря Авраамия Палицына «Сказание, или История в память предыдущим родам» (1620), более известное под названием «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря», а также мемуары Ж. Маржере, французского капитана, служившего в России в период правления Бориса Годунова и при Самозванце: «Состояние Российской империи и великого княжества Московии» (Париж, 1607), позднее переиздававшегося.

Использование названных источников не помешало Сумарокову весьма вольно обращаться с историческими фактами и наполнить свою трагедию несуществовавшими на деле лицами. Вряд ли Сумароков не знал из источников о подлинных обстоятельствах смерти Самозванца, но в финале трагедии он обставляет его гибель явно надуманными деталями, следуя выработанному им же канону: Лжедимитрий поражает себя кинжалом со словами: «Ах если бы со мной погибла вся вселенна!», — т. е. как тиран.

История и современность оказываются в данной трагедии вновь неразрывно слиты. В контексте обстоятельств вступления на престол Екатерины II обращение к теме узурпаторства представлялось не просто актуальным, но в чем-то и небезопасным. Кроме того, выбор именно данного эпизода из истории России был отчасти подсказан Сумарокову происходившими в Польше событиями. В 1768 году там формируется оппозиционная королю Станиславу Понятовскому (а тем самым и России) Барская конфедерация. Антирусские выступления в Польше резко усилились. В переписке Сумарокова, а также в его сочинениях проскальзывают свидетельства обостренного внимания драматурга к польской теме. Кстати, конечным итогом игр Барской конфедерации стал первый раздел Польши, на который была вынуждена пойти Россия, не без давления со стороны Пруссии и Австрии, в 1772 году.

Создавая «Димитрия Самозванца» Сумароков как бы возвращался к истокам исторических споров между Польшей и Россией. История вновь, в полном соответствии с традициями просветительской историографии, предстает источником уроков. Так же как и в трагедиях раннего периода, верность духу изображаемой исторической эпохи мало волнует драматурга. Сама гротесковость образа Самозванца, немотивированность поведения отдельных персонажей вытекали из дидактических установок, принятых Сумароковым в пьесе. История не раскрывается в самовыявлении характеров, но служит материалом для декларирования важных автору идей. Так, например, в ответ на реплики Лжедимитрия (3-е действие, V явление) о правомочности монарха «му-

чить народ» князь Георгий разражается тирадой о благодетельности для России самодержавной формы правления:

Самодержавие — России лучша доля,
Мне думается, где самодержавства нет,
Что любочестие теснимо там падет.
....
Правленья таковы совсем России новы,
Коль нет монарха в ней, власть — тяжкие оковы.
Несчастна ты страна, где множество вельмож.
Молчит там истина, владычествует ложь.[6]

Содержательным контекстом эта тирада никак не обусловлена. Но она вписывается в общий историософский подтекст трагедии. Ведь Самозванец тоже по-своему мечтает «европеизировать» Россию, намереваясь утвердить в ней власть поляков и распространить католическое вероисповедание. Свое презрение к народу страны он не находит даже нужным скрывать:

Здесь царствуя, я тем себя увеселяю,
Что россам ссылку, казнь и смерть определяю.
Сыны отечества — поляки будут здесь:
Отдам под иго им народ российский весь.[7]

Ответом на подобные речи служит реплика Пармена, персонажа, выполняющего роль резонера и нередко выражающего позицию самого автора:

Во треволненное вдаешься, царь, ты море,
А тщася учредить Москве и россам горе,
Готовишь ты себе несчастливый конец;
Колеблется твой трон, с главы падет венец.[8]

В этих словах уже предвосхищен финал трагедии.

Перед нами фактически одна из граней политической программы Сумарокова, составляющей основу проблематики трагедии, в которой исторический опыт прошлого включается в осмысление событий современности. Осознание самобытности исторического пути России, несоотносимости ее опыта с политическими формами правления, принятыми в других странах, в частности в Польше, выдвигает на первый план вопрос о собственных духовных ценностях как гарантии культурной самодостаточности русской нации. Так вырисовывается новый ракурс решения проблемы «европеизации» России.

Здесь сыграло свою роль прямое обращение Сумарокова к систематическим разысканиям относительно истории Московской Руси. Во время посещения Москвы в 1767 году по делам наследства Сумароков обращается к Миллеру, ставшему тогда директором Московского архива иностранных дел, с просьбой предоставить ему для ознакомления документы начала XVII века, касаю-

щиеся «Смутного времени». Уже после окончательного переезда в Москву в 1769 году драматург буквально засыпает Миллера просьбами о присылке ему «журналов» начала XVII века (разрядных книг дворцового приказа), проявляя особый интерес к событиям, связанным с установлением династии Романовых. Симптоматична приписка к письму от 2 апреля 1769 года, содержавшему все те же просьбы: «Сейчас я завален домашними делами; но это не может погасить жара к древностям моего отечества».[9] Из переписки Сумарокова с историком становится известно об интересе его к упоминавшемуся выше сочинению Ж. Маржере «Состояние Российской империи и Великого княжества Московского». Вообще, знакомство Сумарокова с кругом иностранных источников, посвященных России, можно считать решающим фактором той эволюции во взглядах на отечественное прошлое, которую драматург пережил в конце 1760-х годов.

К этому времени Сумароков был уже знаком с сочинением Ш. Монтескье «О духе законов», о чем можно судить по его замечаниям на «Наказ» Екатерины II, сделанным им летом 1766 года. Текст «Наказа» для апробации Сумарокову и другим приближенным двора передал граф Г. Г. Орлов. Екатерина внимательно ознакомилась с замечаниями Сумарокова и сопроводила их едкими комментариями. Этот заочный диалог императрицы-законодательницы с прославленным драматургом представляет самостоятельный интерес. Пока обратим внимание на то, как в сумароковских замечаниях отмеченный выше процесс корректировки европейских ценностей переходит в отстаивание отечественных традиций.

Сумароков, по-видимому, уловил прямую зависимость «Наказа» от трактата Монтескье. В переписке с Д'Аламбером летом 1765 года, сообщая о ходе работы над документом, императрица признавалась, что «на пользу моей империи обобрала президента Монтескье, не называя его».[10] Основные идеи «Наказа» и большинство выдвигаемых в нем положений действительно были заимствованы у Монтескье, и Сумароков обнажает эту несамостоятельность. Главная его претензия к «Наказу» — отрыв Екатерининского проекта от жизни, подмена требований здравого смысла отвлеченными теоретическими постулатами, взятыми из сочинений европейских авторов. Сумароков фактически требует от императрицы трезвого подхода к пониманию основания законов. Вместо придания обычаям и нравам функций регулятора законотворчества, как это было у Монтескье, он исходит из признания приоритета государственности. Не случайно в замечаниях на вступительную часть «Наказа», раскрывающую его правовую базу, Сумароков оставляет только три опорных пункта юридической нормативности вместо предложенных восьми, ставя на третье место «монаршую волю, на истине основанную».

Характерной была реакция Сумарокова на положения VII главы, в которой утверждалась идея терпимости судей и умеренности правосудия. Вот мнение, которое драматург считает нужным довести по этому поводу до автора «Наказа»: «Умеренности правосудие не терпит, а требует надлежащей меры, а не строгости и не кротости».[11] Екатерина раздраженно прореагировала на это замечание: «Изображение (т. е. воображение. — *Ю. С.*) в поэте работает, а связи в мыслях понять ему тяжело».[12] В сущности, аналогичным было и итоговое заключение императрицы по поводу сумароковских высказываний о «Наказе»: «Господин Сумароков хороший поэт, но связи довольной в мыслях не имеет».[13]

Эти намеки на отсутствие у оппонента «связи в мыслях» призваны были создать впечатление о поверхностности критики Сумарокова. Его повышенная эмоциональность якобы не позволяла ему охватить величие замысла «Наказа» во всем его богатстве, превращая критику в мелочные придирки. Такими пыталась представить замечания драматурга императрица. Но как раз, несмотря на экспансивность выражений, у Сумарокова в его замечаниях на «Наказ» прослеживается ясное и последовательное понимание того, какими должны быть законы. Наиболее отчетливо это проявилось в замечаниях на главу XVI «О составлении и слоге законов» (в окончательной редакции «Наказа» — гл. XIX). Он не оспаривает центрального тезиса Екатерины, заключенного в пункте 456 главы XIX. «Неопределенными речьми законов писать не должно».[14] Но он требует простоты и ясности, зачастую отсутствовавших в формулировках «Наказа», где на первое место нередко выступало стремление произвести эффект: «Писать ясно потребно, но очень мудрено. А высокопарно писать, хотя и легко, и казисто, но темно, глупо и бесполезно, а особливо в законах, где то и пагубно...».[15] И в качестве эталона слога законов, какому должны следовать современные законотворцы, Сумароков выдвигает язык памятника русской юридической мысли XVII века — Уложения царя Алексея Михайловича 1649 года. Екатерина II тоже ссылалась на слог «Уложения», как на образец ясности, простоты и краткости изложения («...с удовольствием слушаешь, где бывает из оного выписи»).[16] Для Сумарокова достоинство «Уложения» не ограничивается только языковым аспектом. Сила закона должна измеряться «истиной и важностью дела», и склад (т. е. слог) законов должен отражать исконность юридических отношений, им устанавливаемых: «Чужих слов в Уложении царя Алексея Михайловича нет, и склад, где вразумителен, там хорош; так надобно и в составлении законов приближаться к старому нашему складу, ибо он лучше; следовательно, наши предки лучше нас писали...».[17] Достоинства Уложения проистекали как раз из того, чего был лишен «Наказ», весь наполненный «чужими словами», чужими идеями. Этого не было в прошлом, которому теперь Сумароков отдает явное предпочтение. Так возникает новый

ракурс в осмыслении оппозиции «древней» и «новой» России: «...наши предки лучше нас писали». И с годами такое отношение к отечественному историческому прошлому будет у Сумарокова все усиливаться.

Почти параллельно с созданием трагедии «Димитрий Самозванец» Сумароков обращается к историческим разысканиям, касающимся стрелецких бунтов конца XVII века. В 1768 году он публикует очерк «Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве в 1682 году». Сохранилось начало его следующего труда — «Вторый стрелецкий бунт», рукопись которого осталась незавершенной и была опубликована Н. И. Новиковым уже после смерти Сумарокова в его «Полном собрании всех сочинений...» (М., 1781. Ч. VI. С. 221—230). Одной из причин, объясняющих обращение Сумарокова к теме стрелецких бунтов, было то, что в исторических источниках о событиях, предшествовавших мятежам, на каком-то этапе фигурировал представитель рода Сумароковых в контексте, явно уязвлявшем чувство семейной гордости. Кстати, еще Ломоносов в период создания героической поэмы «Петр Великий» также столкнулся с трудностями в освещении событий, связанных с выступлениями стрельцов, поскольку в них оказались замешанными многие знатные боярские и дворянские роды, чьи представители в этот критический период борьбы за власть проявили себя подчас далеко не с лучшей стороны.

Исходя из содержания сочинения Сумарокова, посвященного первому стрелецкому бунту, можно с уверенностью считать, что основным источником сведений об этих событиях служила для него «Записка» Андрея Артамоновича Матвеева («Описание бунта, бывшего в 1682 году»), о которой упоминал В. Н. Татищев в «Предъизвещении» к своей «Истории Российской», первый том которой вышел из печати как раз в 1768 году: «Сильвестр Медведев монах Чудова монастыря и граф Матфеев описали стрелецкой рокош 1682-го, токмо в сказаниях по страстям весьма несогласны, и более противны, потому что графа Матфеева отец в оном стрельцами убит, а Медведев сам тому рокошу участником и тайным с Милославским предводителем был, за что после с Шегловитым кажнен».[18] Вполне объяснимая пристрастность рассказа Матвеева, на которую указывает Татищев, по-видимому, мало смущала Сумарокова. Он не скрывает подчеркнуто сословного подхода к оценке описываемых событий бунта, и в этом его позиция резко отличалась от позиции Ломоносова. Следуя Матвееву, Сумароков постоянно уподобляет стрельцов диким зверям, а движущей пружиной бунта объявляет интриги Милославских, их потакание низменным страстям «черни»: «Имя Нарышкиных у черни, особливо у стрельцов, было приведено ухищрением боярина Ивана Михайловича Милославского в ненависть: ибо всякое в народе огорчение, налоги, насилия ⟨...⟩ все то Нарышкиным приписывалося. Все то было им вымышляемо, что хитрости челове-

ческой при подлой душе свойственно. А потому, что он имел дело с чернью, так и политика на самой простоте основанная была употребляема. Иная проповедь людям просвещенным, иная черни».[19]

Происками Милославских объясняет Сумароков и события, предшествовавшие второму бунту, в которых, согласно источникам, оказались замешаны далекие родственники Сумарокова, представленные в невыгодном для них свете. Эпизод этот относился ко времени начала правления Федора Алексеевича и последовавшего вскоре удаления от двора Нарышкиных. Сумароков рассказывает историю своего двоюродного деда, комнатного стольника Ивана Богданова сына Сумарокова, прозванного Орлом за спасение на охоте царя Алексея Михайловича от медведя. Этот человек стал жертвой доноса «некоего Давыда лекаря царицына», обвинившего Орла в сговоре с Нарышкиными, намеревавшимися якобы убить только что вступившего на престол Федора Алексеевича. «Сия небылица, — замечает Сумароков, — вымышлена на прошедшее время и сказана в настоящее».[20] В целях восстановления истины он и включает этот эпизод в свой рассказ. Царевна Софья сразу после смерти своего брата вспомнила о доносе и, чтобы расправиться с Нарышкиными, велела пытать Ивана Сумарокова, требуя от него подтвердить его справедливость. За это она ему обещала 1000 дворов крестьян, боярство, Вятское наместничество и воеводство. Но тот не согласился подтвердить клевету и умер от пыток. Сумароков в своем рассказе даже указывает место, где был погребен его двоюродный дед: «...в Белом городе между Мясницкою и Покровкою у Николы Столпа, где прежде ⟨была⟩ высокая коланчя для усмотрения татарских набегов».[21]

Ни Ломоносов, ни Матвеев, ни Медведев об этом эпизоде не упоминают. Но зато он содержался в записке Татищева о царствовании Федора Алексеевича среди подготовительных материалов и набросков к его «Истории Российской» под названием «Жизнь царя Федора Алексеевича, описанная г. Татищевым вкратце». Татищев не отрицает, что речь идет о доносе, подстроенном благодаря проискам Милославского. Но, согласно его рассказу, доносчик (имя его Татищевым не названо) «извещал, якобы Нарышкин Иван Кириллович знакомцу своему Самарокову (которому прозвание было Орел) говорил: „Ты де орел, да не промышлен, а есть ныне молодой орленок, надобно бы его подщипать". И оной Самароков якобы сказал: „Если де его не избыть, то де вам пропадать". И притом якобы оной Самароков обещался нечто противо государя предприять. По которому извету немедленно Нарышкины, Матфеев и Самароков взяты под караул. И хотя Самароков так жестоко пытан, что в застенке, ни в чем не винясь, умер, однако ж Нарышкин и Матфеев по разным дальным местам в сылки разосланы...».[22]

Рукопись «записки» Татищева была в 1760-е годы в распоряжении Миллера, сохранившись в составе его «портфелей» (РГАДА, № 53), и Сумароков при жизни Миллера вполне мог ее читать. В рассказе Татищева, как мы видим, отсутствует целый ряд очень существенных деталей об этом деле, а трактовке поведения двоюродного деда писателя в чем-то придается двусмысленный характер. Татищев ничего не говорит о заслугах предка Сумарокова, изображая его просто «знакомцем Нарышкиных». Согласно его версии, доносчик сообщает о готовности Сумарокова «нечто противо государя предприять». Наконец, у Татищева ни словом не упоминается Софья, и соответственно мужество и бескорыстная верность предка Сумарокова законному государю также в рассказе предстают затушеванными.

Можно понять уязвленность чувств Сумарокова и его желание восстановить справедливость. В своем рассказе он, по всей вероятности, основывался на семейных преданиях, и главной его заботой было отстоять честь рода. И это, по-видимому, явилось также одним из стимулов обращения его к историческим событиям конца XVII века.

Передача исторических фактов у Сумарокова отличается необычной эмоциональностью изложения, множеством авторских отступлений, делающих его повествование свидетельством человека XVIII века. Так, например, описывая кровавые последствия буйства стрельцов в результате расправы их над начальником Стрелецкого приказа, Михаилом Юрьевичем Долгоруким, Сумароков разражается бурной тирадой, в которой его сословные пристрастия обнажаются открыто: «Вот начало кровопролития и первое превосходящего зверство жестокосердия исполнение. Прервала чернь узы свои; нет Монаршей власти; скипетр и законы бессильны; властвуют и повелевают рабы; сыны отечества молчат и повинуются. Се мнимое естественное право, что все человеки равны! Благородные люди никогда толпами к варварскому действию не приступают. Рабам принадлежит раболепная покорность; сынам отечества попечение о государстве; Монарху власть; Истинне предписание законов. Вот основание общенародного российского благосостояния».[23]

Подобные постоянные отсылки Сумарокова к современности несут в себе черты скрытой полемики с не называемыми в тексте оппонентами. Полемические выпады буквально пронизывают все повествование, превращая историческое сочинение в публицистическое эссе. Наиболее рельефно эта особенность труда Сумарокова проявляется в развернутых комментариях, которыми он сопровождает характеристику правления царя Федора Алексеевича. С личностью этого царя отечественная историографическая традиция связывала представления об идеале мудрого, гуманного и справедливого правителя, и Сумароков полностью разделяет эту позицию. Но показательно, как похвалы Федору Алексеевичу перерастают у него в гневные инвективы против не называемых по

имени современных подражателей европейским модам и против хулителей отечественного прошлого. Царь Федор Алексеевич, подводит итог Сумароков, «был хранитель правосудия, любитель наук, покровитель бедных, решитель перепутанных тяжеб ⟨...⟩ искоренитель местничества, вместо заслуг отечеству почитающих бесполезное роду человеческому свое родословие, облегчитель народных тягостей и уменьшитель дороговизны».[24] Завершая перечисление заслуг царя указанием на его любовь к красноречию, в украшение которого «цветами, из российского языка рожденными», он внес личный вклад, Сумароков внезапно резко меняет тон, обращаясь к нравам современников: «...ибо тогда язык наш еще не был нашпикован ни немецкими, ни французскими словами, а россияня во дни ево не старалися ни в немцов, ни во французов претвориться, но исправиться, просветиться и быти достойными подлинниками, а не слабыми, смешанными и колеблемыми сообразованиями чужестранцам, собственными своими гнушаяся почтенными качествами».[25] И ниже Сумароков, не сдерживая уже своего темперамента публициста-сатирика, гневно клеймит не называемых авторов исторических сочинений — и русских, и иностранных, утверждавших об отсталости и варварском состоянии России до вступления на трон Петра I: *«Бредят люди, проповедывающие то, что мы до времен Петра Великого варвары, или паче скоты были;* предки наши были не хуже нас: а сей последний Царь в нашей древности (царь Федор Алексеевич. — *Ю. С.*) был достойный брат Петру Великому. И не было другого россиянам превращения, как вопят новомодные невежи, наслышавься от чужестранных, которым они сами о себе такую подлость натолковали, кроме сея, что сии сумасбродныя толкователи превращены стали, ибо они из человеков ненапудренных действительно в напудренную превратилися скотину».[26] И далее Сумароков возвращается к прерванному рассказу о последствиях смерти царя Федора Алексеевича.

Независимо от того, чем были вызваны полемические выпады Сумарокова и кто был их объектом, важно подчеркнуть качественную перемену акцентов в осознании им того уровня духовной зрелости, какой существовал в Московской Руси до царствования Петра I. Сумароков не перестает ощущать отчетливую грань между древним периодом отечественной истории и новым состоянием России, обретенным ею в результате петровских преобразований. Однако от безоговорочного преклонения перед всем, что принесло с собой усвоение европейских нравов, он теперь категорически отказывается: «...предки наши были не хуже нас». Чистота природного языка, независимость от иноземной моды, свобода от жалкого подражания «чужестранцам» — эти качества соотечественников прошлого века теперь выдвигаются Сумароковым как идеальная норма отечественной нравственности. И норму эту он обретает в устоях жизни предков.

Приведенный фрагмент позволяет уловить еще один аспект полемической направленности сочинений Сумарокова о стрелецких бунтах. Говоря о «новомодных невежах», наслышавшихся от чужестранцев басен и глупостей о России, ими же самими сочиненных, Сумароков имеет в виду современных историков, как отечественных, так и иностранных. Выше я уже заметил о вспышке историографической активности, приходившейся в России на конец 1760-х годов. Летом 1767 года литературный противник Сумарокова романист Ф. А. Эмин закончил перевод на русский язык исторического труда Вольтера «История Российской империи при Петре Великом», о котором уже шла речь в предыдущей главе. Перевод, как мы помним, не был опубликован, и тогда же Эмин обратился к созданию собственного исторического труда.

Сумарокову было, по-видимому, известно о том, что материалы для вольтеровского труда готовил в Петербургской академии наук Ломоносов. Но Вольтер использовал не только материалы Ломоносова. Одним из основных источников сведений о России времени царствования Петра I и предшествовавшего столетия, помимо упоминавшейся выше книги Дж. Перри, была для Вольтера вышедшая в Стокгольме в 1730 году на немецком языке книга Ф.-И. Страленберга, посвященная географическому и историческому описанию России, под названием «Das Nord — und Ostliche Theil von Europa und Asia, in so weit solches das gantze Russische Reih mit Sibirien 〈...〉 in einer Historisch-geographisch Beschreibung der alten und neueren Zeiten...». В. Н. Татищев уже в середине 1730-х годов откликнулся на этот труд обширными «Примечаниями», а в 1738 году при его участии были переведены фрагменты труда (1—12 главы) под заглавием «Гисторическое и географическое описание о древнем и новом состоянии полуночно-восточной части Европы и Азии, паче же Империи Российския...».

Именно в книге Страленберга в главе 6 «О государствовании императора Петра Великого», представлявшей особый интерес для Вольтера, содержались утверждения, что до времени правления Петра «Россия даже до сего веку почиталась за варварской, языческой и татаром подобный народ и что оной ни к чему не способен».[27] Подобная оценка частично перешла в сочинение Вольтера. Известно, что Татищев в середине 1720-х годов побывал в Швеции и лично знал Страленберга. Там он занимался историческими разысканиями для основного труда своей жизни «Истории Российской».[28] В известном трактате Татищева «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ», написанном в 1733 году и распространявшемся в списках, среди других вопросов стояла и проблема естественного права как регулятора человеческих отношений на внесословном уровне (вопрос 98). И когда Сумароков, повествуя о бунте стрельцов, яростно ополчается против идеи ес-

тественного равенства, полемический подтекст подобного пассажа очевиден. Таким образом, говоря об объектах выпадов Сумарокова против «сумасбродных толкователей» насчет «превращения» России, можно допустить, что в число таковых входили и Вольтер, и Страленберг, и те из отечественных историков, которые поставляли им материалы о России, рассматривая допетровское время ее истории как время варварства. Татищев вполне мог быть отнесен к этой категории в свете отмеченных выше фактов его связей со Страленбергом.

О том, что труд шведского историка в качестве объекта полемики мог находиться в поле зрения Сумарокова, свидетельствует еще одно сочинение драматурга. Я имею в виду его небольшую заметку-эссе «О происхождении слова Царь», не публиковавшуюся при жизни Сумарокова, но относившуюся, по всей вероятности, тоже к концу 1760-х годов. Первые же фразы заметки обнаруживают ее полемическую направленность: «Не сказали мы еще европейцам от чего слово Царь происходит; ибо и у нас немногие это знают. Думают европейцы, что это слово испорчено, вместо Цесарь выговаривается, и будто оно значит Короля».[29] Сумароков не называет имен думающих так «европейцев», но после ознакомления с книгой Страленберга источник подобного мнения проясняется. Глава 7 его сочинения прямо называется «Разность в титуле царя и великого князя и о гербе российском». В ней мы и находим уподобление этого титула званию «короля» и сближение интересующей его лексемы с именем «цесаря». «Титул царя в славенском языке прежде значит, что в немецком языке кениг „король" приемлется же в разуме (т. е. в смысле. — *Ю. С.*) императора, ибо в старинных духовных и светских книгах все короли царями именуются, как то в славенской Библии прежде 700 лет з греческого языка переведено задолго до того, как великие князья российския титул царской употребили».[30] По мысли Сумарокова, для европейских историков своим происхождением слово «царь» обязано испорченному произношению слова «цесарь», знаменовавшему того же «короля». В чем-то объяснения Страленберга приближаются к подобному толкованию, когда он со ссылкой на употребление в славянской Библии слова цесарь приходит к заключению, «что Цесарь еже у немцев Kayser, у славян было имя собственное, к фамилиям точию (или вместо прозвания) употребляемое».[31] Именно с подобной позицией и полемизирует в своей заметке Сумароков, когда безапелляционно заявляет: «Сие слово (царь. — *Ю. С.*) не знаменует ни Цесаря, ни Короля, но Монарха. А происходит оно от слова отец, из которого сделано слово Отцарь».[32] Так несколько наивно, но зато в полном соответствии с представлениями Сумарокова о факторах, определяющих исторические предпосылки политической формы власти в России, устанавливается этимология слова «царь». Реальное осмысление истории было чуждо Сумарокову. Он остает-

ся во власти собственных представлений о сущности исторических явлений исходя из той сословной идеологической доктрины, выразителем которой он неизменно выступал. Но характерно, как в обоснование своей позиции он все больше обращается к отечественным традициям, полемически противопоставляя их традициям и опыту европейской культуры.

Сумароков был не одинок в своем убеждении, что начатые Петром I процессы тотального обновления России на путях ее «европеизации», помимо несомненных позитивных последствий, имели и свою отрицательную сторону. Они приводили порой к уродливым проявлениям чисто внешнего подражательства, в результате которого отдельные русские поклонники европейской моды, говоря его словами, в «напудренную превратилися скотину». В 1769 году в Петербурге начинает выходить журнал «Трутень», дополнивший собой целую вереницу периодических изданий, появившихся в этом же году. Но по злободневности своего содержания и остроте помещавшихся в нем обличительных материалов «Трутень», издававшийся Н. И. Новиковым, не имел себе равных. Значительная часть материалов, пронизанных патриотическим пафосом, была посвящена высмеиванию новообращенных «европейцев». Вот, например, какое «объявление» можно было прочесть в разделе сатирических «Ведомостей» этого журнала (лист VI): «Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и которой, объездив с пользою, возвратился уже совершенно свиньею, желающие смотреть могут его видеть безденежно по многим улицам сего города».[33] Перед нами качественное переосмысление идеалов петровского времени, в частности практики посылки молодых русских дворян для учебы в Европу. В своей критике стихии подражательности сатира в свойственной ей гротесковой форме подходит объективно к постановке одной из центральных проблем эпохи Просвещения — проблеме воспитания, но делает это с позицией отстаивания отечественных приоритетов.

Наблюдая порожденные процессами «европеизации» явления современной жизни, сталкиваясь с новейшими веяниями в отношении к России со стороны отдельных мыслителей Запада и сопоставляя все это с историческим прошлым, русские писатели и историки все чаще начинают задумываться об исконных ценностях морального и бытового уклада жизни предков. В русле этих тенденций Н. И. Новиков в 1773 году предпринимает периодическое издание «Древняя Российская Вивлиофика, или Собрание разных древних сочинений, яко то: Российския посольства в другие государства, редкия грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей, и многия сочинения древних Российских стихотворцев». Издание выходило поквартально, и в течение трех лет было выпущено 10 частей «Вивлиофики». Уже в 1782 году в Москве выходит ее 2-е из-

дание, а с 1788 по 1791 год Новиков выпускает исправленное и умноженное издание «Древней Российской Вивлиофики» в 20-ти частях.

Издание было посвящено Екатерине II. Императрица действительно поддержала инициативу Новикова, о чем свидетельствовал ее указ от 26 октября 1773 года «О сообщении господину Новикову из здешнего архива копии с посольств, разных обрядов и других достопамятных и любопытных вещей». В снабжении Новикова материалами для издания принимали участие также директор Московского архива Коллегии иностранных дел Г.-Ф. Миллер, князь М. М. Щербатов и Н. Н.Бантыш-Каменский. Сохранились сведения об использовании Новиковым рукописных материалов из Синодальной библиотеки, материалов из Патриаршего книгохранилища и библиотеки Иосифова монастыря. Обращаясь в части I со вступительным словом «К читателю», Новиков сразу и недвусмысленно заявляет о патриотической направленности издания: «Не все у нас еще, слава Богу! заражены Франциею; но есть много и таких, которые с великим любопытством читать будут описания некоторых обрядов, в сожитии предков наших употреблявшихся; с неменьшим удовольствием увидят некое начертание нравов их и обычаев и с восхищением познают великость духа их, украшенного простотою. Полезно знать нравы, обычаи и обряды древних чужеземских народов; но гораздо полезнее иметь сведения о своих прародителях; похвально любить и отдавать справедливость достоинствам иностранных; но стыдно презирать своих соотечественников, а еще паче гнушаться оными».[34] Воспитанию у современников любви и уважения к прошлому своего отечества и должно было служить предпринятое Новиковым источниковедческое издание.

На первый взгляд отбор и порядок подачи исторических материалов в «Древней Российской Вивлиофике» носят бессистемный, случайный характер. Но такое впечатление ошибочно. Можно уловить определенную логику смысловой наполненности номеров этого издания, проявляющуюся прежде всего в содержательной направленности публикуемых материалов, так или иначе ориентированной на современность. Если попытаться определить тематические аспекты содержания «Вивлиофики», то они будут складываться из следующих рубрик (некоторые из них уже намечены в заглавии): это жалованные и договорные грамоты великих и удельных князей городам и областям, включая ярлыки, «данные Ордынскими царями Киевским митрополитам», а также договоры Великого Новгорода с тверскими князьями за период с XIII по XVI век; это статейные списки посольств, описания путешествий русских людей в различные страны Западной Европы и посещения Московской Руси посланцами из-за рубежа; это служебные записки с родословными таблицами представителей отдельных знатных родов княжеских фамилий и московского бояр-

ства; это описания царских и княжеских свадеб, происходивших в Москве в XVI—XVII веках, а также церковных обрядов и крестных ходов с участием царя и патриарха; это описания чина (порядка — *Ю. С.*) избрания на патриаршеский российский престол и погребения российских патриархов, а также духовные завещания их; это соборные деяния и записи крестоцелования и многое другое более частного характера.

В то же время за этим тематическим разнообразием скрывается отмеченная выше скрытая логика смыслового отбора материалов, позволяющая наметить ряд узловых проблем, актуальность которых для общественно-идеологической мысли XVIII века была очевидной. Это прежде всего проблема отношений России с Западной Европой. Значительная часть опубликованных на страницах издания материалов свидетельствовала о непрекращавшихся и весьма активных контактах Руси в течение прошлых веков с европейскими государствами. Об этом прежде всего свидетельствует опубликованный во II части «Вивлиофики» реестр грамотам, сохранившимся от XVI века, которые посылались монархами европейских государств и римским папой русским царям. Документы охватывают период от 1514 по 1599 год. В списках указываются грамоты, посланные Ивану IV, а после его смерти Федору Ивановичу и Борису Годунову от австрийского императора Максимилиана и его сына Рудольфа (1585—1599); грамота от французского короля Генриха IV к Федору Ивановичу (1595); грамоты от папы римского (1582—1584). Реестр включал 14 грамот к царям Ивану IV, Федору Ивановичу и Борису Годунову от английской королевы Елизаветы (1561—1598). В основном речь в них шла о защите интересов английских купцов, торговавших на территории Московской Руси. Значились в реестре и грамоты от шведских королей, касавшиеся мирных переговоров, ведшихся в XVI веке.

Обильно были представлены и материалы, раскрывавшие степень знакомства русских людей с западными странами в результате поездок за рубеж российских посольств. Так, уже в I части «Вивлиофики» были опубликованы материалы о посольстве во Флоренцию в 1659 году во главе с дворянином Василием Лихачевым и дьяком Иваном Фоминым, состоявшемся по указанию царя Алексея Михайловича.

Посольство отбыло из Архангельска на двух английских торговых судах в конце сентября. На подходе к Гибралтару в начале декабря участникам посольства пришлось испытать страшную морскую бурю, а в период прохождения судов по Средиземному морю беречься от нападения «турских воровских людей» (по-видимому, алжирских пиратов). Только в начале января суда прибыли в Ливорно, из которого сухим путем посольство, сопровождаемое высланными навстречу людьми князя Фердинанда, прибыло во Флоренцию. Прием гостей был на самом высоком

уровне. После вручения князю государевой грамоты послам показали покои «княжого двора». Колоритны их описания, передающие впечатления русских людей от открывшегося перед ними другого мира: «А во всех запоны (занавески. — *Ю. С.*) драгие и столы аспидные, писаны золотом травы; а палаты подписаны золотом, а чернильница, из чего писали, золотая, фунтов в тридцать, а вместо песка руда серебреная. А кресла крыты бархатом участочным; а отходы крыты бархатом Флоренским: выпражняют их по вся дни. ⟨...⟩ А около княжова двора древа кедровыя и кипарисныя и благоухание велие; а о Крещении жары великие; у нас на Руси таково и о Иванове дне. Яблока великия и лимоны родятся по дважды годом; а зимы во Флоренске не бывает ни одного месяца».[35]

Послам показали также палаты зимнего дворца, сады и потешный двор, но особенно их поразила представленная специально для них «комедия» из шести перемен (сцен) со сменой декораций в каждой сцене, а также устроенные для них военные игры. «Флоренский князь распрашивал у посланников и смотрел по чертежу про Сибирское государство, и поскольку которой зверь годом плодится, тому роспись взял. А Сибирскому государству и плоду соболиному, что их много, и куницам, и лисицам, и белкам, и иным зверям зело дивился».[36] Перед отъездом послов одарили богатыми подарками. Возвращались они в середине февраля 1661 года уже через Швейцарию и Голландию, где в марте из Амстердама отбыли на купеческих кораблях в Архангельск.

Посольство во Флоренцию было не первым посещением русскими людьми Италии в XVII веке. За несколько лет до Василия Лихачева и Ивана Фомина состоялась поездка в Венецию посольства во главе со стольником Иваном Ивановичем Чемодановым. «Статейный список» этого посольства был опубликован Новиковым в VII, VIII и IX частях «Вивлиофики». Посольство Чемоданова отправилось в Венецию тем же маршрутом, что и посольство во Флоренцию, — 12 сентября 1656 года, также на двух торговых кораблях из Архангельска. Путешественникам тоже пришлось пережить ужасы морских бурь и опасности нападения пиратов. В конце ноября корабли достигли Ливорно. Больше месяца послам пришлось дожидаться официального ответа от венецианских властей на посланное князю Валерию Бертуццо письмо об их прибытии. Из-за отсутствия попутных кораблей, из Ливорно посольство двинулось сухим путем через Пизу и Флоренцию. В последнем городе послы задержались на несколько дней. Их принял сам князь Фердинанд со своим сыном, а княгиня купила у послов несколько пар соболиных и горностаевых шкурок. На встрече с послами 30 декабря князь говорил об особой заинтересованности налаживания торговых связей между Флоренцией и Москвой. Его интересовало, в частности: «Великий де Государь, Царь и Великий князь Алексей Михайлович ⟨...⟩ пожалует ли моих под-

данных, торговых людей, велит ли де у Архангельского города покупать икры и других товаров...».[37]

В Венецию посольство прибыло только в январе, и основное время двухмесячного пребывания там протекало в напряженных переговорах. Делегация россиян была окружена повышенным вниманием, и это не было случайным. После крушения Византийской империи в результате захвата турками Константинополя в 1453 году торговые связи европейцев со странами Ближнего и Среднего Востока были прерваны. Особенно пострадали итальянские торговые города. Налаживанием прямых отношений с Московской Русью венециане, как кстати и флорентийцы, намеревались восполнить возникший дефицит торговых связей, а заодно использовать территорию Руси в транзитных целях для торговли со странами Востока. Вопрос о разрешении венецианским купцам торговать в России и проезжать через ее территорию для торговли с Персией поднимался еще в XVI веке, когда в Москву в 1581 году приезжал папский легат Антонио Поссевино для ведения переговоров с Иваном Грозным. (Материалы об этом визите также были опубликованы в «Вивлиофике», о чем ниже еще будет идти речь). Кстати, во время пребывания в Венеции посланцев дважды приглашал в Рим для встречи папа римский, но в планы посольства посещение Рима не входило.

Другой момент, объясняющий заинтересованность властей итальянских торговых городов, а также императоров Священной Римской империи («Цесарии») и главы престола Римской католической церкви видеть у себя российские посольства, заключался в созревшем в Европе понимании роли Московской Руси как важного фактора сдерживания турецкой агрессии на рубежах Восточной Европы. И Венеция, и Флоренция, и Рим рассматривали Москву как потенциальную союзницу в отражении этой агрессии. Тема объединения христианских государств, включая и Русь, неоднократно прокламировалась в дипломатических акциях папы римского. Затрагивалась она и в ходе переговоров, которые вело посольство Чемоданова в Венеции. Речь шла о поощрительных мерах со стороны Москвы для активизации борьбы с турками донских казаков и о моральной и финансовой поддержке этих действий со стороны итальянских городов, той же Венеции. Сошлемся на слова князя Бертуццо, сказанные им на приеме московских послов, как они записаны автором «Статейного списка»: «...Его Царское Величество милость и жалованье нам вы объявляете, что по нашему прошению и челобитью хочет стоять против Турка с нами (т. е. с Венецией. — *Ю. С.*), соединя вся оружия вкупе и пленных православных Християн из бусурманских рук освободить; и мы де все своим Государством и наипаче того радуемся, чтоб де он, Великий Государь, позволил идти Козакам на их неприятелей; а как его Царское Величество изволит на бусурманов, на Турка послать Козаков, и он бы де Великий Государь

изволил нам вестно учинить, а мы де о том к нему Великому Государю пришлем же ⟨...⟩ и пошлем своих ратных людей на них вскоре».[38]

Следует отметить, что послов за время пребывания в Венеции неоднократно посещали представители разных европейских стран. Особенно часто навещали их купцы и священники — греки, колония которых в Венеции была достаточно многочисленной. В конце февраля в честь русских послов и в их присутствии отслужили обедню в церкви Николая Чудотворца.

Отъезд из Венеции состоялся 1 марта 1657 года. Возвращались через Австрию (Инсбрук), Баварию, побывав во Франкфурте-на-Майне, и затем по Рейну к концу апреля добрались до Голландии. Отплытие на родину было из Амстердама 20 мая на двух голландских торговых судах. К концу июня путешественники достигли Архангельска.

В III, IV и V частях «Вивлиофики» Новиков поместил «Описание посольства стольника Петра Ивановича Потемкина, отправленного от царя Алексея Михайловича в 1667 году в Испанию и Францию». Маршрут был традиционный, через Архангельск, из которого послы отплыли 1 октября и уже 4 декабря прибыли в Кадикс. Поскольку это был первый случай прибытия в Испанию посольства из столь далекой страны, Потемкину и его спутникам пришлось 20 дней ждать королевского указа о встрече, подобающей их статусу. Дело усложнялось тем, что испанский король Филипп IV, грамоту к которому вез Потемкин, к моменту прибытия российского посольства скончался и фактически страной от имени считавшегося королем семилетнего Карла, сына Филиппа IV, правила его мать, королева Мария Австрийская. Лишь 9 января послы отправились в Мадрид в сопровождении высланных им навстречу представителей королевского двора. Путешествие до столицы испанского государства заняло больше месяца, поскольку послы подолгу останавливались в различных городах страны — в Севилье, в Кордуба, в Толедо и др. Переговоры пришлось вести в основном с королевой и «великородными ближними людьми, на которых всякие государственные дела после смерти Филиппа короля положены» до совершеннолетия юного Карла. Одним из основных пунктов переговоров было обеспечение свободной торговли для купецких людей обоих государств.

Из бесед с членами правительства Испании послы узнали об особенностях государственного устройства страны, ее истории, ее отношениях с другими государствами Европы и Азии. Им рассказали об обстоятельствах недавнего отделения от Испании в самостоятельное государство Португалии, об освоении испанцами земель на территории открытой за полтора века до этого Западной Индии (так в XVII веке называлась Америка) и активном вывозе оттуда золота и серебра. Автор «Описания» подробно рассказывает о вере испанцев, богатом убранстве их костелов, об обычаях

и одежде жителей Испании, о климате страны, растениях, животных, продуктах питания жителей и цен на них.

В сущности, «Описание» имело форму своеобразного дипломатического отчета. И в конце такого отчета давалась справка «О дружбе испанского короля, с которыми государи послы ссылаются, и которых королей и курфирстов послы и резиденты по скольку лет в Испанском государстве живут». Подобная справка должна была раскрывать уровень международных отношений Испании с другими странами, как Европы, так и Азии. И Московской Руси в системе этих связей благодаря посольству стольника Петра Ивановича Потемкина отводилось вполне определенное место.

Любопытно, что, завершая свой рассказ о пребывании посольства в Испании, автор «Описания» дает рекомендации русскому правительству об изменении в будущем маршрута, по которому российские посольства традиционно отправлялись в Западную Европу: «А если Великий Государь, Его Царское Величество, впредь слать своих послов или посланников к испанскому Королю, и тем Его Царского Величества послам идти будет податнее на Ригу, а из Риги на кораблях до Голландския земли, до города Амстрадама (т. е. Амстердама. — *Ю. С.*), а из Амстрадама идти, не заходя ни в которые городы, на кораблях же морем меж Английская и Французския земли к Бискайской земле ⟨...⟩ где рубеж сшолся со Французским у Испанского короля».[39] Свою идею автор обосновывает безмерными опасностями, которым всякий раз вынуждены подвергать себя русские путешественники, отправляясь в Западную Европу морским путем через Архангельск. Он вспоминает, как при проходе мимо «исляндских островов корабль било три дня, беспрестанно день и ночь: страшное было в то время такое волнение на море, шум невместимый, волны как великие горы на море были, а людем мучение было на корабле лютое, и в ум невместимое».[40] Другая опасность, возникавшая уже на подходе к Испании, — «турецкие воровские люди» (по-видимому, алжирские пираты).

Высказанное неизвестным членом посольской миссии предложение фактически означало подтверждение насущной необходимости для России прямого выхода к Балтийскому морю, что осознавалось еще во времена Ивана Грозного, пытавшегося решить эту проблему в ходе Ливонских войн. Царь Алексей Михайлович частично восстановил территориальные потери, понесенные Русью в результате экспансии Польши и Швеции в период Смутного времени начала XVII века. Но только Петр I сумел вернуть контроль России над восточным побережьем Балтийского моря. И именно через Ригу «великое посольство» во главе с царем отправится в Западную Европу в 1697 году, как раз накануне начала Северной войны.

Через Ригу будет возвращаться в Москву и посольство стольника Петра Потемкина, посетившее сразу после Испании Фран-

цию. Из Мадрида послы выехали в середине июня и только 27 июля прибыли в первый на пути французский город Байон. Вновь почти месяц пришлось провести в ожидании королевского указа о соответствующем обеспечении посольства сопровождающими, каретами и всем необходимым. Указ застал Потемкина и его спутников в Бурдое (Бордо). Только 21 августа посольство прибыло в Париж и было размещено на Посольском дворе. Сам король Людовик XIV вместе с королевой и двором по случаю реставрации Лувра, готовясь к очередному походу, пребывал в Сен-Жермене. Именно там 25 августа состоялся прием послов, на котором королю была вручена грамота от царя Алексея Михайловича, а затем переданы от послов богатые дары — собольи и горностаевые меха, чернобурая лисица, камки кизылбашные, сабля булатная с золоченой оправой, украшенной бирюзами и яшмами и др. 29 августа состоялся повторный прием у короля, после которого послы в особой палате имели беседу с «думными людьми» французского королевства. В числе последних был Кольбер. Послами был поднят вопрос, «чтоб на обе стороны Великих Государей подданные торговые люди ходили и торговали ⟨...⟩ и прибылей себе и пожитков искали, чтоб от того великим Государствам прибавленья и расширенья прибывало».[41] Предложение нашло понимание с французской стороны, и уже через несколько дней послов посетили «первые купецкие торговые люди» Франции, интересовавшиеся, какими товарами располагают потенциальные партнеры и на каких условиях будет осуществляться взаимная торговля. Французов в России интересовали меха соболя, куницы, горностая, белки, выдры, говяжье и ворванье сало, поташ, пенька. Со своей стороны, они были готовы продавать атласы, бархат, сукна, камку, белые и красные вина.

13 сентября состоялась последняя встреча послов с Людовиком XIV в Сен-Жермене. Спустя день, накануне их отъезда, послы получили подарки от короля: червчатые атласы, сукна, наборные ковры, золотые часы с алмазами, пистоли, пищали долгие, шпаги с золотой рукоятью.

16 сентября послы выехали из Парижа в направлении Кале. Оттуда морским путем они прибыли в Голландию, и из Амстердама в середине октября на торговых голландских судах посольство достигло Риги.

Рассказ о возвращении на родину завершался традиционной справкой «О дружбе французского короля, с которыми государи и с короли послы ссылаются». В ней перечислялись почти все государства, с которыми Франция имела дипломатические отношения, а также сообщались некоторые сведения о быте и культурной жизни французов. К слову сказать, для членов посольства представления о том высочайшем уровне достижений в области искусства, каким было отмечено правление Людовика XIV, вряд ли были доступны. Насколько можно судить из «Описания», По-

темкину и его спутникам не пришлось посещать парижские театры. Имена Мольера, Расина, Люлли, Пуссена также не упоминаются в посольском отчете. Правда, послам показали строящийся новый королевский дворец в Париже, и они смогли ощутить роль Парижа как центра европейского образования. «Люди во Французском Государстве человечны и ко всяким наукам, к философским и к рыцарским, тщательны. Из иных государств во Французскую землю, в город Парис и в иные городы, приезжают для науки философской и для ученья разного строя королевичи и великородные и всяких чинов люди, потому что город Парис великий и многолюдный, и богатый, и школ в нем безмерно много; студентов в Парисе бывает тысяч по тридцати и больше».[42] Этим пассажем, пожалуй, и исчерпываются сведения, сообщаемые в «Описании» об уровне культурных достижений Франции XVII века.

Как можно судить из публикаций подобных материалов на страницах «Вивлиофики», связи Московской Руси с государствами Западной Европы развивались и до Петра I, хотя и не были устойчивыми. Активизации таких связей на рубеже XVII века способствовала во многом политика Бориса Годунова. Этот царь, не имевший династических прав на занятие престола, но, по всем свидетельствам, умный, решительный и жестокий политик, «был весьма милостив и любезен к иноземцам».[43] В чем-то Годунов словно предвосхищал политику Петра I. Помимо приглашения из западных стран мастеров, врачей, учителей иностранных языков он послал несколько «дворянских сынов» для учебы в европейские страны — Англию, Францию, в город Любек. Правда, из этой затеи ничего не вышло, ибо почти никто из посланных юношей не вернулся назад. Борис также предпринял две попытки выдать замуж свою дочь Ксению за принцев королевских домов Швеции и Дании. Датский принц Ганс даже приехал в Москву в 1602 году, но умер здесь от непонятной желудочной болезни. Хорошо известно также о поощрении Борисом торговых связей Руси с европейцами, в частности с ганзейским городом Любеком.

Во внешнеполитической области в условиях противостояния Швеции Борис стремился нейтрализовать враждебную интересам Москвы Польшу, для чего пытался наладить отношения с императором Священной Римской империи Рудольфом II. Кстати, один из документов, касавшихся отношений Руси с Польшей, был опубликован в X части «Вивлиофики». Это — «Статейный список великого посольства, отправленного от царя Бориса Федоровича Годунова в 1601 годе к Сигисмунду, королю Польскому». Целью посольства, которое возглавляли боярин Михаил Глебович Салтыков-Морозов и дворянин Василий Тимофеевич Плещеев, было подписание договора о перемирии, согласованного годом ранее в Москве во время приезда туда польских послов во главе с

королевским канцлером Львом Сапегой. За весь период пребывания в Польше — с середины сентября 1601 по конец января 1602 года — русское посольство неоднократно сталкивалось с проявлениями скрытого недоброжелательства, но твердо отстаивало интересы своей страны. Камнем преткновения стало написание в договоре титула Московского государя, которого польская сторона категорически отказывалась именовать царем, соглашаясь только на великокняжеский титул. Приемлемого для обеих сторон решения так и не было найдено. Дневник посольства достаточно красноречиво передает напряженность отношений между Польшей и Русью как раз накануне появления фигуры Отрепьева и последовавшей за этим Смуты.

Задолго до Годунова связи с Европой начали устанавливаться в период царствования Ивана III, дальновидного и мудрого правителя. Об этом свидетельствовали и посольство венецианского дожа в Москву в апреле 1474 года, и приезд в Москву в 1489 году посла Священной Римской империи Николая Поппеля, с последовавшим в том же году ответным визитом Московского посольства в Вену (итогом стало установление дипломатических отношений с Империей), и заключение Иваном III договора с Ливонией 1481 года, и мирный договор со Швецией 1497 года. Об этом же свидетельствуют и приглашения в Москву из Европы специалистов фортификационного дела, пушечного литья и архитекторов из Италии, принимавших активное участие в строительстве новых стен и башен Кремля, а также Успенского собора на территории Кремля. 24 июня 1474 года в Венецию отправилось посольство во главе с Семеном Толбузиным, одной из задач которого было «мастера пытати церковного». Результатом этого посольства стал приезд в Москву знаменитого Аристотеля Фиоравенти, создавшего в центре Кремля удивительный по красоте Успенский собор, сочетавший в себе архитектурные традиции Древней Руси с достижениями европейской строительной техники того времени.

Материалов, связанных с царствованием Ивана Ш, в «Вивлиофике» опубликовано не было. Но зато в IV части издания Новиков поместил «Известие о папине после, Антонии Поссевине, в бытность его в России сочиненное», относившееся ко времени правления Ивана Грозного. Эта записка была представлена для публикации из книгохранилища Коллегии иностранных дел Г. Ф. Миллером.

Приезд в Москву в 1581 году посла от римского папы являлся ответом на посылку в Рим в 1580 году Иваном IV своего гонца Истомы Шевригина. В царской грамоте, переданной папе гонцом, сообщалось о нарушении польским королем Стефаном Баторием заключенного ранее перемирия между Москвой и Польшей и захвате им в союзе с Турцией пограничных областей Руси. В ней также содержалась просьба повлиять на католическую Польшу в прекращении «кроворазлития» между христианскими народами.

Иезуит Поссевино выполнял фактически посредническую миссию. Он привез Ивану IV ответное послание Григория XIII, а в ходе визита посетил ставку польского короля под Псковом, после чего вернулся для продолжения переговоров в Москву.

В послании папы было высказано пожелание, «чтоб меж всеми Великими Государи, которые в вере Християнской, мир и любовь была».[44] Также сообщалось о письме папы к польскому королю относительно восстановления перемирия и прекращения связей Польши с Турцией. Но за всеми этими проявлениями доброжелательства скрывалось тайное намерение папы вовлечь Москву в выполнение выгодных для римского престола планов и распространить на Руси влияние католической церкви. Не случайно наряду с посланием («грамотой») от папы Поссевино вручил царю «книгу Собора Флоренского», изданную в Италии и содержавшую решения VIII Вселенского собора, проходившего во Флоренции в 1439 году, на котором было принято решение о соединении («унии») Католической и Православной церквей. Император Византии Иоанн VI рассчитывал этим актом получить поддержку от католической Европы в борьбе с турецкой экспансией, завершившейся в 1453 году захватом Константинополя.

В работе Флорентийского собора принимал участие в качестве представителя русского духовенства митрополит Исидор, грек по национальности, выступивший активным сторонником унии. Чем закончилось это для самого Исидора, я скажу ниже. Пока замечу, что никакого согласия со стороны других иерархов Русской церкви и великого князя Московского на принятие такого решения Исидор не получал. Но одним из основных пунктов программы пребывания Поссевино в Москве было убедить царя в целесообразности соединения православной веры с католической. В заключительной беседе с Иваном IV посол «говорил от папы о соединении Веры и что папа сопрестольник Апостолам Петру и Павлу, и вся Греческая вера в Риме, и с римскою та греческая вера одна, и приводил к тому Флоренский собор».[45] Иван Грозный оставил «книгу Флоренского собора» без внимания, но в беседе с послом самой идее соединения вер решительно воспротивился: «...против его речей говорил из святого Евангелия и божественных писаний противное: что вера греческая от римския особо и соединиться в том невозможно; и обличал гордость папину, что он называется сопрестольник Петра и Павла, а поступает не так, как Апостол Петр: носят его на престоле и целуют в ногу, в сапог, а на сапоге крест: и то есть гордость, а не святительского смирения набожность.

И посол, слыша о Папе обличение, говорить перестал».[46]

Другой аспект содержания миссии Поссевино состоял в осуществлении идеи папы римского создать коалицию европейских христианских государств для борьбы с мусульманской Турцией. Без Руси, как ближайшего соседа Турции, проведение подобной

акции не могло бы иметь успеха. Но в условиях, когда страна подвергалась агрессии со стороны католической Польши и значительная часть ее западных областей была захвачена войсками Стефана Батория, нарушившего заключенное на 10 лет перемирие, присоединение Москвы к такой коалиции не представлялось возможным. Кроме того, давать согласие без твердой гарантии участия в этой акции других средиземноморских европейских государств — Франции, Испании, Венеции, а также Австрии русский царь не собирался. Я уже отмечал выше, что в ходе бесед с Иваном IV Поссевино по просьбе папы поднимал также вопрос о привилегиях в торговле на территории Руси, а также проезда через российские земли венецианских купцов, совершавших торговлю с Персией, на что получил согласие царя, хотя при этом было сказано: «...только им учения своего русским людем не распространять и костелов им не строить».[47]

Миссия Поссевино и характер обсуждавшихся в ходе ее вопросов показывают, что в Европе уже с XVI века начинают рассматривать Московскую Русь в качестве реального фактора европейской политики. Активность была взаимная, но бросается в глаза своеобразная наступательность поведения ряда европейских государств по отношению к России, особенно ее соседей, таких как Польша и Швеция (агрессивность Ливонии к этому времени сошла на нет). Наиболее ярко это проявилось в начале XVII века, когда на российский престол вступит польский ставленник под именем царевича Димитрия, все северо-западные области Руси перейдут под контроль шведов и государственная независимость страны окажется под угрозой. Освещение вопросов, связанных с периодом Смутного времени, тоже нашло частичное отражение на страницах «Вивлиофики».

Завершая оценку той роли, которую сыграла миссия папского легата Антонио Поссевино в налаживании связей Москвы с Западной Европой, следует подчеркнуть, что она еще раз обнажила экспансионистские устремления руководства Католической церкви в отношении православия на Руси. В чем это проявилось, было сказано выше. Но важно заметить, что претензии папского престола на подчинение Русской церкви своему влиянию имели глубокие корни и обнаружились едва ли не сразу после принятия христианства на Руси, уже в конце X века после смерти первого митрополита Михаила. Известны эпизоды прибытия папских послов к князю Роману Галицкому в 1205 году, к Александру Невскому в 1247 году, к Дмитрию Московскому в 1388 году, и все с одной целью — с предложениями принятия католической веры в обмен на политическую и военную помощь Рима в борьбе с внешними противниками Руси. Всякий раз они получали отказ. Один из эпизодов подобной экспансии, относившийся к XV веку, имевший международный характер, получил освещение в издании Новикова.

В июньском номере IV части «Древней Российской Вивлиофики» был опубликован дневник путешествия российского митрополита Исидора на VIII Вселенский собор, организованный папой римским, на который помимо католических кардиналов и епископов были приглашены константинопольский патриарх Иосиф и византийский император Иоанн VI вместе с рядом православных, в основном греческих, митрополитов. Целью собора было объединение Западной (католической) и Восточной (православной) церквей, иными словами — уния. Заседания собора начались 8 октября 1438 года и происходили в городе Фераре. Очень скоро обнаружилось, что не все православные иерархи согласны на такое объединение. Наиболее решительным противником планов папы выступил митрополит Эфесский Марк, обвинивший папу в отступлении от решений VII Вселенского собора, забвении заповедей святых отцов и честолюбии. После 15-го заседания, проходившего 10 января 1439 года, в работе собора наступил перерыв и лишь 26 февраля заседания продолжились, но уже во Флоренции. Все это время император и патриарх безуспешно уговаривали Марка и его сторонников смириться и принять сторону папы. Наибольшую активность среди православных иерархов в пользу унии проявил как раз представитель российской митрополии Исидор. 5 июля 1439 года состоялось подписание грамоты об объединении церквей, в котором приняли участие все кардиналы и митрополиты, бывшие на Флорентийском соборе, исключая нескольких православных митрополитов во главе с эфесским митрополитом.

Перипетии борьбы, протекавшей в ходе заседаний VIII Вселенского собора, достаточно полно освещались в опубликованных в IV части «Вивлиофики» материалах. Помимо непосредственного «журнала» «Путешествия...» Исидора по пути его в Италию, почти не касавшегося споров, возникших на соборе, имелся еще документ, содержавший «историческое описание сего Флорентийского собора и преклонность Исидора к Римской вере». Именно из этого документа становится известно, что великий князь Василий Васильевич не одобрял поездки Исидора на VIII собор и заставил его дать клятву, «яко ни что же странна и чужа не принести от Латин в Русскую землю с осьмого Собора их. Но ятся, рече, крепце стояти о Православии и по святым правилам поборяти о благочестии. Лжесловесне бо глаголаше сия, скрывая мысль злу в сердции своем, хотя совратити люди Божия со истинного пути святыя веры Божия и соединити к Латинам».[48] Там же достаточно подробно рассказывается о возникшей на соборе полемике, приводится выступление эфесского митрополита Марка и раскрывается двурушническое поведение Исидора, снискавшего особое благоволение папы. Но когда по возвращении в Москву Исидор попытался проводить в жизнь принятые на Флорентийском соборе решения и провозгласил об объединении церквей, он

был лишен митрополичьего сана и заключен простым монахом в Чудов монастырь. Через год он оттуда, правда, сбежал, найдя покровительство у папы римского. Материалы, касающиеся этого эпизода русской церковной истории, были получены Новиковым из патриаршей книгохранительницы.

Публикация на страницах «Древней Российской Вивлиофики» материалов, связанных с отступничеством митрополита Исидора от православной веры, отражает еще один важный аспект проблемно-содержательного пафоса издания. Я имею в виду раскрытие места православных церковных традиций в практике государственного строительства Московской Руси и их непреходящего значения в формировании нравственных устоев и всего жизненного уклада прошлых времен. Публикация материалов такого характера занимала значительное место в «Вивлиофике». Так, уже в I части читатели могли ознакомиться с порядком венчания великих князей, совершаемого митрополитом в присутствии высших представителей церковной иерархии, что было изложено в материале «Чин и поставление на великое княжение Российского государства, сиречь на царство помазание, сице бывает Царем» (Ч. I. С. 54—85). Подробно описываются все детали подготовки церкви к совершению обряда венчания, излагаются речи поставляемого великого князя к митрополиту и митрополита к великому князю, а затем записывается сам процесс вручения митрополитом новому князю святых барм, царского венца и скипетра. Все это подносилось на золотых блюдах и осенялось молитвами и крестовым благословением. В поучении, которое читал митрополит новопоставленному князю, теократическая идея богопомазания составляла идейный стержень истолкования природы великокняжской, а позднее и царской власти: «...сохрани веру Христианскую, Греческую закона, чисту и непоколебиму и соблюди Царство свое чисто и непорочно, яко зеницу ока; яко же ныне приял еси от Бога, и люби правду, милость и суд правый. К послушным милостивое сердце имей; ко святей соборной церкви и ко всем святым церквам имей веру и страх Божий и воздавай честь: понеже в ней, Царю, второе порожден еси от святыя купели духовным святым порождением. ⟨...⟩ Языка льстива и слуха суетна не приемли, Царю, ниже оболгателя слушай, ни злым человеком веру емли, смотряй в себе, о боговенчанный Царю, яко всем человеком мудрость честнейша есть и всем тщательнейша...».[49]

Теократический характер древнерусской государственности раскрывался в «Вивлиофике» многообразно. Введение в 1589 году патриаршества стало новой ступенью в повышении роли Церкви в общественной жизни Московской Руси. Впечатляющие картины единения церковной и царской власти читатель XVIII века мог получить из помещенного уже в I части издания «Описания брачного сочетания Государя Царя и великого Князя Михаила Феодоровича лета 7134 (1626)» или из напечатанного в VI части

«Церемониала коронации Государя Царя Феодора Алексеевича», или, наконец, из «Записки о кончине и похоронах Царя Феодора Алексеевича» (опубликована в X части). Особенно любопытны подробности исторического документа XVII века «Записки некоторым обрядам, между Государем и Патриархом происходившим», печатавшегося в I и II частях издания. Последний материал представлял собой своеобразный дневник общения патриарха Иоасафа и царя Алексея Михайловича за период с февраля по май 1667 года, как раз после низложения патриарха Никона, когда в Москве еще оставались приехавшие для свершения этого акта патриарх Александрийский Паисий и патриарх Антиохийский Макарий. Основное время «Записок...» приходится на период Великого поста, и в них описывается, например, прием государя патриархом в крестовой палате, как «святейший Патриарх великого Государя встретил на большой лестнице в дверях, перед церковью трех Святителей в паперти, и, встретя, благословил и, приняв великого Государя под руку, шли в крестовую вместе, а вошед в крестовую на обычные места говорил *достойно* (здравицу. — *Ю. С.*), а по *достойно* великого государя благословил рукою, и, благословясь, великий Государь сел на большой лавке от собора, а Патриарху велел сесть на другой лавке под образами...».[50] Подробно описывается обряд угощения гостей винами и красным и белым медом. В записи за 17 марта, в «пяток вторыя недели великого поста», когда праздновался день святого праведного Алексея человека Божия, т.е. именины Царя, мы читаем, как Алексей Михайлович «приходил к великому господину святейшему Иоасафу Патриарху Московскому и всея Руссии с имениным пирогом и подносил...».[51]

Но особенно впечатляет рассказ о вербном действе, т.е. предпасхальном празднике входа Господня в Иерусалим, когда патриарх должен был проехать на осле к соборной церкви. «И к действу святейший Патриарх со своего Патриаршего двора до Лобного места шел в санях прежде крестов, а осля нарядя после крестов за Государевою лошадью, а перед ослятем шли в золотых Патриарший боярин и Дьяки, и, вышед из Спасских ворот, поставили осля на уготованном месте». И после чтения Евангелия и совершения необходимых молитв « с Лобного места святейший Патриарх пошел на осляти, держав в руках честный крест и святое Евангелие, а великий Государь по чину вел осля, повод поддерживали бояре...».[52]

К такого же рода материалам относится и публикация, помещенная в VIII части издания, — «Обряды церковные и крестные ходы, в них же Государь Царь и Патриарх бывали при отправлении» (составлен в 1627 году).

Публикуя на страницах «Вивлиофики» подобные материалы, Новиков как бы восстанавливал в глазах своих современников то, что было безвозвратно утрачено в системе государственных ин-

ститутов послепетровской России, — это единение царской власти с Православной церковью. Пастырская миссия Церкви не ограничивалась духовным окормлением простых мирян. Участие патриарха во всех официальных мероприятиях царского двора, когда принятие верховной властью важнейших решений предусматривало их санкционирование высшими иерархами Церкви, и прежде всего патриархом, было нормой жизни. Все это было во многом отменено в результате реформ Петра I, ликвидировавшего институт патриаршества в России, о чем уже шла речь в I главе.

Значительная часть публикаций на страницах «Вивлиофики» была посвящена как раз деятельности патриархов, раскрытию их роли в общественно-политической жизни страны и как духовных пастырей народа, и как своеобразных гарантов нравственной чистоты власти. В I и II частях издания был помещен целый цикл материалов под общим названием «Описание обрядов касательно Патриархов Российских», из которых читатели узнавали, как происходило избрание «на высшей святительской престол патриарха Иосифа» («Чин избрания на Патриаршеский Российский престол». Ч. I. С. 122—144), как совершалось непосредственно поставление в патриархи («Чин наречения и поставления на Патриаршеский Российский престол преосвященного Филарета Никитича, Ростовского Митрополита». Ч. I. С. 144—180), что́ сопутствовало самому обряду наречения и поставления в патриархи («Чин Патриарша круг города на осляти шествия, бываемого в день постановления Российских Патриархов, и следующия по том обряды». Ч. I. С. 180—197) и, наконец, как происходило прощание с первосвятителем патриаршего престола после его кончины («Чин погребения российских Патриархов». Ч. II. С. 163—194). Описание каждого обряда было связано с конкретными иерархами, занимавшими высший святительский престол в царствование Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича. Избрание Иосифа, бывшего до этого архимандритом Спасо-Симонова монастыря, происходило в несколько этапов, завершившись 20 марта 1642 года. Избирали собором митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов и игуменов из шести предложенных царю претендентов путем двухступенчатого вынимания жребиев из золотой панагии, и каждый этап сопровождался соборным пением, чтением акафиста Пречистой Богородице и молитв. Чин поставления в патриархи давал представление о занятии высшего святительского престола отцом царя Михаила Федоровича митрополитом Ростовским Филаретом, что произошло 24 июня 1619 года с участием всего освященного собора митрополитов, архиепископов и епископов Российского государства в присутствии патриарха Иеруисалимского Феофана, благословившего нового Московского и всея Руси патриарха, возложившего на него святительскую шапку и вручившего ему посох чудотворца Петра. «Потом благочестивый Царь восходит к Патриархам на высокое место и дарует

благочестивый царь отцу своему, великому Государю Филарету, Патриарху Московскому и всея Руси, панагию злату, украшенну драгим каменьем и бисером, да манатью бархатну со источники низаными жемчугом, да клубок бел шелковый, украшен златом и камением драгим. И потом седает благочестивый царь на своем месте, а возле его от левые страны Патриарх Феофан всея Палестины, а возле Феофана Патриарха Патриарх Филарет Московский и всея Руссии».[53]

Обряд совершения объезда города, точнее Кремлевской стены, патриархом на осле по случаю его поставления на святительский престол, как он описан в материалах «Вивлиофики», отнесен к концу марта 1642 года и совершался уже упомянутым Иосифом. Этому предшествовала встреча только что поставленного патриарха с государем в золотой палате. «И как еству и питье пред Государя поставили, и встав Патриарх говорил *Отче наш* и проч. И на столе пред Государем еству и питье благословил и на прочие столы осенял.

И подали кушанье Патриарху новопоставленному икру, да уху, да пирог. И из-за той третьей ествы, по повелению Царскому, святейший Иосиф, Патриарх Московский и всея Руси, встав из-за стола и ударя челом Государю, а *Достойно есть* не глаголя, пошел из царские палаты красным крыльцом к Благовещению, да шел Благовещенскою папертью ко осляти. И по преданию святых Отец и по чину церковному творил шествие на осляти круг Кремля города; а шол от Благовещенья ко Фроловским (ныне Спасским) воротам».[54] В этом шествии патриарха сопровождали другие церковные иерархи — митрополиты и архиепископы, — а также бояре, дети боярские и стрельцы пеши. «А протодьякон, едучи, кропил град святою водою». Через день после обряда вновь состоялась встреча нового патриарха с государем, в ходе которой ему были поднесены богатые дары, в ответ на них на следующий день теперь уже патриарх одарил всех членов царской семьи не менее богатыми подарками: серебряными золочеными кубками, атласами, камкой, соболями и просто деньгами.

«Чин погребения» заключал в себе описание обряда похорон патриарха Иоасафа II, который скончался 17 февраля 1672 года и был торжественно погребен 18 февраля того же года в соборной церкви Кремля в присутствии царя Алексея Михайловича. К описанию обряда похорон был приложен текст Духовной грамоты патриарха, которая была зачитана архимандритом Чудова монастыря Иоакимом перед самым погребением. Такого же рода Духовные грамоты, в сущности предсмертные завещания патриархов Иоакима (за 1690 год) и Адриана (за 1697 год), были опубликованы в IV части «Вивлиофики». Особенно проникновенным, исполненным тревожных предчувствий, выглядит завещание патриарха Иоакима, бывшего свидетелем кровавых стрелецких бунтов и придворных интриг царевны Софьи. Он как бы предвидит

грядущие перемены и завещает двум юным царевичам, Иоанну и Петру, блюсти православную веру и не давать власти иноверцам в распространении своего влияния: «Отнюдь бы иноверцы, пришед зде в Царство благочестивое, вер своих не проповедывали и во укоризну о Вере не разговаривали ни с кем, и обычаев своих иностранских и по своих их ересях на прелесть християном не вносили бы. И сие бы им запретити под казнию накрепко. ⟨...⟩ И сим убо может целость Государства своего в лепоте содержатися и во угождении быти Богу, егда вси люди истинствуют, о добрых делах прилежат и содержат благие и постоянные нравы».[55]

К этого же рода материалам примыкали и опубликованные в декабрьском номере за 1774 год (ч. VI) «Дневные записки Димитрия митрополита Ростовского с собственноручно писанной им книги», хранившиеся в библиотеке Киево-Печерской лавры и переписанные в XVIII веке. В рукописи «Записки» имели название «Диариуш грешного иеромонаха Димитрия, постриженца Киевского Кирилловского монастыря» и представляют собой дневник от первого лица, воспроизводящий погодно автобиографию иерарха, с самого дня его рождения в городе Макарове на Украине и до января 1703 года, отмеченного смертью отца Димитрия Ростовского. Далее записи, вплоть до кончины святителя (28 октября 1709 года), следуют от третьего лица, раскрывая уже его деятельность сначала в Москве, куда он приехал по царскому указу в феврале 1701 года, а потом с 1702 года — в Ростове, в сане митрополита. Ценность этих записок, фиксирующих много попутных фактов политической и церковной истории как России, так и Украины, определяется еще и тем, что в их составе находятся письма Димитрия к другим церковным иерархам тех лет, в частности к местоблюстителю патриаршего престола Рязанскому митрополиту Стефану Яворскому, известному переводчику, директору Печатного двора в Москве Федору Поликарпову и другим.

Несомненно, что публикация подобных материалов, внешне обращенных к старине, имела скрытую оппозиционную направленность против политики, которую проводили официальные власти по отношению к Православной церкви. Положение Русской церкви в XVIII веке действительно было незавидным, и причины этого я уже рассматривал в I главе. Уничтожение патриаршества и введение Петром I в 1721 году Святейшего Правительствующего Синода — коллективного органа управления делами Церкви, подотчетного монарху и руководимого назначаемым светской властью обер-прокурором, — означали фактически санкционированную свыше скрытую реформацию. На это в свое время уже обратил внимание Г. Флоровский, который видел в церковных реформах Петра I сознательное и целенаправленное «лишение церкви самостоятельности и независимого круга дел — ибо государство все дела <стало> считать своими».[56] По справедливому наблюдению Г. Флоровского, «духовенство в России с

Петровской эпохи становится „запуганным сословием", оттесняясь в социальные низы. А наверху устанавливается двусмысленное молчание».[57] Последовавшее за реформами Петра массовое приобщение дворян к нормам европейской культуры имело своим следствием ослабление конфессиональной сплоченности национального сознания. Возникает своеобразный разрыв между дворянством и низшими слоями населения, в основном крестьянством, остававшимся устойчивым хранителем отечественных традиций как в сфере бытовой культуры, так и в области вероисповедания. Этот разрыв между духовными потребностями разных социальных слоев заключал в себе, по существу, историческое противостояние между прошлым, сохранявшимся от нравов Московской Руси, и настоящим, ознаменовавшим возникновение на краю Европы новой империи. Но он же создал в России ситуацию некоего духовного вакуума, заполнение которого нередко носило формы беспорядочного, случайного заимствования всего, что к этому времени имела в своем активе западноевропейская художественная и научно-философская мысль.

Новый виток ужесточения секуляризационных тенденций в политике высшей власти по отношению к Церкви приходится на время царствования Екатерины II. В ноябре 1762 года была создана комиссия о духовных имениях и о сочинении духовных штатов. Она должна была подготовить предложения по сокращению числа монастырей и значительного уменьшения размеров церковного землевладения. Разработанные этой Комиссией решения легли в основу правительственного манифеста от 26 февраля 1764 года, согласно которому церковная и монастырская земельная собственность была сведена к минимуму: к государству перешло около 8.5 млн десятин земли и свыше 1 млн душ крестьян. Все монастыри переводились на штатное финансирование, в результате чего бóльшая часть монастырей вынуждена была закрыться. Из 954 монастырей (732 мужских и 222 женских), существовавших к тому времени в России, осталось только 200 монастырей (161 мужской и 39 женских). Единственным из русских иерархов, выступивших с резким осуждением предпринятых правительством Екатерины II мер по ограничению монастырского землевладения и конфискации церковных имуществ, был Арсений Мациевич — митрополит Ростовский. За это в марте 1763 года он был осужден Святейшим Синодом, лишен митрополичьего сана и сослан в чине простого монаха сначала в Ферапонтов монастырь, а позднее — в Анзерский скит Соловецкого монастыря. Дальнейшая судьба так и не смирившегося низложенного ростовского митрополита была ужасна: лишенный в 1764 году и монашеского чина, он скончался в каземате Ревельской крепости в 1772 году.

Новиков не мог открыто выражать свое несогласие с политикой императрицы. Обсуждение политических проблем современности не входило в задачи издания, обращенного исключительно

к прошлому. Но вряд ли в глубине души редактор «Вивлиофики» одобрял секуляризационные акции правительства. О его позиции мы можем судить, конечно, только гипотетически, основываясь на подборе публикуемых материалов. И надо признать, что такой подбор (характер его частично был продемонстрирован выше) способен был открыть современникам больше, чем голые декларации. История говорила сама за себя. Воскрешая из небытия, казалось бы, утратившие какое-либо значение исторические документы, Новиков — либо по аналогии, либо по контрасту — превращал прошлое в источник уроков для современности. Так, в 1776 году им была опубликована книга «История о невинном заточении ближнего боярина А. С. Матвеева». Видный политический деятель, дипломат, любимец царя Артамон Сергеевич Матвеев сразу после смерти Алексея Михайловича происками семьи Милославских был удален от царского двора и сослан в Пустозерск. В сборнике были помещены челобитные Матвеева к царю и тогдашнему патриарху Иоакиму, а также грамоты, которые опальный боярин посылал московским боярам из пустозерского острога в 1676 году и позднее. Близость к царю не спасла Матвеева от заточения. Близость к Нарышкиным после смерти Федора Алексеевича стала причиной и его трагической смерти от рук взбунтовавшихся стрельцов в мае 1682 года.

Новиков не включал материалы о Матвееве в свое издание. Но как бы в пику проводившейся Екатериной II политике по конфискации церковного и монастырского имущества он публикует на страницах «Вивлиофики» другие документы, раскрывавшие отношения Церкви с княжеской властью на заре становления русской государственности, наполнявшиеся в контексте политических событий второй половины XVIII века жгучей актуальностью. Так, во II части издания был помещен «Устав по Греческим номоканоном Святого великого и равноапостолом Самодержца Руския земли, великого князя Владимира Киевского и всея Руси, крестившего всю Русскую землю: о церковных судех и о десятинах, и о церковных людех» (Ч. II. С. 146—159). Это известнейший памятник древнерусского права, возникший, по мнению ряда исследователей, еще в домонгольский период и сохранившийся в огромном количестве списков (около 200), отражавших разные редакции текста памятника с XIV по XIX век.[58] Известный более под кратким названием «Устав святого князя Владимира, крестившего Русскую землю, о церковных судех и о десятинах» памятник обосновывал имущественное обеспечение Церкви на Руси и определял нормы юридических отношений между Церковью и княжеской властью. В Уставе, написанном от первого лица, устанавливался порядок обязательного десятинного сбора в пользу Церкви с имущества и доходов мирян, не исключая и князя, а также был твердо заявлен суверенитет Церкви в ее отношениях со светской властью и определены границы прерогатив церковного

судопроизводства: «Венчания, молитвы, обручения и сих преобидения ⟨...⟩ промеж мужем и женою нестроения и брани, и о животе их, и о душах их ⟨...⟩ не ставящих на церкви креста, воздвизающих церкви без благословения святительского, законопреступления, еретичество, ведовство, потворы, чародеяние, ворожа, волхвование ⟨...⟩ Аще мертвецы обнажат. Аще святым церквам поругаются, или честным крестом, или иконам их ⟨...⟩ Те все суды от Бога священным церквам даны суть изначала прежде нас. И законы и правила установлены святыми Апостолы и святыми богоносными Отцы».[59]

Устанавливая объявленный правопорядок, Владимир ссылается также на авторитет византийских правителей, приобщая себя к этой традиции и предрекая «гнев и горе» для тех, кто «преобидит сей устав». В конце Устава после перечисления всех категорий прямых и косвенных служителей Церкви (и представителей клира, и просто входящих в круг лиц, разделяющих обязанности по обслуживанию интересов Церкви), подлежащих юрисдикции только церковного суда, князь вновь завещает своим потомкам и всем власть предержащим соблюдать предписанные правила под угрозой проклятия в случае их нарушений: «...а кто имеет поругати и преступити сия правила — или дети мои, или внуци мои, или правнуцы, или по тех Князи и бояре, или в которых городах Наместницы, или судьи, или тиуны, аще имут поругати и обидети те священныя суды, и управы, и доходы, и пошлины церковныя, святительския или отымати, да будут прокляты в сей век и в будущей, и от Святых Апостол и от седми Соборов святых Отец вселенских».[60]

Трудно найти слова, которые бы служили бо́льшим укором Екатерине II при проводившейся ею политике по отношению к Церкви, чем приведенное заключение из Устава князя Владимира. Новиков опубликовал документ по списку сравнительно поздней, так называемой Троицкой, редакции, относившейся к XVI веку и содержавшей ряд сведений, отсутствовавших в более ранних редакциях — о крещении Владимира в Херсоне и крещении Руси при митрополите Михаиле.[61] Но это не отменяло пафоса отстаивания интересов Церкви, гарантом которых выступал высший правитель Руси, великий князь. Как назидание царствующей императрице в глазах читателей XVIII века могли звучать и слова, обращенные прямо к царю из поучения патриарха Иоакима в ходе венчания на царство Феодора Алексеевича, происходившего 16 июня 1676 года, описание обряда которого было помещено в части VI «Вивлиофики»: «...имей страх Божий в сердце и сохрани Веру нашу истинную православную христианскую Греческого Закона чисту, непоколебиму, и соблюди царство свое чисто и непорочно, яко же ныне принял еси от Бога, и люби правду и милость, и суд правый к послушным милостивно, ко святей же Соборной церкви и ко всем святым церквам имей Веру и страх Бо-

жий <...> и ко святым честным Монастырем велию Веру держи подданней Ти от Бога Царстей власти...».[62] И подобные примеры в материалах «Вивлиофики» встречаются довольно часто.

Еще один ряд материалов объединяется темой дворянства. В них раскрываются генеалогические корни знатнейших фамилий русского дворянства и их роль в отечественной истории. Этот слой публикаций спроецирован на одну из узловых проблем XVIII века — на проблему истинного достоинства дворянина. Для Новикова мерилом такого достоинства было служение отечеству. Так, в III и IV частях «Вивлиофики» были напечатаны «Записки о службе и награждениях князя Василия Васильевича Голицына» за 1684—1686 годы, включавшие в себя челобитные и указы, касавшиеся деятельности князя в тот краткий период, когда управлением делами государства ведала царевна Софья, а сам Голицын фактически был главой правительства. Представители этого известнейшего в России княжеского рода занимали в XVIII веке крупнейшие посты в государственных структурах власти, особенно в петровское время и сразу после смерти Петра. Достаточно, например, указать, что князь Дмитрий Михайлович Голицын (1665—1737), президент Камер-коллегии и сенатор, являлся влиятельнейшим членом Верховного тайного совета и возглавил попытку ограничения самодержавия в 1730 году, правда безуспешную, а другому Голицыну, Борису Алексеевичу (1654—1714), во время путешествия Петра I в Европу в 1697—1698 годах в составе Великого посольства было доверено участвовать в управлении страной на период отсутствия царя. Наконец, назову Михаила Михайловича Голицына (1675—1730), начавшего службу солдатом Гвардии Семеновского полка в 1682 году и являвшегося сподвижником Петра I во всех крупнейших битвах и военных походах периода его царствования. Он участвовал в неудачном сражении под Нарвой 1700 года и в осаде Шлиссельбурга, и в сражении под Лесным, и в Полтавской битве, и в двух знаменитых морских сражениях при Гангуте и близ острова Гренгам. Проведенная под его руководством высадка десанта на Шведскую территорию в мае 1721 года решила фактически исход Северной войны. Новиков помещает в IV части материал «Род князей Голицыных. Родословные таблицы и духовные грамоты князей Голицыных». В нем содержались сведения о происхождении рода князей Голицыных от потомка Гедемина великого князя Литовского, сын которого Наримуд стал родоначальником этого княжеского рода. Подробно перечислялись все представители рода, их потомки, с характеристикой их деятельности и заслуг перед государством. Генеалогические списки охватывали временной промежуток от XIV до второй половины XVIII века, фиксируя всех членов семейства Голицыных, родившихся до начала 1770-х годов. В конце родословных списков было опубликовано изображение герба князей Голицыных.

В части V «Вивлиофики» был помещен генеалогический список «Родословие князей Куракиных» с приложением родословной таблицы. Таким же образом, как и в предыдущем материале, рассказывалось о происхождении рода Куракиных, также от потомка Гедимина, выходца из Литвы, вступившего в службу Московского великого князя Василия Дмитриевича в 1408 году. Родословие также прослеживается до середины 1770-х годов с сообщением кратких сведений о заслугах особо отличившихся представителей рода. Наиболее подробный очерк сопровождает справку о Борисе Ивановиче Куракине (1677—1727) — известном дипломате петровского времени, бывшем послом во Франции в последний период царствования Петра и там скончавшемся.

В той же V части издания Новиков опубликовал любопытнейший материал — «Житие милостивого мужа Феодора Ртищева». Это не документ в обычном смысле, но и не художественное произведение в чистом виде. Перед читателем представала биография боярина, добродетельного мужа, вся жизнь которого выглядит как непрекращающийся духовный подвиг или, говоря словами неизвестного автора, — обретение «многоценного бисера» жизни вечной. Ртищеву принадлежала заслуга основания в 1649 году Преображенского монастыря, превращенного его усилиями в центр распространения знаний, куда он пригласил ученых монахов с Украины для перевода иностранных книг на русский язык и обучения желающих риторике, греческой и латинской грамматике и философии. Какое-то время он примыкал к «кружку ревнителей благочестия», в который входили протопоп Аввакум и священник Казанского собора Иван Неронов вместе с будущим патриархом Никоном. Позднее Царь Алексей Михайлович назначил его быть воспитателем («дядькой») царевича Алексея Алексеевича. Его неоднократно пытались оклеветать перед царем. Но бескорыстие, кротость и постоянное смирение делали его неуязвимым для врагов. В последний период своей жизни (Ртищев умер в 1673 году) он основал на свои деньги больницу для бедных, а для престарелых устроил богадельню. На церковном соборе 1681 года уже при царе Федоре Алексеевиче царь предложил патриарху и епископам продолжить этот почин в других городах страны, и предложение было принято. Это послужило началом «основания целой системы церковно-благотворительных учреждений, постепенно возникавших с конца XVII века».[63] У истоков этого гуманного дела стоял Ф. М. Ртищев. Смерть его, как рассказывает биограф, сопровождалась чудесными знамениями.

Так Новиков раскрывает уровень духовности жизни предков. Повторяю, голос самого издателя отсутствует на страницах «Вивлиофики». Он заставляет говорить за себя бесстрастные документы. И для внимательного читателя сравнение их с положением, существовавшим в общественных нравах XVIII века, было не в пользу современности.

В VII части Новиков опубликовал документ, по-видимому связанный со служебной деятельностью кого-то из своих предков по отцовской линии: «Наказ Андрею Новикову о бытности его в Свияжске» (1624). Эта коротенькая инструкция по проведению ревизии в Свияжске, исходившая от царя Михаила Федоровича, свидетельствовала о примерной службе дворян Новиковых царю.[64] К этого же рода публикациям примыкают и помещенные в VIII части «Жалованные грамоты на дворянство», а также два документа, напечатанные в последней X части, относящиеся к петровскому времени. Это «Жалованная грамота Адмиралу и Генералу Лефорту за службу Азовского похода 7204 (1696) года» и «Жалованная грамота боярину и воеводе Алексею Семеновичу Шеину за Азовскую службу 7204 (1696) года». Оба были ближайшими помощниками Петра I, обеспечившими успех в операции по взятию крепости Азов — первой серьезной победы молодого царя.

Выделенные мною и рассмотренные в самых общих чертах проблемные рубрики издания Новикова, конечно, не покрывают всего содержательного богатства «Древней Российской Вивлиофики». О ее востребованности у современного читателя лучше всего свидетельствовал тот факт, что уже в 1782 году было выпущено 2-е издание «Вивлиофики», а в 1788—1791 годах Новиков предпринял новое, значительно расширенное, переиздание ее в составе 20-ти томов. На этот раз публикуемые материалы были систематизированы.

Главная заслуга Новикова-журналиста, предпринявшего этот уникальный опыт в области историографии, состояла в том, что он использовал периодическую печать для ознакомления массового читателя своего времени с отечественной стариной. История жизни предков во всей безыскусственной простоте нравов прошлых времен, с ее строгой ритуальностью, с ее неторопливым достоинством и свободой от моды, тем более чужестранной, оживала мысленно перед глазами читателей XVIII века. Открытием этого мира Новиков как бы восстанавливал связь прошлого с настоящим, нарушенную частично реформами Петра I.

Стремление реабилитировать прошлое проявилось у Новикова еще до издания «Вивлиофики», когда в 1772 году он выпустил «Опыт исторического словаря русских писателей», имевший целью осмыслить пройденный национальной литературой исторический путь развития. Это было своеобразным подведением итогов становления культурного самосознания, «старанием о сохранении памяти своих писателей». Ссылаясь на переводы отдельных сочинений русских писателей на европейские языки, Новиков высказывает убеждение в достижении известной зрелости литературы, что в свою очередь выдвигало задачу бережного отношения к традициям.

Привлекательной стороной содержания «Опыта исторического словаря...» было то, что Новиков включил в него сведения о

древнерусских авторах. По тому времени число таких авторов было значительно — около 16 имен, от легендарного Нестора и до современников Петра — святого Дмитрия Ростовского и местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского. Малоизвестный читателю XVIII века мир письменной культуры Древней Руси оживал в сведениях об Авраамии Палицыне, очевидце событий Смутного времени, авторе повествования об осаде Троице-Сергиева монастыря, в статьях о деятельности патриарха Никона и Московского митрополита Макария, исправлявшего в XVI веке «Степенную книгу» Киприана, и в статье о силлабическом стихотворстве Симеона Полоцкого, и в ряде других материалов словаря. Тем самым Новиков утверждал идею неразрывности развития национальной литературы — от древности и до середины XVIII века. Уничтожался миф о невежестве и дикости нравов, якобы отличавших жизнь россиян допетровского периода истории России.

Издавая «Вивлиофику», Новиков делал следующий шаг по ознакомлению современников с прошлым. Впрочем, защите этого прошлого, отстаиванию исконных ценностей духовной культуры, существовавшей в Древней Руси, и прежде всего нравов и обычаев предков, он будет отдавать свои силы и в других периодических изданиях. Но об этом речь пойдет в следующей главе.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 *Montesquieu Ch.* Oeuvres completes... T. II. Manheim, 1801. P. 150.
2 *Ключевский В. О.* Сочинения: В 9 т. М., 1989. Т. VII. С. 221—222.
3 *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII—первая пол. XIX в.). М., 1985. С. 36.
4 *Сумароков А. П.* Драматические сочинения. Л., 1990. С. 84.
5 *Манкиев А. И.* Ядро российской истории... М., 1770. С. 22.
6 *Сумароков А. П.* Драматические сочинения. Л., 1990. С. 272.
7 Там же. С. 251.
8 Там же. С. 250.
9 Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 119 (перевод с нем.).
10 Сб. русского исторического общества. СПб., 1872. Т. X. С. 31.
11 Там же. С. 84.
12 Там же.
13 Там же. С. 87.
14 *Екатерина II.* Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта Нового уложения. СПб., 1820. С. 225.
15 Сб. русского исторического общества... С. 87.
16 *Екатерина II.* Наказ... С. 225.
17 Сб. русского исторического общества. С. 87.
18 *Татищев В. Н.* История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 85.
19 *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. ... Ч. XI. М., 1781. С. 185—186.

[20] Там же. С. 226.
[21] Там жс. С. 227.
[22] *Татищев В. Н.* История Российская. Л., 1968. Т. 7. С. 178. На наличие некоторых ошибок в сообщаемых Татищевым сведениях о связи ссылки Матвеева с доносом на Сумарокова указывал Е. Замысловский в своем исследовании «Царствование Федора Алексеевича» (СПб., 1871. Ч. 1. С. 05).
[23] *Сумароков А. П.* Полн. Собр. всех соч. ... Ч. VI. С. 204—205.
[24] Там же. С. 189.
[25] Там же.
[26] Там же. С. 190. Курсив мой. — *Ю. С.*
[27] Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого. М.; Л., 1985. Ч. 1. С. 108.
[28] О научных связях Татищева со шведскими историками подробно писал А. И. Андреев в статье «Труды В. Н. Татищева по истории России» // Татищев В. Н. История Российская. М.; Л., 1962. Т. I. С. 7—10.
[29] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. ... Ч. X. С. 158.
[30] Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга... Ч. I. С. 167.
[31] Там же.
[32] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. С. 158.
[33] Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.; Л., 1951. С. 63.
[34] Древняя Российская Вивлиофика... Ч. I. СПб., 1773. С. 5—6.
[35] Там же. С. 95.
[36] Там же. С. 102.
[37] Там же. 1775. Ч. VII. С. 317.
[38] Там же. Ч. IX. С. 10.
[39] Там же. 1774. Ч. IV. С. 37—38.
[40] Там же. С. 38—39.
[41] Там же. Ч. V. С. 152.
[42] Там же. С. 252.
[43] *Исаак Масса.* Краткое известие о Московии в начале XVII века. М., 1937. С. 98.
[44] Древняя Российская Вивлиофика. Ч. IV. СПб., 1774. С. 53.
[45] Там же. С. 88.
[46] Там же. С. 88—89.
[47] Там же. С. 86.
[48] Там же. С. 323—324.
[49] Там же. Ч. I. С. 71, 75.
[50] Там же. С. 229—230.
[51] Там же. Ч. II. С. 20.
[52] Там же. С. 22—23.
[53] Там же. Ч. I. С. 175.
[54] Там же. С. 183—184.
[55] Там же. 1774. Ч. IV. С. 125, 128.
[56] *Флоровский Г.* Пути русского богословия. 4-е изд. Париж, 1988. С. 83.
[57] Там же. С. 89.
[58] Публикация 11-ти изводов из 6-ти редакций этого памятника содержится в книге «Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв.». Изданис подг. Я. Н. Щапов. М., 1976. С. 12—81.
[59] Древняя Российская Вивлиофика. Ч. II. С. 150—152.

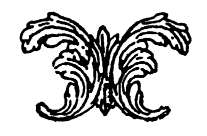
[60] Там же. С. 155–156.

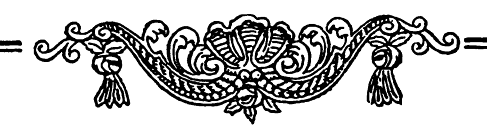
[61] Древние княжеские уставы. XI–XV вв. С. 75.

[62] Древняя Российская Вивлиофика. Ч. VI. С. 130.

[63] *Ключевский В. О.* Сочинения в девяти томах. Т. III. М., 1988. С. 313.

[64] Как явствует из примечания в конце публикации, документ хранился в домовом архиве Н. И. Новикова // Древняя Российская Вивлиофика. Ч. VII. С. 444.





Глава IV

ПОЛЕМИКА О ДРЕВНИХ НРАВАХ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ЗНАЧЕНИЯ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА

(Екатерина II, И. Н. Болтин, М. М. Щербатов)

Качественно новая культурно-идеологическая ситуация складывается в России после вступления на престол в июне 1762 года Екатерины II. Став императрицей, она открыто объявляет себя приверженкой новейших теорий европейских мыслителей века Просвещения и делает ставку на проведение политики «просвещенного абсолютизма». Стремясь постоянно выступать в роли продолжательницы дела Петра I, императрица очень искусно создает впечатление сопричастности подданных предпринимаемым ею для общего блага акциям. В то же время Екатерина II очень ревниво следит за пропагандистским обеспечением проводимой ею политики. Пропаганде ее просветительских начинаний служит многолетняя переписка Екатерины II с европейскими деятелями культуры просветительского лагеря, в частности с д'Аламбером, Вольтером, М. Гриммом. Она осыпает милостями Д. Дидро, купив у него при жизни богатейшую библиотеку и вызвав философа в Россию в 1773 году, где проводит с ним время в беседах. В этих отношениях с просветителями Екатерина II предстает тонким тактиком, никогда не забывающим о своем сане монархини крупнейшей европейской державы, но умеющей при этом выглядеть послушной ученицей философов. Данная сторона политической биографии Екатерины II достаточно полно исследована в научной литературе, чтобы на ней останавливаться подробно.[1] В свете проблематики настоящей монографии гораздо важнее рассмотреть то влияние, какое просветительские установки в политике императрицы оказали на формирование новых подходов к осмыслению положения России в европейском мире и дальнейшего роста национального самосознания. Важно при этом сравнить поведение Екатерины II на троне в качестве проводницы передовых идей с действиями первого великого преобразователя российского государства Петра I.

Для Екатерины обращение к просветительским доктринам было продуманным сознательным актом, итогом умственной работы. Она штудировала философские и исторические труды. Она шла к проведению просветительской политики от теории, руководствуясь идеями Монтескье, Беккариа, позднее Блэкстона.

Петр в своих реформаторских начинаниях шел от реальности. Он был практик и, встав на путь преобразований, ценой прагматических проб и ошибок стремился к намеченной цели, руководствуясь одним желанием — преобразовать страну по европейским меркам, вывести Россию из состояния отсталости. При этом Петр осознавал непререкаемость своего права на проведение политики в тех формах и теми средствами, какие считал нужными в настоящий момент. Он строил флот, основывал города, реформировал армию, заводил мануфактуры, насаждал науки и искусства — и все это почти на пустом месте ценой многочисленных жертв, при помощи постоянного насилия и принуждения. Сопротивление, которое приходилось преодолевать Петру I, ломая старые устои жизни, было достаточно сильно. И он пресекал его решительно и жестко. Его «Указ о единонаследии», знаменитая «Табель о рангах», уничтожение института патриаршества, вылившееся в учреждение Святейшего Синода и практическое подчинение Церкви верховной светской власти — все это были меры, продиктованные интересами унитарной государственности, основанной на принципах абсолютизма. В глазах мыслителей эпохи Просвещения Петр I, будучи просветителем своей нации, действовал как деспот. Но для Петра конечным критерием при принятии политических решений было не мнение Европы, а интересы российской государственности.

Для Екатерины II, вступившей на российский престол юридически незаконно, в результате дворцового переворота, утверждение своего морального права на власть составляло чуть ли не первоочередную задачу. Она чутко следила за колебаниями общественного мнения, особенно европейского, болезненно реагируя на любые критические высказывания в свой адрес. И здесь следует искать одно из объяснений ее повышенного стремления к установлению контактов с просветителями. Ограничусь в этой связи одним красноречивым примером. Для большинства современников ее многолетняя переписка с Вольтером и бароном М. Гриммом, ее заботы о благосостоянии семьи Д. Дидро воспринимались как практическое осуществление того союза монархов с философами, о котором мечтали мыслители. Гуманная поддержка «северной Семирамидой» нуждавшегося в деньгах лидера энциклопедистов, ее внимание к властителям дум эпохи призваны были поднять ее авторитет в глазах общественного мнения Европы. Но мало кто при этом знал, что благодаря вмешательству Дидро была нейтрализована опасная для Екатерины II перспектива опубликования во Франции сочинения К. Рюльера «История рево-

люции в России 1762 г.» (C. C. Rulhiere. «L' histoire de la révolution de Russie 1762 année»), в которой раскрывались многие детали и тайные пружины совершенного в пользу Екатерины дворцового переворота. Кроме Дидро и Гримма о содержании рукописи Рюльера в Европе знали лишь единицы, и при жизни императрицы сочинение осталось ненапечатанным. Можно напомнить и о признательности Екатерины Вольтеру, одернувшему Ж.-Ж. Руссо, допустившего нелестную оценку состояния России при Петре I в трактате «Об общественном договоре», а также о неоднократных демаршах с ее стороны по поводу оскорбительных для России и для русской монархии высказываний, раздававшихся в сочинениях отдельных европейских писателей и историков, на чем ниже еще придется остановиться.

Сказанное помогает понять далеко не однозначную мотивацию поведения Екатерины II в ее стремлении проводить политику «просвещенного абсолютизма». Больше всего ее страшила перспектива выглядеть на троне деспотом, т.е. как раз то, в чем европейские просветители нередко упрекали Петра I. Деспотический характер тех средств, которые зачастую использовал монарх-реформатор для преобразования страны, обусловливался в глазах философов варварскими нравами и невежеством ее жителей. Теперь Екатерина II оказалась в положении наследницы дел великого преобразователя. Призванная быть продолжательницей просветительских начинаний Петра I, она осознает свою ответственность за состояние страны и предпринимает конкретные меры по дальнейшему распространению в России образования, наук, по упорядочиванию законодательства и гуманизации воспитания. Нравственное состояние общества, нравы подданных — вот что теперь составляет особую заботу императрицы. И пожалуй, именно в период ее правления в России создаются условия для формирования общественного мнения, независимого от официальных правительственных установок. Примечательно при этом постоянное стремление Екатерины II лично участвовать в процессе либерализации культуры.

В начальный период своего царствования Екатерина II прямо способствует популяризации в России сочинений европейских авторов, где концепция «просвещенного абсолютизма» противопоставлялась примерам деспотического самовластья. К таким акциям императрицы относится организация ею перевода романа Ж.-Ф. Мармонтеля «Велизарий» в 1767 году, в котором она лично участвует. Ее инициатива по изданию в 1769 году нравоучительного журнала «Всякая всячина» открыла дорогу массовой журналистике и способствовала резкому всплеску активности оппозиционно настроенной сатиры. Еще через три года Екатерина II пробует свои силы на поприще комедиографии, оказав определенное влияние на развитие отечественной драматургии в данном жанре. Наконец, серьезные последствия для оформления целого

направления литературы, вылившегося позднее в источник вольнолюбивых идей в поэзии и драматургии, имело обращение Екатерины II к сочинению исторических пьес в середине 1780-х годов. Ее историческая хроника в подражание Шекспиру «Из жизни Рюрика» открыла в литературе тему древнего Новгорода, вызвав появление мятежной трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский».[2]

Взяв на себя смелость актуализировать традиции исторических хроник Шекспира, императрица вновь выступает невольным новатором, создавая прецедент идеологизации исторической темы на материале переосмысления летописных источников. Насколько данный опыт Екатерины II был в художественном отношении удачным, это другой вопрос. Но политическая подоснова ее внезапного интереса к опыту Шекспира была несомненной. Обращение к русской истории, к самому древнему ее периоду, связанному со становлением русской государственности, важно было императрице для отстаивания вполне определенных идеологических целей. Сюжетную основу пьесы Екатерины II «Из жизни Рюрика» составила летописная легенда о призвании в Новгород Гостомыслом варяжских князей — Рюрика, Синеуса и Трувора и о последовавшем за этим восстании против Рюрика, которое, как сообщалось в летописи, возглавил местный князь Вадим Храбрый. Согласно летописной версии, перешедшей в труды историков, Вадим после подавления восстания был убит Рюриком. Под 6377 (869) годом Новгородская летопись сообщала: «В сии времяна словяне бежали от Рюрика из Новгорода в Киев, зане убил Водима, храброго князя словенского, иже не хотеша яко рабы бытн варягом».[3] Но в пьесе Екатерины II эта версия претерпела существенные изменения. Ее Рюрик в финальной сцене милостиво прощает побежденного бунтаря. Протест Вадима в пьесе лишен идеологической мотивации, поскольку вождь восставших новгородцев представлен просто жертвой непомерного честолюбия и своеволия. Рюрик же выведен мудрым и милостивым правителем. И сам отбор материала, трактовка летописных источников в пьесе императрицы должны были подтверждать идею благодетельности для России самодержавной формы государственной власти, ее исконность на Руси. По-своему трактуя нравы и образ мышления предков россиян, Екатерина II стремилась представить нормы отношений народа и его правителей в идеально приукрашенном свете. Древность вновь включается в отстаивание доктрин, порожденных современностью. И в контексте утверждения концепции «просвещенного абсолютизма» идеализация образа основателя первой великокняжеской династии на Руси, и к тому же выходца из варягов, вполне соответствовала политическим интересам императрицы.

Замысел создания рассмотренной пьесы возник у Екатерины II не случайно. Этому предшествовали ее занятия русской ис-

торией, к которым она обратилась в 1783 году. Решение заняться изучением истории появилось у императрицы после того, как она ознакомилась с вышедшими во Франции в начале 1780-х годов капитальными трудами по истории России, принадлежавшими Н. Левеку и П.-Ш. Леклерку. Книги изобиловали ошибками и в ряде случаев грешили явной предвзятостью по отношению к прошлому страны и ее национальным традициям. Стремлением противопоставить измышлениям французов собственное видение древней российской истории и объясняется написание Екатериной II «Записок касательно Российской истории», которые частями начали публиковаться ею уже в 1783 году в журнале «Собеседник любителей российского слова». О своей работе над «Записками...» она признавалась в письме к барону Гримму от 19 апреля 1783 года: «Вы будете трепетать от страха, когда узнаете, что для вас переводится на немецкий язык первая эпоха истории России, т.е. от сотворения мира до 862 года... Это будет противоядием негодяям, уничижающим историю России, таким как врач Леклерк и учитель Левек, оба скоты, и, не прогневайтесь, скоты скучные и гнусные».[4]

Помимо императрицы в полемику с французскими авторами вступили и другие русские историки, на чем ниже я еще остановлюсь. Пока же замечу, что для Екатерины II, обратившейся к изучению истории с целью защиты достоинства российского государства и его прошлого, упомянутый эпизод был частью ее культурно-идеологической политики. Императрице не в первый раз пришлось брать на себя роль защитницы отечественного прошлого перед лицом его дискредитации со стороны европейских авторов. Не в первый раз приходилось ей сочинять и «противоядие» измышлениям французов относительно нравов русских людей и истории России. Я имею в виду историю с «Антидотом», в которой Екатерина II играла главную роль.

В 1783 году в III части журнала «Собеседник любителей российского слова» были помещены вопросы, затрагивавшие важнейшие стороны тогдашней общественно-политической жизни. Автором вопросов был Д. И. Фонвизин. Отвечать на них взялась сама императрица, бывшая негласным соредактором журнала. Среди многих других вопросов принципиальное значение имел последний вопрос: «20. В чем состоит наш национальный характер?» Для Екатерины II, немки по национальности, это был экзамен на понимание духа русской нации, которой ей волею судьбы приходилось управлять в течение нескольких десятилетий. Важность вопроса состояла еще и в том, что в нем ставилась проблема национальной самобытности, утраченной в среде русского дворянства после петровских преобразований в результате повального увлечения дворян европейской модой. В сатирических журналах Новикова, в комедиях Сумарокова и самого Фонвизина эта социальная болезнь забвения отечественных нравов и традиций

была высмеяна. Теперь этот вопрос был поставлен перед Екатериной II. И, надо сказать, императрица с честью вышла из положения. Ее ответ гласил: «На 20. В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от Творца человеку данных».[5] В этом ответе Екатерина проявила себя как человек, облеченный властью. Она фактически программировала представление об идеальных свойствах характера русского человека, которые, по мнению императрицы, могли бы составить основу гармоничного согласия между монархом и его подданными.

Принято считать, что этот заочный диалог сатирика с императрицей послужил исходной точкой для обращения к проблеме национального характера в русской литературе последней четверти XVIII века. Будучи осмыслена на материале событий национальной истории, эта проблема стала оплодотворяющим фактором, определившим пафос многих произведений тех лет. Она получила свое отражение в пьесе Екатерины II «Из жизни Рюрика» (1786), в трагедиях Я. Б. Княжнина «Росслав» (1783) и «Вадим Новгородский» (1789). Ей посвятил программную статью в журнале «Зритель» П. А. Плавильщиков «Нечто о врожденном свойстве душ российских» (1793), а в журнале «Корифей» (1802) появилось «Мнение о характере русских». Тема исконных добродетелей национального характера предков россиян будет затрагиваться и в прозе Н. М. Карамзина — в повестях «Наталья боярская дочь», «Лиодор», а также в «Письмах русского путешественника».

Однако в общем контексте событий литературной жизни 1760—1790-х годов обращение Фонвизина в редакцию «Собеседника...» со своим вопросом о свойствах национального характера русских следует рассматривать как не начало, а как завершение полемики, имевшей свою историю и своих оппонентов задолго до Фонвизина.

В январе 1769 года в Петербурге начал анонимно выходить журнал «Всякая всячина». Инициатором и одним из основных участников этого издания была сама императрица. На скрытую политическую подоплеку данной акции Екатерины II уже не раз указывали исследователи литературы.[6] Инициатива императрицы дала импульс активизации журнальной периодики. Впервые в русской литературе в ходе журнальной полемики обозначилось противостояние демократически настроенных литераторов идеологическим установкам правительства. В числе других вопросов, вызвавших обостренный интерес со стороны читательских кругов и отдельных писателей, был вопрос о состоянии отечественных нравов, впервые выдвинувший на передний план проблему национального характера. Инициатором в ее постановке явилась как раз «Всякая всячина», первая предпринявшая обсуждение свойств национального русского характера, но весьма специфическим способом. В листе 5 журнала редакция поместила письмо от

некоего *Евдокима Примечаева* (в мистификации этой корреспонденции не приходится сомневаться), в котором тот сообщал о своем увлечении с молодых лет изучением обычаев и нравов разных народностей, «дабы их начало спознать». «Часто я видел или думал по крайней мере видети, что не все то народу какому ни есть природно, что у него в обыкновении». И далее Примечаев конкретизировал свою мысль: «...много о чем мы думаем, что то есть или был наш обычай; напротиву того, он к нам прильнул от старинных злодеев наших *Крымских татар*. Смело можно разделить наши обычаи на два рода: первые — *природные*, другие — *Татарские*. Все хорошие обычаи суть природные Российские; все же дурные суть Татарские. В следующей росписи усмотреть можете некоторую часть последних: но я признаться должен, — замечает автор письма, — что она не весьма полна; со временем оную дополню».[7]

«Роспись» татарских обычаев «Всякая всячина» не сочла нужным публиковать, оставив ее у себя, «чтобы делать из оной употребление». Но письмо Примечаева было в журнале помещено. В том, что это письмо было инициировано «Всякой всячиной», трудно сомневаться, ибо о явной солидарности с мыслями г. Примечаева издатели журнала поспешили заявить тут же при его публикации: «В прочем мысли сего нашего корреспондента мы принимаем за законно рожденные наши и весьма ему благодарны за сообщение их».[8] Последствия не заставили себя ждать.

Уже в следующем 6-м листе журнала, комментируя письмо, по-видимому также явно мистифицированное, от некоей Агафьи Хрипухиной, издатели «Всякой всячины» сделали «употребление» росписи г. Примечаева. Та предложила осудить дурную привычку некоторых людей не держать данного ими слова. Редакция воспользовалась поднятым Хрипухиной вопросом, чтобы напомнить своим читателям об исконных нравах: «...не сдержать данного обещания есть обычай, по сообщенной нам росписи, о коей упоминается под числом 11 «Всякой всячины», *Крымских татар*: а старинный российский есть — сдержать данное слово, дабы не стыдно было; тут же изъятия нет, в безделице ли, или в важном деле; ибо обман все есть обман».[9] Обращает на себя внимание подчеркивание региональности обычаев: речь идет именно о крымских татарах, что было далеко не случайно, как мы увидим ниже.

Вновь отсылка к росписи татарских обычаев г. Примечаева встречается в листе 11, где издатели журнала отвечали на вопрос некоего *Агаба Саманукова*, «мотать ли ему или ворчать, что на ум взбредет?» После успокоительных советов своему корреспонденту относительно линии поведения по части мотовства редакция заключала свои рекомендации следующим рассуждением: «Мотать же и ворчать, что на ум взбредет, думаем, неприлично никому, а еще менее клеветать, злословить и просмеивать ближ-

него. Мода же таковая никогда не есть и не будет общая всем, а только той части людей, кои следуют *Татарским обычаям*».[10]

В подобной обстановке, вполне устраивавшей редакцию «Всякой всячины», протекало обсуждение инспирированного ею же вопроса. Отклики реальных и мнимых корреспондентов подтверждали позицию. Но были и другие мнения.

В числе литераторов, включившихся в обсуждение поднятого на страницах «Всякой всячины» вопроса, оказался и А. П. Сумароков, выступивший оппонентом курируемого императрицей журнала. Он пишет коротенькую статью «Противуречие г. Примечаеву», в которой оспорил главное утверждение корреспондента «Всякой всячины» о влиянии татар на развращение нравов предков. «Татары, не только благородные, но и остатки нижайших их отраслей, суть люди добрые; а народы их в добродетели всегда были отличны; и тако нравы их не могли нас никаким заразить худом».[11] Опровергая утверждения г.Примечаева, Сумароков попутно выдвигает собственную версию генезиса российского этноса и указывает на факторы, которые, по его мнению, определяли формирование отечественных нравов на самых ранних ступенях становления российской государственности. Естественно, источник падения нравов россиян он видит совсем в другом.

Есть серьезные основания предполагать, что первоначальные планы Сумарокова были связаны с публикацией своего эссе на страницах «Всякой всячины». Он был в числе первых корреспондентов этого журнала, где в листе 10 были опубликованы две его басни («Ось и бык» и «Блоха»). По-видимому, ознакомившись с содержанием «Письма г. Примечаева», он тут же отреагировал на него, послав издателям свою критическую заметку, выдержанную в резко полемических тонах. Однако редакция не сочла возможным поместить подобный материал на страницах своего журнала. Статья Сумарокова была опубликована анонимно в одном из февральских номеров другого журнала — издания М. Д. Чулкова «И то и сио». Косвенным свидетельством того, что материал, посланный Сумароковым во «Всякую всячину», не остался незамеченным, может служить несколько странный отклик на помещенное в листе 12 явно мистифицированное письмо в редакцию журнала от некоей Леонильды Критюхиной под названием «Критика без разума глупость». Вслед за помещением письма следовала короткая приписка от издателей «Всякой всячины», извещавшая, что «Письмо Акинфия Сумасбродова не будет внесено во Всякую всячину для того, что рыбак рыбака далеко в плесе видит».[12] Можно предположить, что под именем Акинфия Сумасбродова имелся в виду не кто иной, как Сумароков, пославший в редакцию журнала свои возражения на письмо г. Примечаева. Возникает, правда, вопрос, что имели в виду издатели «Всякой всячины», приводя несколько видоизмененную народную пословицу «Рыбак

рыбака видит издалека», ибо в ней содержался явный намек на скрытую солидарность с позицией Акинфия Сумасбродова, письмо которого тем не менее редакция отказывалась помещать на страницах журнала.

Для ответа на этот вопрос следует вновь вернуться к статье Сумарокова и рассмотреть его аргументацию в споре с г. Примечаевым относительно истинных причин упадка российских нравов. К решению этой проблемы Сумароков подходит исторически, обращаясь к истокам формирования русского этноса.

Сумароков исходит из убеждения, что свое происхождение наши славянские предки вели от кельтов, родственных скифам и что самое первое развращение нравов они получили от *сарматов,* предков поляков, завоеванных ими и влившихся в общеславянскую семью. Устанавливая скифские корни древних славян, Сумароков выводил представление о нравах своих предков через сопоставление их с нравами европейцев, которые и сравниваются с татарами: «Жестокосердные люди во всех народах сыскиваются»,[13] — замечает он. Жестокость скифских нравов отличается от жестокости европейцев, по мнению Сумарокова, только тем, что она обнажена, в то время как у европейцев она таится «под маскою, ради прикрытия от малоумных людей. 〈...〉 Лютый Татарин огрызается, лает и кусает, изгнанный из своего отечества Француз ластится, ласкает и кусает, но тот пес, который, ластяся, кусает, опаснее. Предки наши никогда лаянию Татар не подражали, а подражали только их истиннолюбию и геройству, которым они и сами не меньше их исполнены были...».[14]

Как видим, Сумароков, не столько дистанцирует нравы славянских предков от татарских, сколько сближает их в противопоставлении лицемерию французов, хотя о каком-либо отождествлении российских нравов с татарскими, как это часто делали европейские авторы, у Сумарокова также речи не идет: «...я очень далек от тово, — продолжает он, — чтобы Татар Французам предпочтить; ибо у Татар нет ни единыя школы. Но не было бы худа, ежели бы и у Французов школ было поменьше. 〈...〉 Истинная наука приводит к познанию Божества и человечества, а суетное и обремененное мудрование приводит к заблуждению, суеверию и безбожию. Татары имели основание на мужестве и истине, и нас никогда не портили; а портят благородное Российское юношество французские худонравные учители. 〈...〉 Вот причина нашего развращения, а не Татары».[15]

Редакция «Всякой всячины» не сочла возможным поместить посланное Сумароковым возражение на страницах своего журнала. Прежде всего, это противоречило ее долгосрочным планам, с которыми было связано помещение во «Всякой всячине» материала, провоцировавшего обсуждение вопроса о татарских нравах в нужном ей русле. Кроме того, совершенно неожиданно Сумароков, по-видимому, сам того не подозревая, обнажил в своем воз-

ражении скрытую подоплеку всей затеянной Екатериной II игры вокруг вопроса об исконных русских нравах, когда перевел обвинения г. Примечаева с татар на французов.

Для понимания последнего обстоятельства очень важно, что в том же 5-м листе «Всякой всячины» сразу же после письма Евдокима Примечаева, под № 13 была помещена еще одна, явно мистифицированная, корреспонденция от некоего *Адама Адамовича Варгейта*, серебряника (т. е. серебряных дел мастера), сообщившего издателям журнала о своем знакомце, учителе-французе, бывшем до этого сапожником, солдатом и кучером. Этот француз отдал на лом Варгейту серебряную медаль со странным изображением на ней: «Представляет она с одной стороны Султана Турецкого, на престоле седящего, из которых один наднес меч на главу простертого у ног султанских человека: лилеи, изображенные на порфире его, поднесенные им в мешках деньги, лежащие у подножия престола; все сие довольно показывает, откуда, кто и для чего сей в рабском виде представленный человек. Но другая сторона медали еще боле то изъясняет в следующей надписи: „Друг Турок, друг Алжирцев, друг варваров, ненавистник и гонитель християн"».[16] Приятель ювелира, которому Варгейт показал медаль, так откомментировал надпись: «Нечему де дивиться, что бывало, то есть и будет».

Издатели журнала в свою очередь сопроводили публикацию письма Адама Адамовича следующим заключением: «Спасибо господину Варгейту, что он свету открывает такие великие правды. О сем только сказать можно: O tempora! O mores! То есть „О времена! О нравы!"»[17] Антифранцузская направленность письма г. Варгейта не подлежит сомнению, и помещение подобной корреспонденции на страницах журнала, издававшегося под патронажем императрицы, становится понятным в свете той роли, которую взяла на себя Франция, выступившая тайной союзницей Турции во время Русско-турецкой войны 1768—1772 годов. На явно мистифицированный характер данного письма указывает и фамилия корреспондента — *Варгейт*, калька с немецкого слова *Wahrheit*, что в переводе на русский язык означает «правда», «истина». Так раскрывается скрытый смысл затеянного на страницах «Всякой всячины» обсуждения обычаев «крымских татар», якобы испортивших нравы наших предков.

В свете сказанного становится понятным, почему редакция «Всякой всячины» не поместила «Противуречие г. Примечаева» на страницах своего журнала, хотя, казалось бы, позиция Сумарокова в его нападках на французских учителей не только не противоречила позиции «Всякой всячины», но и была с ней фактически солидарна. Можно предположить, что свое полемическое письмо в журнал по поводу нравов Сумароков отправил вскоре после того, как там стали появляться материалы, развивавшие затронутую г. Примечаевым тему.

Кстати, Сумароков был не одинок в своем несогласии с позицией «Всякой всячины» относительно влияния татар на русские нравы. Очень скоро у него появились союзники. В том же журнале «И то и сио» в последнем февральском номере (№ 8) было опубликовано еще одно письмо к издателю журнала с выражением солидарности с позицией, заявленной в «Противуречии г. Примечаеву». Автор письма, выступивший под псевдонимом Елисей Прямиков, прямо заявляет: «Вы справедливо в защищение их (татар. — *Ю. С.*) от тово говорите, что они суть благородны и добры. ⟨...⟩ По рождению моему хотя я и русский, однако могу смело выговорить не собою одним, но вместе с теми, кои с народом сим в обхождениях довольно обращались, что они суть истиннолюбы, справедливы во всем и хранят добродетели тщательно, по начальному их на том основанию».[18] И в конце письма неизвестный сторонник Сумарокова также указывает на *сарматов* как первых виновников развращения нравов российского народа.

Именно этот скрытый диалог между журналами помогает понять смысл обсуждения на страницах «Всякой всячины» вопроса о причинах развращенности российских нравов. Смысл этот проясняется в контексте двух обстоятельств. Во-первых, актуализации данного вопроса способствовала начавшаяся в 1768 году война России с Турцией, в которой крымские татары, всегда находившиеся в вассальной зависимости от турок, выступали их традиционными союзниками. И, во-вторых, скрытый полемический подтекст инициированного Екатериной II спора о российских и татарских нравах объяснялся еще одним обстоятельством — выходом во Франции из печати роскошно изданной книги аббата Шаппа д'Отроша, посвященной России под названием «Путешествие в Сибирь ⟨...⟩ содержащее в себе нравы и обычаи русских и теперешнее состояние этой Державы» (Париж, 1768).

Член Королевской академии Шапп д'Отрош посетил Россию в 1761—1762 годах с целью проведения астрономических наблюдений в Тобольске и после своего возвращения во Францию выпустил книгу о России в двух томах. Написанная в форме путевых заметок, книга содержала немало сведений о жизни и быте русских, о культуре и экономике страны, об ее истории и о системе политического правления России. В книге встречаются характеристики отдельных вельмож и чиновников, с которыми автору довелось иметь дело. В то же время книга была наполнена оскорбительными для национального достоинства русских людей выпадами, суждения автора зачастую были выдержаны в высокомерно пренебрежительном тоне. Много нелестного было сказано и о системе политической власти, в частности в адрес русской монархии. К правителю русского престола неоднократно применялось понятие «деспот». В деспотизме власти автор видел главное препятствие на пути приобщения русских к просвещению и благам циви-

лизации: «Любовь к славе и отечеству неизвестны в России; деспотизм в ней заглушает ум, талант и всякого рода чувства; самая к тому способность утрачивается униженною и загрубелою душою. Страх есть, так сказать, единственная пружина, движущая народом».[19]

Нетрудно уловить в последней фразе приведенного пассажа отголоски идей Монтескье с его классификацией форм политической власти, в основу которых философом были положены определяющие принципы, как-то: *добродетель* для республики, *честь* для монархии и *страх* для деспотии. Традиционное зачисление России в разряд государств с деспотической формой власти, где все основывается только на страхе, было едва ли не общим местом в сочинениях европейских авторов, бравшихся рассуждать о нравах русских и политической системе, принятой в стране. «Страх наказания был в сердцах подданных моих единственным средством к повиновению. Чтобы заставить их почитать государеву власть, я вынужден был вооружить оную всеми ужасами».[20] Подобное признание высказывает не кто иной, как сам Петр I в публицистическом диалоге Дж. Литтльтона «Петр Великий и Людовик XIV», в котором английский автор устами двух великих монархов обсуждает вопрос об истинном и мнимом достоинстве государей. Пышности и блеску, составлявшим величие правления Людовика XIV, противопоставляется в диалоге величие Петра I, определяемое неутомимостью трудов и терпением. Но показательно сохраняющееся у Литтльтона представление о грубости и невежественности народа, с которым Петру приходилось иметь дело в ходе реформ. Он сравнивает российского монарха с Александром Македонским и Цезарем и признает его превосходство над ними в силу неизмеримой трудности задач, стоявших перед ним в процессе преобразования России: «Они оба (Цезарь и Александр. — *Ю. С.*) творили великие дела, но были правителями великих народов, превосходивших своих противников 〈...〉 Я же был Царем ничего не знающего, неученого и грубого народа».[21]

В книге Шаппа д'Отроша Россия изображалась также варварской страной, а ее народу вообще отказывалось в способности достигнуть каких-либо успехов в науках и в искусствах. Здесь французский астроном имел своеобразного союзника в лице философа Ж.-Ж. Руссо: «Быть может, если верить г-ну Руссо из Женевы, было бы желательно, чтобы этого народа никогда не коснулось просвещение».[22] И оба они, в сущности, следовали традиции, распространенной в Европе, согласно которой между нравами русских и татар не существовало большой разницы. Этой точки зрения придерживался, как мы помним, сам Вольтер в труде «Siécle de Louis XIV» (1751) (Век Людовика XIV): «Прежде его (Петра I) эта держава (Россия) была пространною степью; ее народ не имел ни законов, ни благоустройства, ни просвещения и во всем походил на татар...».[23] В подобных утверждени-

ях Вольтер основывался на тех сведениях о России, которые он мог почерпнуть из сочинений других историков, в частности из упоминавшейся выше книги Ф.И.Страленберга, утверждавшего, что до времени правления Петра I «Россия даже до сего веку почиталась за варварской, языческой и татарам подобный народ и что оной ни к чему не способен».[24]

В книге Шаппа д'Отроша подобные взгляды на Россию получили свое логическое развитие, а в обстановке Русско-турецкой войны 1768—1774 годов, в которой Франция скрытно выступала союзницей Турции, создание негативного облика России служило политическим интересам французского правительства. Этим объясняется официальная поддержка, которую издание данной книги получило во Франции. И это прекрасно осознавала Екатерина II.

Именно в данном контексте следует оценивать и затеянное Екатериной II на страницах «Всякой всячины» обсуждение вопроса о причинах упадка отечественных нравов и о пагубном влиянии, якобы оказанном на русских со стороны татар. Причем, как уже указывалось выше, основным объектом нападок избирались как раз союзники Турции — крымские татары. Сумароков, возражая г. Примечаеву, невольно обнажил скрытую политическую подоплеку этой журнальной игры, когда назвал французских учителей подлинными виновниками в развращении отечественных нравов. Впрочем, издатели «Всякой всячины» были внутренне солидарны с такой позицией. Мало того, параллельно с изданием журнала Екатерина II скрытно организовала не без помощи привлеченных ею помощников выход другой книги, полемически направленной против сочинения французского астронома с целью нейтрализовать тот отрицательный эффект, который оно могло оказать на общественное мнение Европы. Книга была опубликована в Петербурге анонимно на французском языке под названием «Antidot, ou Examen du mauvaes livre superbement imprime intitule: Voyage en Siberie...» (1770) (Противоядие, или Проверка дурной книги, превосходно изданной под заглавием: Путешествие в Сибирь...). В 1771 году книга была переиздана в Амстердаме. Подробно, страница за страницей, сочинение Шаппа д'Отроша подвергалось в «Антидоте» придирчивому разбору. Екатерина не прощала французу ни одной ошибки, уличая его в многочисленных несуразностях, незнании истории и нравов России, а то и в откровенной предвзятости. Но главное, что определяло пафос полемики, это отстаивание национального достоинства россиян, утверждение чистоты нравов и верности русских обычаям предков: «Никогда не было народа, который бы более управлялся нравами и обычаями, чем наш»,[25] — заявляла Екатерина II в пику утверждениям французского автора о приверженности русских только к страху под воздействием деспотии.

Два тома «Антидота» представляли собой подробный, постраничный разбор сочинения Шаппа д'Отроша с обширными выписками из него, сопровождаемыми язвительными комментарием и резко полемическими пассажами, уличавшими французского автора в многочисленных неточностях, искажении фактов, просто в непонимании России и ее условий жизни. «Надобно сознаться, — писал автор «Антидота», — что у г. аббата взгляд не философский; он привязывается лишь к мелочам; ему ненавистен русский народ; но он не рассматривает человека как жителя вселенной, везде одинакового».[26] Екатерина II прекрасно уловила политическую подоплеку той необъективности, в которой была выдержана книга Шаппа д'Отроша по отношению к России. В обстановке только недавно начавшейся русско-турецкой войны роскошно изданная книга французского астронома призвана была служить не только научно познавательным целям, но и должна была настроить определенным образом европейское общественное мнение. Полемический пафос «Антидота» находит в свете этого свое объяснение: «Все те, которые писали о России, были иностранцы, которые, по незнанию языка и страны, говорили, скорее, то, что им казалось, чем то, что они действительно видели. Немецкие писатели, например, исполненные предубеждений в пользу своей страны, искали в русских немцев: не находя их, сердились; все было дурно, русским было непростительно быть русскими дома. ⟨...⟩ легко судить, что французские писатели не отстают от них в этом отношении ⟨...⟩ Россия заградила путь властолюбию французов; не имея возможности побороть ее, они говорят о ней как можно больше дурного, чтобы ей отомстить. Милая нация. ⟨...⟩ это в тоне наушника Мустафы...».[27]

Нельзя сказать, чтобы книга Шаппа д'Отроша полностью состояла из одних небылиц и клеветы на Россию. Многое подмечено в ней было верно, особенно в вопросах, касавшихся бесправного положения русских крестьян. Интересными и обладавшими несомненной познавательной ценностью были наблюдения француза о торговле в России, о флоте, о ее народонаселении. Проблема отношения к этой книге в глазах общественного мнения, как русского, так и европейского, представляет самостоятельный интерес, тем более что в своих оценках российской действительности французский астроном базировался на постулатах просветительской идеологии.[28] Для нас важно уяснить позицию в оценке этой книги Екатерины II в аспекте отстаивания исконных, как ей казалось, устоев национального характера и быта россиян.

Собственно, уже в «Антидоте» намечается тенденция к апологетизации старины для доказательства нравственных и духовных добродетелей предков россиян в духе их преданности монархии.[29] Так, раздел «О русском правительстве с 861 по 1761 год» был буквально насыщен историческими экскурсами, призванными под-

твердить исконность самодержавной власти для русских национальных нравов. Но, отстаивая самоценность национальных устоев жизни, автор «Антидота» постоянно указывает на общность исторического пути России с теми процессами, которые переживали остальные народы Западной Европы. «Прибавлю, что в течение этих с лишком семисот лет, то есть до смерти царя Федора Иоанновича, Россия управлялась, имела приблизительно те же нравы, шла тем же путем и находилась почти на одном уровне, как и все государства Европы».[30] Это постоянное приравнивание состояния дел в России к европейскому тонусу жизни призвано было нейтрализовать настойчивое стремление Шаппа д'Отроша представить русских людей дикарями, лишенными способности к цивилизованным нормам бытия. «Страсть аббата состоит в том, чтобы приводить весьма пространно все, что он может откопать худшего, или то, чему можно дать ненавистный оборот; но он остерегается упоминать о фактах, которые могут прославить наш народ».[31]

Особое внимание автора «Антидота» привлекло то место, где Шапп д'Отрош ссылается на мнение Вольтера, высказанное в «Опыте о нравах», о якобы исконной приверженности русских к состоянию рабства под влиянием страха: «Г. Вольтер замечает, что в этой части света люди, наименее находясь под влиянием нравов, управляются истязаниями, и от этих страшных истязаний рождается раболепство».[32] Именно эта ссылка на Вольтера, незадолго до этого выпустившего труд по истории России в царствование Петра I, заставляет автора «Антидота» обратиться к описаниям древних нравов россиян, столь кардинально изменившихся со времени Петровских реформ: «Никто не питает более глубокого уважения к г. Вольтеру, чем я. Этот великий человек, друг истины, позволит мне представить на его усмотрение следующие замечания на это место. Никогда не было народа, который бы более управлялся нравами и обычаями, чем наш. Всем известны труды, которых стоило изменение этих нравов в начале нынешнего столетия. Но в чем же состояли эти древние обычаи и нравы, о которых здесь речь? Войдем в самые знатные дома; они были малы и в них не господствовало никакой роскоши.〈...〉 Всякое семейство правильно присутствовало каждый день у заутрени, у обедни и вечерни с великой набожностью; эти благочестивые упражнения заменяли им иные занятия. 〈...〉 В семьях царствовало согласие. Разводы были почти неизвестны. Дети имели большое уважение к своим отцам и матерям. Но что лучше всего, что я мог бы сказать, изображает нравы того времени, это оговорка, которую вставляли во все договоры; вот эта замечательная оговорка, от слова до слова: если же мне случится отказаться от моего слова или не сдержать его, то да будет мне стыдно. Итак, стыд был тогда наисильнейшею сдержкою, которую налагали на себя как non plus ultra. Полагаю, что нет страны, которая могла бы предста-

вить в пользу своих нравов свидетельство столь же красноречивое, как эту формулу».[33]

В этих полемических отсылках к старине, в самом способе аргументации ссылками на древние нравы своеобразно предвосхищаются стиль и манера И. Н. Болтина, о котором ниже еще пойдет речь. Отдельные детали содержания «Антидота» позволяют высказать предположение о причастности этого историка к сочинению данного произведения. В сущности, «Антидот» как публицистическое сочинение, рассчитанное в первую очередь на европейского читателя, должен был корректировать устоявшиеся взгляды на Россию в выгодном для Екатерины II свете. Но логика полемики неумолимо диктовала сопоставления с европейским опытом. И здесь Болтин с его феноменальной эрудицией был надежным помощником императрицы. Свидетельства общности исторических путей России с Европой служат в качестве аргументов, опровергающих претензии французского астронома представлять собой светоча цивилизации в стране, якобы погруженной во мрак невежества. Так, приведя слова Шаппа д'Отроша о Бироне, который «поработил себе народ посредством казней и ссылок в Сибирь», автор тут же замечает: «Как бы ни было строго это царствование, мы уверены, что правление хваленого кардинала Ришелье вынесет с ним сравнение».[34] В другом месте, комментируя пассаж француза относительно жестокостей, какими сопровождалось следствие, производимое в России тайной канцелярией («В этом судилище тирания создала себе лишь орудие, чтобы по произволу приносить в жертву деспоту всех тех, которые ему подозрительны...»), сочинитель «Антидота» вновь отсылает читателя к примеру Франции: «... во всяком государстве, когда судилище раз было сочтено нужным, противное доказывается только временем. Ссылаюсь, г. аббат, на вашу Бастилию. Она еще существует со всеми своими судебными порядками».[35]

Шапп д'Отрош несомненно был знаком с идеями Монтескье, так же как и с историческими сочинениями о России Вольтера. Он стремился создать видимость объективности своих оценок. Однако общий тон рассматриваемой книги аббата, явная заданность его позиции с подчеркнуто негативными установками на восприятие всего, с чем он сталкивался в этой северной стране, заставляют видеть в авторе исполнителя определенного политического заказа.

Предвзятость позиции Шаппа д'Отроша в его взглядах на историческое положение России являлась следствием не только его личных убеждений, но была подсказана традицией. Большинство европейских историков второй половины XVIII века по-прежнему рассматривало Россию как полуазиатскую державу, продолжавшую пребывать под властью деспотии. Определяющее значение при этом, как мы видели, имело отношение писателей и ученых к личности Петра I и уяснению его места в русской исто-

рии, поскольку с именем этого монарха связывался решающий поворот к изменению политического и культурного облика страны. В этом вопросе позиции европейских просветительски настроенных авторов зачастую заметно расходились. На ранних этапах формирования просветительской идеологии в сочинениях мыслителей, веривших в целительную силу теории просвещенного абсолютизма (Фонтенель, Монтескье, Вольтер), фигура Петра I представала порой в идеализированном виде. Но по мере радикализации просветительской идеологии отношение к преобразовательной деятельности Петра I стало меняться.

Первые симптомы переосмысления легенды о Петре I — законодателе, чудесным образом преобразовавшем погруженную во мрак невежества нацию, мы наблюдаем в трудах Ш. Монтескье. Если в «Персидских письмах», содержавших фрагмент о состоянии Московии и о стремлении царствующего государя прославить свой народ, насаждая в стране искусства и науки, явственно ощущается влияние «Похвального слова Петру I» Б. Фонтенеля, то в капитальном трактате «О духе законов» источники представлений Монтескье о России значительно расширены.[36] Он неоднократно в разных главах ссылается на Россию, видя в процессах, происходящих в этой стране, подтверждение развиваемых им идей. Нравы «московитов» и деятельность Петра по их исправлению привлекают его пристальное внимание. Для него Россия оставалась примером государства, где господствует деспотическая форма власти. При всем уважении к успехам россиян под руководством Петра, Монтескье не преминул привести в гл. XXVI кн. 12 эпизод, доказывавший деспотические наклонности русского царя, сославшись в качестве источника на книгу побывавшего в России инженера Ж. Перри «Современное состояние Великороссии» (Etat présent de la Grand Russie, par Jean Perry. Paris, 1717).

Главный упрек, который выдвигал Монтескье в адрес Петра I, состоял в том, что тот стремился изменять нравы русских людей насильственным образом, закрепляя подобную практику законами. Это, по мнению Монтескье, ведет к тирании: «... когда хотят изменить нравы и обычаи, нельзя изменять их по законам; это представляется слишком тираническим. Стоит лучше изменить их другими нравами, другими обычаями».[37] Петр I не всегда следовал этому правилу. «Закон, который обязал московитян обрезать бороды и одежды, жестокость Петра 〈...〉 были тираническими...»,[38] Петр I недооценивал способности своей нации к просвещению. Об этом Монтескье прямо заявляет в конце главы: «Петр I сообщил европейские нравы и обычаи европейской нации с такой легкостью, какой сам не ожидал».[39] Впрочем, несмотря на постоянно подчеркиваемый деспотизм Петра и жестокость в проведении им преобразований, Монтескье считал русского царя выдающимся политическим деятелем европейской истории. Столь же высокого мнения французский мыслитель был и о русском на-

роде: «Легкость и быстрота, с какой эта нация усовершенствовалась, прекрасно показали, что этот государь имел о ней слишком дурное мнение и что его народы не были скотами, каковыми он их считал».[40]

Собственно, уже у Монтескье намечаются первые признаки корректировки в отношении оценки личности Петра I: отказ от одностороннего апологетического взгляда на все, им совершавшееся, сомнения в целесообразности самовластным путем менять нравы нации, как это пытался он делать, и признание самоценности нравственных устоев национальной жизни. Проблема соотнесенности нравов нации с вводимыми монархами законами, в сущности, будет стоять в центре размышлений князя М. М. Щербатова и И. Н. Болтина в их известных публицистических сочинениях, о которых ниже еще будет идти речь.

В целом взгляды Монтескье на Россию, на ее будущее в сравнении с прошлым были исполнены оптимизма. Но во второй половине XVIII века по мере приближения к событиям 1789 года, потрясшим политическую жизнь Европы, по мере радикализации просветительства упования на просвещенный абсолютизм отходят на второй план. Углубляется корректировка оценок европейскими мыслителями места России во всемирной истории и качества предпринятых Петром I преобразований. Для большинства французских историков второй половины XVIII века, обращавшихся к изучению России и исходивших из абстрактной схемы просветительской социологии, ситуация в России не давала оснований для особого оптимизма. Сохранение деспотической власти монарха при поголовном рабстве подданных ставило под сомнение гуманистический аспект петровских преобразований, ибо они не способствовали освобождению личности. Обретение статуса цивилизованной страны в глазах французских просветителей еще остается для России делом будущего. А некоторые мыслители, вроде Ж.-Ж. Руссо, вообще отрицали способность русских стать когда-либо цивилизованным народом.

Одно из первых свидетельств переоценки исторического значения Петра I как деятеля общеевропейского масштаба мы находим у Ж.-Ж. Руссо в его трактате «Об общественном договоре». В главе VIII («О народе») 2-й книги трактата он размышляет о необходимости для любого законодателя учитывать способности своего народа к восприятию устанавливаемых им законов. По мнению Руссо, народы как объект законодательства ничем не отличаются от индивидуумов, переживающих свою молодость, зрелость, старость. И как образец недальновидности законодателя, навязавшего подвластному ему народу уставы гражданского общества, для которых он еще не созрел, женевский философ приводит в пример реформаторскую деятельность русского царя. Выводы Руссо категоричны: «Русские никогда не станут истинно цивилизованными, так как они подверглись цивилизации слишком

рано. Петр обладал талантами подражательными, у него не было подлинного гения, то, что творит и создает все из ничего».[41] И далее автор трактата заявляет о фактической бесполезности деяний Петра («большая часть была не к месту»), обусловливая это дикостью народа, которым этот монарх повелевал, поскольку он «еще не созрел для уставов гражданского общества». Петр I «помешал своим подданным стать когда-нибудь тем, чем они могли бы стать, убедив их, что они были тем, чем они в действительности не были».[42]

В этом не лишенном известной самоуверенности заявлении много примечательного. Уже само утверждение Руссо о преждевременности приобщения России XVIII века к цивилизации заставляло думать, что до Петра I никакой духовной культуры, никаких моральных и юридических установлений, регулировавших общественный правопорядок, эта страна просто не знала. Если стремление Петра I внедрить в России некоторые стороны быта европейских народов и приобщить русских людей к достижениям европейской культуры значило сделать их цивилизованными, то вольно или невольно единственным носителем цивилизованности Руссо объявлял Западную Европу. Подобный неприкрытый европоцентризм объясняется пренебрежительным отношением Руссо к истории. Об источниках сведений о России и ее истории, какими располагал Руссо, можно только догадываться, ибо он сам их не указывает. Руссо также не уточняет, какие из мероприятий Петра I были неуместны, замечая лишь, что таковых было большинство. Но судить о делах надо по результатам. И если в результате энергичных мер Петра I Россия к середине XVIII века стала обладательницей мощного флота и сильной боеспособной армии, если культурная и научная жизнь страны обрела мощные импульсы своего грядущего расцвета, то о бесполезности деяний Петра I, с точки зрения политических интересов русской нации, просто не приходится говорить. Это, кстати, прекрасно понимал Вольтер, давший достойную отповедь пророчествам Руссо в своих философских эссе. Претензии женевского философа на суждение о том, созрел или не созрел тот или иной народ для цивилизации, проистекали все из того же внеисторического, фактически внегосударственного, подхода его к решению социальных вопросов. Для Руссо интересы абстрактной личности объявлялись единственным критерием общественной пользы. Но он оставался человеком своего времени — французом-мечтателем. И хотел того или не хотел Руссо, в его рассуждениях о Петре и о русских присутствовали подсознательный страх европейца, невежество, отражавшие укоренившийся в Европе предрассудок относительно варварского азиатского облика страны, внезапно превратившейся в мощную военную державу.

Мнение Руссо о Петре своеобразно перекликается с мыслями другого выдающегося представителя радикального крыла

французского Просвещения аббата Г.-Б. Мабли. В части III своего сочинения «Об изучении истории» (De l'etude de l'Histoire, 1755) он посвятил почти целую главу рассмотрению предпринятых Петром I перемен, преобразивших облик России, но так и не достигших, по мнению мыслителя, тех целей, которые ставил перед собой монарх-реформатор.

Мабли также исходит из убеждения, что Россия до Петра «была погружена в глубочайшее варварство». Наверху социальной пирамиды власти в этой стране стояли «царь-деспот, на которого невежественные подданные взирали как на некий верховный разум, и патриарх, вещавший именем Бога и Св. Николая, о которых сам он имел лишь смутные и суеверные понятия».[43] Деспотизм царя наложил свое иго на все сословия общества, включая и дворянство, превращая и их в «алчных и наглых» рабов. «У них не было ни нравственных устоев, ни законов, ни трудолюбия, ни даже желания лучшей участи — страх и невежество сковывали их умы».[44] В сущности, Мабли повторяет расхожие мнения о русских допетровских времен, общепринятые в европейской историографии XVIII века, в том числе и у раннего Вольтера в его «Истории Карла XII» и «Веке Людовика XIV». Единственным мотивом деятельности Петра Мабли считал честолюбие, искусно подогревавшееся Лефортом. В конечном итоге он признает невиданные успехи Петра I в деле просвещения страны, но считает их недостаточными. То, что вызывало восторг у первого поколения просветителей, в глазах Мабли вызывает лишь скептическое недоумение. «Удаляясь на верфи учиться корабельному делу, вы явили Европе зрелище необычайное, но от вас ожидали не ремесла плотника, а познаний законодателя. Не строение кораблей надо было изучать вам, но страсти человеческого сердца, ибо вам предстояло управлять обширным государством».[45]

Показательно, что к аналогичным доводам будет прибегать княгиня Е. Р. Дашкова, скептически оценивавшая некоторые стороны реформаторской политики Петра I. Во время своего путешествия по Европе в 1780 году она в беседе с австрийским премьер-министром Кауницем в Вене заметила: «Петр I был гениален, деятелен и стремился к совершенству, но он был совершенно невоспитан и его бурные страсти возобладали над его разумом. ⟨...⟩ Он пренебрегал своими прямыми и важнейшими обязанностями, работая в Саардаме, чтобы стать плотником ⟨...⟩ Ему незачем было посылать дворян изучать ремесла садовника, кузнеца и т.п. Каждый дворянин с удовольствием уступил бы двух-трех своих крепостных, чтобы научить их этому делу».[46] Княгиня не раскрывает, какими «прямыми и важнейшими обязанностями» пренебрегал Петр I. Но в недостатке внимания к законодательству, как считал Мабли, он заслуживал упреков менее всего.

Конечные выводы Мабли звучат как прямое назидание монархам. В качестве источника благосостояния нации он выдвигает

неукоснительное подчинение самодержавцев законам. «Дабы с пользой преобразовать Россию, сделать ваши законы прочными и создать воистину новый народ, начните с преобразования собственной вашей власти. ⟨...⟩ Пусть императоры российские передадут законам предназначенную им власть, пусть поставят они себя в счастливую необходимость подчиняться им, пусть почитают они народ свой, не дерзая показаться порочными. И тотчас же ваши рабы, превратясь в граждан, легко обретут таланты и добродетели, способные привести в цветущее состояние вашу империю».[47] Эти утопические упования на силу законов составляли отличительную черту почти всех общественно-политических доктрин века Просвещения. Россия по-прежнему продолжает привлекать к себе внимание мыслителей как своеобразный полигон для испытания теорий по созданию благополучного общества, как доказательство возможности социального прогресса, хотя в оценках реальности происходивших в России XVIII века перемен мнения, как мы видим, расходятся.

Вышедший в Женеве в 1759—1763 годах двухтомный труд Вольтера «История Российской империи при Петре Великом» служил определенным противовесом тем мнениям, какие были заявлены в трудах Мабли и Ж.-Ж.Руссо. Сам Вольтер язвительно высказался насчет самоуверенных прогнозов женевского философа в предисловии к переизданию своей «Истории...» в 1771 году. И еще ранее в «Философском словаре» (Dictionnaire philosophique, 1764—1769) он, приведя цитату из «Общественного договора» о Петре I, подверг мысли Руссо едким насмешкам, подтвердив свою высокую оценку деяний царя-реформатора. Вольтер по пунктам опровергает утверждения Руссо, ссылаясь на политические успехи России, явившиеся следствием реформ Петра I. Как на пример цивилизованности русских Вольтер ссылается на благородный поступок графа А. Г. Орлова, возвратившего турецкому паше после разгрома турецкой эскадры при Чесме захваченный в бою корабль, на котором находились семья паши и его сокровища. «Если русские, — заключает Вольтер, — не были созревшими для просвещения во время царствования Петра Великого, то нужно непременно согласиться, что они достаточно созрели в величии души и что Жан-Жак не совсем еще созрел для истины и для здравого рассуждения».[48]

Но, конечно, главной заслугой Вольтера в открытии европейскому читателю облика Петра I следует считать выпущенную им «Историю Российской империи при Петре Великом». Как справедливо заметил современный исследователь, «труд Вольтера был несравненно выше всех уже имевшихся в распоряжении европейских читателей „историй" Петра, в большинстве случаев представлявших собой посредственные компиляции». ⟨...⟩ «Вольтер написал лучший для своего времени очерк государственной и военной деятельности Петра I».[49]

И Руссо, и Мабли, и полемизировавший с ними Вольтер в своем отношении к России оставались на позициях сторонних наблюдателей, исходивших в своих построениях не столько из учета реальных обстоятельств жизни той страны, об истории которой они брались судить, сколько из сконструированных просветительской мыслью историософских концепций. Суждения их основывались в основном на фактах, взятых из вторых рук и касались только одного аспекта современной истории России: объяснения феномена ее внезапного политического подъема и оценки прочности предпринятых Петром I преобразований.

Несомненно, идеи Руссо и Мабли, не говоря уже о трудах Монтескье и Вольтера, были известны в России. Они составляли тот фон, который определял встречную реакцию в осмыслении проблемы, поставленной самой историей, — проблемы включенности России в контекст культурно-политической жизни западноевропейских стран. Внимание к фигуре Петра I обусловливалось его решающей ролью в этом процессе. И неоднозначность отношения к Петру I со стороны европейских мыслителей не прошла для русского общественного мнения незамеченной. Следует только иметь в виду, что просветительские рецепты для России, исполненные благих, гуманных, как казалось их авторам, идей, основывались на умозрительных концепциях, отражавших опыт прежде всего Европы и не учитывающих ни специфики России, ни опыта ее национальной истории. Между тем без истории, без привлечения свидетельств культурных и исторических памятников прошлых веков вопрос о целесообразности Петровских реформ, вопрос о ценности для России насаждавшихся в стране после Петра норм европейской цивилизации не мог быть решен объективно. Собственно, вопрос этот был поставлен самими просветителями. Но ответить на него взялись историки — как европейские, так и русские. В полемике между ними проблема «древней» и «новой» России вновь обрела свою актуальность.

Издание «Антидота» было предпринято Екатериной II в обстановке активного проведения ею политики просвещенного абсолютизма и было рассчитано в первую очередь на европейского читателя. Заигрывания императрицы с французскими просветителями, ее увлечение либеральными идеями в «Наказе» были предназначены все тому же европейскому общественному мнению, когда о грозящих катаклизмах Великой французской революции никто еще не мог предполагать. И отсюда подчеркнуто проводимая в «Антидоте» идея общности исторического развития России с европейскими странами: «Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелепостей и клеветы, как народ русский. Однако же, если бы взяли на себя труд рассматривать вещи добросовестно и беспристрастно и сравнивать их философским взглядом с тем, что мы видим в остальном человеческом роде, то увидели бы, что он стоит приблизительно в уровень с остальными

народами Европы и что лишь предубеждение и предрассудок могут ставить его на другую степень».[50]

Обстановка полностью изменяется в конце 1780-х годов, когда Европа начинает напряженно следить за развертыванием революционных событий во Франции. Страх перед этими событиями несомненно активизировал охранительные тенденции в общественном сознании монархических стран и особенно в крепостнической России. Вот почему идея особого пути России в сравнении с опережавшими ее в историческом развитии европейскими странами приобретает в 1790-е годы дополнительную актуальность. Взоры писателей, историков обращаются теперь к истокам русской государственности, к памятникам национальной старины, к древности — как хранительнице чистоты отечественных устоев жизни. Вопрос о соотнесенности «древней» и «новой» России вновь наполняется живым содержанием.

Своеобразие ситуации в России к концу XVIII века состояло в том, что к этому времени почти все, что было связано с царствованием Петра I и его реформаторской политикой, действительно стало историей. О перемене отношения к заслугам Петра I в глазах некоторых европейских мыслителей выше уже шла речь. Русское общественное мнение тоже постепенно начинает отходить от безоглядной восторженности в освещении событий начала века. Смена акцентов в осмыслении того, что принесла с собой «европеизация» России, влекла за собой и некоторые изменения в общей оценке деятельности Петра I. Обозначившаяся временна́я дистанция позволяла теперь более объективно взглянуть на результаты петровских нововведений. И односторонний, в основном апологетический, тон оценок реформ Петра, свойственный публицистическим сочинениям начала века, уступает место более трезвому, аналитическому и всестороннему подходу. Само имя Петра и личность великого преобразователя России остаются в глазах русского общественного мнения непререкаемыми. Но понимание цивилизаторской миссии Петра I, оценка методов, какими она осуществлялась, наконец, осмысление ее итогов углубляются и дополняются новыми оттенками.

Если для Феофана Прокоповича, Ломоносова или Татищева проблема целесообразности мер, предпринятых Петром I в начале века по преобразованию России, просто не могла стоять, то для историков конца столетия (таких, как Болтин или Щербатов) однозначного ответа было уже недостаточно. Свидетельства перемены отношения в России к личности Петра I мы находим не только у историков. Выше уже приводилось мнение княгини Е. Р. Дашковой, высказанное ею в беседе с Кауницем в 1780 году. Очень симптоматичной представляется позиция в отношении Петра I и радикально настроенного А. Н. Радищева. Свое мнение о Петре он высказал в небольшом сочинении 1782 года «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», написанном по случаю

открытия в Петербурге летом того года памятника Петру I на Сенатской площади — творения французского скульптора Фальконе. Впечатления от памятника перемежаются в «Письме...» с рассуждениями автора о значении Петра в истории России и о личных качествах этого царя. Радищев не отказывает ему в праве быть причисленным к разряду тех монархов, которых история увековечила прозванием «великий». Но он находит нужным несколько раз по ходу рассказа упомянуть о ненависти, какую испытывали по отношению к монарху-реформатору многие из соотечественников, ощутивших на себе при жизни царя последствия его необузданного нрава и жестокости. Примечательным в высказываниях Радищева о Петре I, с точки зрения интересующей нас проблемы, является брошенное вскользь замечание о том, что «властный Самодержавец ⟨...⟩ истребил последние признаки дикой вольности своего отечества».[51] Это единственная деталь в сочинении, позволяющая судить о позиции Радищева относительно допетровского состояния России. Явный западник Радищев невольно выступает патриотом, хотя и здесь повторяет, по существу, мысли Мабли и отчасти Монтескье о насильственном изменении Петром нравов своего народа; в чем выражались эти «признаки дикой вольности» древних россиян Радищев, правда, не разъясняет.

Можно, таким образом, с уверенностью утверждать, что критическое отношение к Петру I вновь стимулировало на новом уровне актуализацию проблемы «древней» и «новой» России, теперь уже осмысляемой в патриотическом ключе с явным уклоном в сторону идеализации патриархальных нравов. Подобный сдвиг умонастроений проскальзывает даже в упоминавшихся нами высказываниях о Петре I Е. Р. Дашковой: «Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный самобытный характер наших предков»,[52] — заметила княгиня в беседе с Кауницем.

Фактически идея «древней» и «новой» России в ее предславянофильском осмыслении была сформулирована в русской историографии на исходе 1780-х годов, и главная роль в этом принадлежала И. Н. Болтину и князю М. М. Щербатову. Именно в трудах этих историков почти одновременно был поставлен вопрос о «повреждении нравов в России» в XVIII веке, и отправным пунктом в постановке данного вопроса становится отсылка к тому состоянию нравственной и духовной жизни, какое существовало в России до реформ Петра I. Оба историка связывают причины падения нравственности с отступлением от обычаев предков и бездумным подражанием русских дворян европейской моде. Оба видели истоки такого положения в политике Петра I и критически воспринимали методы, к каким прибегал этот царь при введении новых порядков, хотя оба выступают последовательными сторонниками монархической государственности. И для обоих забота о положении дворянского сословия остается главным моти-

вом в объяснении исторических судеб России, поскольку занятия историей рассматривались ими в неотрывной зависимости от насущных проблем современности.

В то же время Болтин и Щербатов оставались непримиримыми противниками в решении целого ряда принципиальных вопросов русской истории — ее древнейшего периода. Их взгляды на проблему возникновения российского этноса и на происхождение русской государственности, отношение к обстоятельствам, способствовавшим покорению русских княжеств в XIII веке татаро-монголами, были порой диаметрально противоположны. Расходились оба историка и в оценке отдельных аспектов политики Екатерины II. Все это отразилось и на осмыслении ими проблемы «древней» и «новой» России. Хотя в понимании причин «повреждения нравов» россиян в XVIII веке и Щербатов, и Болтин были единодушны, но в своих выводах относительно значения древности для современников мнения их расходились. На это в свое время уже обратил внимание В. О. Ключевский, предполагавший, по-видимому, посвятить обозначенной проблеме специальное исследование. В сохранившихся набросках Ключевский видит истоки самой проблемы в XVII веке, но осмысление ее относит к XVIII веку и намечает коренное различие между Щербатовым и Болтиным в ее решении: «Один (Щербатов. — *Ю. С.*) живет в древнерусской старине, ее идеалами и порядками; другой (Болтин. — *Ю. С.*) ищет и находит в ней осуществление общечеловеческих идеалов. Один обличает современность во имя старины, другой защищает „старину" от современников во имя разума и правды. Один, изучая современность, осуждает ее во имя старины; другой, защищая старину от своих современников, изучает ее. Один светом старины освещает современные пороки, другой светом современных идей стремится осветить старину».[53]

Для Ключевского, писавшего свои наброски в 1866 году, главным источником взглядов князя Щербатова на решение проблемы «древней» и «новой» России являлась его памфлетная записка «О повреждении нравов в России». В то же время существовали другие публицистические сочинения историка, остававшиеся неопубликованными вплоть до 1890-х годов, которые позволяют увидеть в позиции Щербатова и нечто, отделяющее его от будущих славянофилов. На этом фоне Болтин практически во всех своих сочинениях последовательно и чрезвычайно убедительно отстаивает достоинства жизни древних россиян.

Широко эрудированный и прекрасно осведомленный в вопросах отечественной и зарубежной истории Болтин не претендовал на право быть профессиональным историком. И неизвестно, нашли бы практическое применение его энциклопедические познания в этих областях, если бы не появление во Франции шеститомного труда «Физическая, моральная, гражданская и политическая история древней и современной России» Н. П. Леклерка (Histoire

physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne et moderne. T. 1—6. Paris, 1783—1787). Леклерк, побывавший в 1770-е годы в России, где он несколько лет служил врачом, после возвращения в 1777 году во Францию, подобно Шаппу д'Отрошу, решил познакомить соотечественников с историей, культурой и нравами России. В течение 1782—1783 годов им были выпущены три тома «Естественной, нравственной, гражданской и политической истории древней России», а также первый том «Естественной ⟨...⟩ истории новой России». Последний 6-й том этого обширного сочинения вышел только в 1794 году. Труд Леклерка являлся наглядным примером недобросовестности в вопросах истории, недобросовестности, основанной на невежестве и откровенной предвзятости. Некритическое отношение к источникам, которые он попросту не изучал, а использовал из вторых рук, недостаточное знание русского языка породили множество ошибок. Чего стоили, например, хотя бы утверждения Леклерка о том, что русские до крещения были кочевым народом и что их этническими предками были гунны.

Сразу же после ознакомления с первыми томами этого труда Болтин начал работу над «Примечаниями на Историю древния и нынешния России г. Леклерка», которые вышли в двух томах в 1788 году. Болтин подробно разобрал все ошибки французского историка. В 1-м томе «Примечаний...» он уличал Леклерка в неверном освещении событий истории России — от глубокой древности до середины XVIII века. Детально по пунктам (с. 481—615) он разобрал неточности, касавшиеся освещения Леклерком петровских преобразований. Во 2-м томе анализу подверглись описания Леклерком обычаев и нравов россиян и взгляды французского историка на политическую систему страны, включая вопросы культуры. Именно в ходе этого анализа Болтин высказывает множество суждений, призванных рассеять предвзятые утверждения о господствовавшем в Древней Руси невежестве и варварстве ее жителей. Полемизируя с французским историком, Болтин не пытается опровергать его обвинения, а нередко просто указывает на общечеловеческий характер тех явлений, в которых Леклерк стремился найти основания для доказательства якобы фатальной приверженности русских к отсталости, дикости и суевериям. Так, например, говоря об оценке Леклерком самых ранних этапов распространения на Руси христианства и связанных с этим событием легендах, Болтин спокойно замечает: «Если покажется г. Леклерку невероятно, что наш С. Антоний приплыл на камне из Рима в Новгород, то да благоволит припамятовать, что и пренесение ангелами Лоретския церкви из Палестины в Италию не меньше есть невероятно».[54] В другом месте, касаясь оценки Леклерком статей Уложения Алексея Михайловича, дававших якобы мужьям над женами «тираническую власть», допускавшую безнаказанность любых самых варварских поступков, Болтин резюмирует: «Что

может быть бесстыднее и наглее такого объяснения? ⟨...⟩ Ежели русские мужья власть свою над женами далее позволенных пределов распространили, сие не должно приписывать Законам, но злоупотреблению оных, насилию, грубости и буйству мужей. В старину во Франции мужья не меньшую власть над женами имели: обычай давал им, по свидетельству Боманаорову (Beaumanoir. Ch. 57. P. 292, 393), полную волю бить жен своих на досуге (l'usage les autorisait à battre leurs femmes a loisir)».[55]

Впрочем, разделяя вольтеровскую идею об эстафетности развития наций и общности тех закономерностей, в которых находит свое проявление эволюция человеческого разума, Болтин отнюдь не оставался слепым апологетом постулатов просветительской историографии. Будучи прекрасно ориентированным в философской литературе века Просвещения, о чем свидетельствуют постоянные ссылки в его «Примечаниях...» на Вольтера, Дюбо, Ж.-Ж. Руссо, Гельвеция, Рейналя, не говоря уже о Монтескье, он тем не менее воспринимал идеи этих мыслителей не догматически, но постоянно соотнося их с исторически сложившимися условиями, какие существовали в России. В этом смысле Болтин нередко вплотную подходил к мысли об особом, специфическом для России пути, о необходимости внесения известных поправок к перенесению на нее тех форм политической и общественной жизни, какие сложились в Европе. Так, опровергая тезис Леклерка относительно изначально присущей России внутренней слабости ввиду обширности занимаемого ею пространства, Болтин резонно возражает: «О России судить, применяяся к другим государствам европейским, есть то ж, что сшить на рослого человека платье по мерке, снятой с карлы. Государства европейские во многих чертах довольно сходны между собою; знавши о половине Европы, можно судить о другой, применяясь к первой; но о России судить таким образом не можно, понеже она ни в чем на них не похожа».[56] До выработки какой-либо позитивной концепции, определяющей черты неповторимости духовного бытия России, и в этом смысле показателей исторической ее индивидуальности помимо нравов Болтин не поднимается. Но в своеобразии ее исторического пути он не сомневается.

В ходе работы над своей «Историей...» Леклерк беззастенчиво пользовался трудами других историков, заимствуя оттуда, часто без ссылок и некритически, отдельные мысли, факты, выводы. При этом нередко он невольно повторял чужие ошибки. Болтин обнаруживает нечистоплотность французского историка буквально на каждом шагу. Особенно часто обращался Леклерк к труду своего соотечественника П. Левека «История России» (Histoire de Russie. T. 1—5. 1782—1783), из которого он черпает отдельные фрагменты почти целиком, искажая факты в выгодном для себя свете. Подобных заимствований из труда Левека Болтин приводит десятки (Т. 1. С. 62, 164, 262—264, 279—281, 291,

307–309, 566, 600 и др.), отмечая далеко не беспристрастную позицию Леклерка в использовании чужих трудов: «Г. Леклерк, выписывая сплошь касающееся до исторических бытии из Левека и не хотя, чтоб то другим было приметно, старался сколь можно слог и порядок речей переменять, а в некоторых местах и противоречить. Но вот что для меня удивительно, что почти во всех тех местах, кои подлежат некоторому сумнению, последовал ему в точности, даже и в таких, кои не только с обстоятельствами, но и с разумом не согласуют; в тех же, кои не летописям, ни рассуждению не прекословят, по большей части от мнения Левекова устранялся...».[57] И, приведя целый ряд примеров подобной непоследовательности Леклерка, Болтин заключает: «Левек, согласно со всеми историками северными и летописьми русскими, пишет (Т. 1. С. 93 и 95), что русские издавна имели великое число городов, кои доказывают успехи их в житии общественном; а Леклерк в противность всем тем историкам говорит, что русские вели жизнь кочевую и жили не иначе как дикари в лесах».[58]

О сравнительно высоком уровне научной достоверности труда П. Левека, оценивавшего историю России с радикальных просветительских позиций (почему его концепция и не устраивала Екатерину II), уже достаточно обстоятельно писал Д. Н. Шанский.[59] Что касается труда Леклерка, то его политическая тенденциозность граничила зачастую с бестактностью. При том значении, какое в век Просвещения придавалось «закону», проблема юридических установлений, регулировавших общественные отношения в Древней Руси, приобретала особый интерес. В качестве примера существования в Древней Руси известных правовых норм Болтин приводит пункты договоров киевлян с греками, заключавшихся во время походов их на Византию. И здесь Болтин неоднократно уличает Леклерка в преднамеренном искажении истины. Так, приведя текст окончания мирного договора, заключенного между Олегом и византийским императором, как он был переведен в труде Леклерка, Болтин тут же дает свой перевод по списку Несторовой летописи, отмечая допущенные Леклерком искажения и заключая цитату едким выводом: «Везде, где упоминается о русских законах, г. Леклерк о том или умалчивает, или вместо „по закону" переводит „по обычаю"».[60]

По-видимому, не случайно в 1792 году вместе со своими единомышленниками А. И. Мусиным-Пушкиным и И. П. Елагиным Болтин предпринял издание «Русской правды» Ярослава. Этот памятник древнерусского права был открыт В. Н. Татищевым в 1738 году в списке Новгородской летописи. Опубликованный в 1792 году список Болтин озаглавил «Правда русская, или Законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха...». В «Предисловии», обозначив сжато достоинства законоположений Владимира Мономаха, историк обращает внимание своих потенциальных читателей на вос-

питательный аспект подобных публикаций. Полемический подтекст «Предисловия» сразу раскрывает целевую установку издателей — историей преподать урок современникам: «...не будем мы задерживать Читателя рассуждениями нашими о сих законах, а оставим ему удовольствие самому, читая их, судить, имеем ли мы право называть праотцов наших варварами, невеждами и хвалиться, что мы более их имеем просвещения. Ежели они в некоторых вещах и меньше нашего имели познания, но их сердца меньше были растлены, их нравы менее были повреждены...».[61]

Через год друг Болтина и ближайший сподвижник его по историческим разысканиям А. И. Мусин-Пушкин предпринял издание еще одного памятника Древней Руси — извлеченного из летописи «духовного завещания» Владимира Мономаха, известного в науке как «Поучение Владимира Мономаха». В подготовке текста и написании примечаний, по-видимому, также принимал участие Болтин. И в «Предуведомлении» к тексту, и в «Примечаниях» настойчиво проводилась мысль о достаточно высоком уровне духовной культуры древних россиян. Причем и здесь публицистический элемент комментариев был подчинен полемическим целям, будучи направленным как против иностранных, так и против отечественных писателей, дававших искаженную картину состояния жизни и нравов Руси древнего периода: «Многие не только из иностранных, но и из своих о праотцах наших ⟨...⟩ думали, что были они народ дикой, препровождающий жизнь кочевую, без законов, без наук; что не вели они никогда порядочной войны, довольствуясь одними набегами на соседей; что не упражнялись они в торговле и не имели никакого союза с окрестными государствами. Но сия Духовная опровергает совершенно несправедливость таковых мнений».[62] И далее по пунктам автор «Предуведомления» рассеивает насаждаемые в трудах неназванных авторов предубеждения. Договоры Олега с греками и «Русская правда» доказывают, «что предки наши законами управлялись»; «из сей Духовной видно, что Праотцы наши хотя не ездили толпами в чужие краи для мнимого просвещения: однако не можно о них заключить, чтоб они языков иностранных не знали; а тем паче, чтобы на природном своем худо изъяснялись. ⟨...⟩ „Отец мой, — пишет Владимир, — дома сидя, умел говорить на пяти языках". Довод самой сильной против мнения тех, которые Праотцов наших почитают невеждами».[63]

Как справедливо отметил Д. Н. Шанский, «для Болтина история России ⟨...⟩ является историей общественных нравов».[64] Здесь он следовал в русле концепций, которые, восходя к Монтескье, определяли главное направление просветительской историографии в объяснении движущих сил исторического процесса. Именно Монтескье обвинял Петра I в стремлении насильственно преобразовать нравы русской нации путем изданий указов, отменявших исконные устоявшиеся веками обычаи. Болтин тоже при-

знавал решающую роль климата и воспитания в формировании нравов нации и полностью разделял мысль о недопустимости попыток насильственного изменения обычаев народа: «Неумеренное исправление причиною было разрушения многих царств; исправляя обычаи и нравы, надобно иметь великое познание человеческого сердца, чтоб не сделать при сем случае лишнего».[65] И в другом месте, обсуждая отмеченную Леклерком привычку русских крестьян носить бороды и имея в виду исторические примеры борьбы с данным обычаем в начале XVIII века, Болтин резюмирует: «Не должно вводить насилием перемен в народных началах и образе умствования их, а оставлять времени и обстоятельствам их произвести».[66]

Так, Болтин вплотную подходит к вопросу о целесообразности тех методов, к которым прибегал Петр I, проводя в жизнь свои реформы. Эта тема также затрагивается на страницах «Примечаний...». Главное, в чем он упрекает монарха-реформатора, это в неоправданной поспешности, с какой европейские нормы бытового уклада почти насильственно переносились в Россию. По поводу утверждения Леклерка о том, что до Петра I ученым других стран было запрещено приезжать в Россию, а русским ездить для просвещения за рубеж, Болтин выдвигает встречные доводы, разъясняющие истинное положение дел по данному вопросу. Имевшиеся ограничения на выезд, по его мнению, отвечали государственным интересам. И правильность подобных ограничений подтвердилась в XVIII веке, когда практика поездок за рубеж стала нормой. «С тех пор, как юношество свое стали мы посылать в чужие краи и воспитание их вверять чужестранцам, нравы наши совсем переменилися; с мнимым просвещением насадилися в сердцах наших новыя предубеждения, новыя страсти, слабости, прихоти, кои предкам нашим были неизвестны: погасла в нас любовь к отечеству, истребилася привязанность к отеческой вере, обычаям и проч.».[67] Говоря о насаждении в сердцах «мнимого просвещения», Болтин, конечно же, в первую очередь имеет в виду дворянство. Но показательно, что в своих выводах он объективно сближается с точкой зрения Ж.-Ж. Руссо: «...и так мы старое позабыли, а новое не переняли и, став непохожими на себя, не сделалися тем, чем быть желали. Сие все произошло от торопливости и нетерпения; захотели сделать то в несколько лет, на что потребны веки; начали строить здание нашего просвещения на песке, не сделав прежде надежного основания».

«Петр Великий, — заключает Болтин, — думал, что для просвещения дворянства довольно будет заставить их путешествовать по иностранным государствам; но опыт оправдал стариков наших мнение, что вместо ожиданной пользы вышел из того вред. Большая часть из посланных им возвратилися не просвещеннее, не умнее, но порочнее и смешнее».[68] Надежды на исправление создавшегося положения Болтин связывал с политикой Екатерины II.

Так русское общественное мнение в лице таких дворянских идеологов, как Болтин, приходит к переоценке устоявшихся взглядов на преобразования, производившиеся в начале столетия Петром I.

В ходе полемики с Леклерком Болтин обнаружил, что в ряде случаев источником измышлений и ошибок французского историка являлись труды князя М. М. Щербатова, с которым тот не только был лично знаком, но и консультациями которого в процессе подготовки своего труда активно пользовался. Высказывания Болтина в его адрес на страницах «Примечаний...» не остались для Щербатова незамеченными, и он ответил на них своеобразной оправдательной брошюрой «Письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории, к одному его приятелю в оправдание на некоторые сокрытые и явные охуления ⟨...⟩ от г. генерал-майора Болтина» (М., 1789). Болтин не остался в долгу и тут же написал обстоятельный «Ответ на Письмо князя Щербатова...», где по пунктам разобрал оправдания князя, уличив его в новых ошибках. Не ограничившись этим, он обратился к главному труду всей жизни Щербатова «Истории Российской с древнейших времен» и подверг первые тома этого сочинения такому же придирчивому разбору, как и труд Леклерка. Два тома его «Критических примечаний на Историю князя Щербатова» (СПб., 1793—1794) вышли из печати уже после смерти обоих историков. Блестящие полемические способности и широчайшая эрудированность Болтина вновь проявились в этом труде, пафос которого по-прежнему состоял в отстаивании непредвзятого и точного освещения древних этапов отечественной истории. Разыскания Болтина, его прочтение древних памятников и толкования их смысла не утратили своего научного значения по сей день, и предпринятая им полемика с князем Щербатовым явилась знаменательной вехой в развитии отечественной историографии последних десятилетий XVIII века.

Останавливаться на всех деталях этой полемики я не буду, тем более что отдельные аспекты ее уже достаточно освещены в трудах историков. Важно подчеркнуть еще раз, что, несмотря на принципиальные расхождения позиций в решении ряда ключевых проблем древней и современной истории России, Болтина и Щербатова объединяло общее неприятие того состояния нравственного упадка, которым оказалась заражена в XVIII веке значительная часть русского дворянства. Сближало их и то, что причину такого положения оба видели в непродуманности и поспешности преобразований, какие были предприняты Петром I в начале столетия.

В оценке отрицательных последствий реформ Петра I для судеб русского дворянства и соответственно в критике русского абсолютизма XVIII века Щербатов шел значительно дальше Болтина. Для него обращение к истории никогда не означало просто отвлеченную науку, но являлось делом жизни, некоего рода служением духу предков. В этом взгляды Щербатова и Болтина на

историю совпадали. Несмотря на то что Щербатов явился автором незавершенной, правда семитомной, «Истории Российской от древнейших времян» (1770—1791), как историк, с профессиональной точки зрения, он значительно уступал Болтину, ибо плохо ориентировался в чтении древних текстов, не знал этнографии, географии и слепо доверял европейским историографическим источникам. Но был один момент, накладывавший особый отпечаток на интерес Щербатова к истории. Обращение к национальной старине было для Щербатова всегда пронизано чувством острой сопричастности к прошлому как частице своей личной судьбы, поскольку он никогда не забывал о связи рода Щербатовых с Рюриковичами. Родовая честь была для него превыше всего.

Представитель партии старой аристократической знати, критически относившийся ко многим аспектам внутренней и внешней политики Екатерины II, Щербатов воплощал собой одну из наиболее колоритных фигур дворянской оппозиции последней четверти XVIII века. Главные показатели общего упадка нравственности, охватившего, по его мнению, большую часть русского дворянства, он видел в господствовавшем при дворе фаворитизме и потере благонравия властителями трона; к этому прибавлялись недостатки воспитания и общая утрата современниками добродетелей своих предков.

Екатерина II не любила Щербатова. Конкретных попыток ущемления его личности с ее стороны не предпринималось; мало того, она даже неоднократно пользовалась в 1760-е годы его знаниями и консультировалась с ним в процессе своих разысканий по русской истории. Но императрица относилась к нему всегда с настороженностью, догадываясь, по-видимому, о его настроениях, в частности о принадлежности Щербатова к масонским кругам. Опасения Екатерины II на его счет, как показали рукописи сохранившихся после смерти князя сочинений, были не лишены оснований. К концу 1780-х годов, особенно после начала Французской революции и еще ранее, в свете критики ученого Болтиным, к мнению которого императрица всегда прислушивалась, ее отзывы о Щербатове отмечены явной недоброжелательностью.[69]

В одном из писем Екатерины II 1791 года к Сенак де Мельяну, где речь идет об имевшихся в России опытах капитальных исторических сочинений, содержались любопытные отзывы о крупнейших авторитетах в области русской историографии, в том числе и о Щербатове: «История князя Щербатова и скучна, и тяжеловата; голова его не была способна к этой работе. История Татищева — совсем другое; это был ум человека государственного, ученого и знающего свое дело».[70] Не исключено, что суждения Екатерины об исторических трудах Щербатова были подсказаны результатами ее бесед с Болтиным. Но главное, что было неприемлемо для императрицы в его исторических трудах, — это целенаправленно проводившаяся им антиабсолютистская по существу

(несмотря на монархизм общей позиции историка) идея возвеличивания той роли, которую в истории России играла потомственная боярская аристократия. Уничтожение ее прав в тех формах, какие применял Петр I, вызывало у Щербатова естественный протест. Этим объясняется его резкое неприятие петровской «Табели о рангах» (1714). Этим же объясняется и его брезгливое отношение к практике фаворитизма при дворе, получившей особое распространение в царствование Екатерины II. В оценке личности этой императрицы Щербатов решительно расходился с Болтиным. Идеализированное изображение Щербатовым чистоты и строгости нравов, господствовавших в Московской Руси, отражало его тоску по тем временам, когда власть московских царей ограничивалась Боярской думой и когда допуск к высшим государственным должностям регулировался признанием решающей роли знатного происхождения, исключавшего лесть и угодничество, которые, как ему казалось, были главными средствами возвышения при дворе. Комплекс подобных идей составляет содержательный пафос его памфлета «О повреждении нравов в России», написанного, по всей вероятности, во второй половине 1780-х годов и остававшегося долгие годы неизвестным читателям. С этим сочинением исследователи обычно связывают представление о Щербатове как яром защитнике старины. Памфлет заключал в себе контрастное изображение образа жизни, какой вели русские цари и бояре в XVII веке, и тех обычаев и нравов, которые утвердились при русском императорском дворе в течение XVIII века.

Идиллической картине строгой простоты нравов и умеренности, господствовавших в быте царской семьи прежней Московии и в домах знатных бояр, противостоит описание постепенно нарастающего разложения нравов русского дворянства, пример которому, по мнению Щербатова, задавали сами владетели престола. Истоки этого разврата Щербатов видит в издержках реформ Петра I. Историк признает необходимость самих реформ, но считает, что поспешность их проведения, а главное, совершенно ненужная суровость в истреблении обычаев предков имели необратимые последствия для нравственного здоровья нации.

Подражание европейским модам породило стремление к роскоши, что в свою очередь породило мотовство; распространение любострастия в дворянской среде вело к забвению понятий о чести, о супружеской верности, вело к фактическому разрушению семьи: «Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестию и самством (эгоизмом. — *Ю. С.*) наполнилось. Оттуда произошло раболепство, презрение истины, обольщение Государя и прочия злы, которые днесь при дворе царствуют и которые в домах вельможей возгнездились».[71] Но особенно тягостно Щербатову было констатировать уничтожение былого величия родовой аристократии: «Разрушенное местничество (вредное, впрочем, службе и государству) и не замененное никаким правом знатным

родам истребило мысли благородной гордости во дворянах; ибо стали не роды почтенны, но чины и заслуги и выслуги; и тако каждый стал добиваться чинов ⟨...⟩ стали стараться выслуживаться, всякими образами, льстя и угождая Государю и вельможам».[72] В приведенных словах очень существенную роль для понимания подлинного отношения Щербатова к старине играет оговорка князя насчет того вреда, какой приносило местничество «службе и государству», на чем ниже мы еще остановимся. Однако определенного чувства тоски по прежним временам в его словах нельзя отрицать. И все же, рассматривая взгляды Щербатова на проблему «древней» и «новой» России, следует четко представлять себе общую методологическую основу его концепции и те факторы, которые определяли ее формирование.

С легкой руки А. И. Герцена, впервые опубликовавшего в своей лондонской типографии в 1858 году записку «О повреждении нравов в России», за Щербатовым прочно утвердилась репутация старовера, предшественника будущих славянофилов. Хотя внешние основания для такого взгляда как будто бы налицо, в целом он нуждается в серьезной корректировке. К этому понуждают некоторые стороны содержания упомянутого сочинения, а также тот факт, что его нельзя рассматривать изолированно, в отрыве от остального публицистического наследия Щербатова последних лет его жизни, остававшегося в XVIII веке неопубликованным.

Коренной проблемой памфлета Щербатова является проблема нравственного упадка высшей власти. И в процессе диагностирования этой социальной болезни автор проводит сравнительный анализ нравов. Сама мысль о решающей роли властителей престола в утверждении в душах подданных благонравия не была новостью для литературы XVIII века. Данный тезис, подсказанный теорией просвещенного абсолютизма, постоянно присутствовал и в панегирической поэзии столетия (оды Ломоносова, Державина), и в публицистической сатире (Сумароков, Фонвизин и др.). Сама по себе эта теория являлась порождением раннего этапа просветительской философии. С другой стороны, выдвигая сластолюбие и страсть к роскоши в качестве главной причины упадка нравов, Щербатов (как, кстати, и Болтин), в сущности, также повторял постулаты просветительской историографии, беря на вооружение идеи Монтескье, Кондорсе, Мабли и др. Объяснение причин упадка Древнего Рима и Древней Греции распространением роскоши у этих народов и забвением ими первоначальных законов, регулировавших жизнь предков, было общим местом в трудах французских историков XVIII века. Щербатову оставалось только применить данный подход к России, что он и сделал.

Таким образом, отправные установки Щербатова в оценке факторов, определяющих движение исторического процесса, были лишены самостоятельности и несли на себе печать эклектизма.[73] Усвоивший идеи европейских философов (а в широкой об-

разованности и начитанности Щербатову нельзя отказать) радетель национальной старины по складу своего мышления и в понимании задач исторического исследования, в сущности, оставался западником. Это не мешало, впрочем, Щербатову быть постоянно открытым приверженцем монархизма и отстаивать незыблемость для России системы крепостного права.

О том, насколько представитель аристократической оппозиции в своих оценках последствий Петровских реформ оказывался созвучным с мыслителями европейского Просвещения, можно судить по высказываниям Щербатова в рассматриваемом памфлете относительно борьбы Петра I с религиозным суеверием. Щербатов трезво и в целом положительно воспринимает меры Петра по борьбе с суевериями, однако находит их несвоевременными: «Но когда он (Петр. — *Ю. С.*) сие учинил? — ставит вопрос автор памфлета и сам отвечает. — Тогда, когда народ еще был непросвещен, и тако, отнимая суеверия у непросвещенного народа, он самую веру к Божественному закону отнимал».[74] Иными словами, Щербатов выступает сторонником просвещения народа как первого условия приобщения его к «людскости», т. е. к европейским нормам социального общежития, но сознает в то же время необходимость сохранения религиозных устоев в народе как гарантии сохранения чистоты нравов. Так, восходящая к Ж.-Ж. Руссо идея о несвоевременности реформ Петра I своеобразно сочетается с мыслями Вольтера о пользе религии для простого народа.

Особо следует остановиться на проблеме отношения Щербатова к личности Петра I в свете предпринятых им преобразований, так решительно отменивших древний уклад жизни россиян. Среди публицистических сочинений Щербатова мы находим такие, из которых явствует, что в идеализации общественных нравов, существовавших в допетровской Руси, историк не был до конца последовательным. В 1782—1783 годах им были написаны с явно полемическими целями два сравнительно небольших произведения, оба посвященных реформам Петра I, а точнее, уяснению их значения в истории России. Оба произведения не только связаны тематически, но и строятся примерно по одной композиционной схеме с сохранением последовательности приводимых фактов для аргументации благодетельности предпринятых этим монархом преобразовательных мер. По жанру они приближаются к традиционным в философской публицистике XVIII века формам эссе-рассуждений. «Примерное времяисчислительное положение, во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия сама собою без самовластия Петра Великого дойти до того состояния, в каком она ныне есть в рассуждении просвещения и славы» — так называется первое произведение, состоящее в свою очередь из двух небольших разделов: «Состояние России до Петра Великого» и «Исчисление». Щербатов не сопровождает свой очерк никакими предварительными объяснениями, а сразу грубыми резкими мазка-

ми создает довольно неприглядную картину того состояния, в каком пребывала Россия в канун Петровских реформ: «Российский народ даже до бесноверия был привязан к вере, считал всех других исповеданий Христиан погаными ⟨...⟩ был суеверен ⟨...⟩.

Не имел никакого просвещения, но многие знатные бояре и грамоте не знали.

Гордость и надменность бояр была безмерная, и дворяне у них в знакомцах и прислужниках жили. ⟨...⟩.

Местничество было в 1682 году уничтожено, но порядок не заведен ⟨...⟩ ибо в бояре и в окольничие производились по-прежнему по знатности родов, а не по заслугам ⟨...⟩.

Торговли ни внутренней, ни внешней не было ⟨...⟩.

Не было ни фабрик, ни рукоделий, и простейшие вещи получали от чужестранных. ⟨...⟩

Не было сухопутного порядочного войска ⟨...⟩. Не было флоту...».[75]

О том, в какой мере взгляды Щербатова на состояние Древней, точнее Московской, Руси расходились со взглядами Болтина, можно судить по характеристике, даваемой им юридической стороне московского быта: «Были правительства с изрядною мыслию устроенныя, яко Палата Золотая, Разрядная Палата, Земской приказ, Разбойной приказ. Холопий приказ ⟨...⟩ но они *ни регламентов, ни порядков не имели, ни формы суда и прочего, но все по обычаям исполнялось*. Законы хотя сочинением Уложения и новоуказаных статей были, но не было никакого порядку к приведению во исполнение их».[76]

Следует, конечно, учитывать, что вся эта безрадостная картина невежества и неустройства Московской Руси призвана была оттенить заслуги Петра I в просвещении страны, ибо Щербатов своим сочинением собирался опровергать взгляды как раз тех, кто считал реформы Петра I ненужными (вспомним, что к таким принадлежала в России княгиня Е. Р. Дашкова, и, по-видимому, не одна она). Но в целом ряде пунктов приведенной характеристики точка зрения Щербатова разительно напоминает утверждения апологетов просветительской миссии Петра I из числа европейских просветителей, когда они изображением невежества русских обосновывали насущность его деятельности. Русский историк как бы не хочет отставать от них в воздавании должного монарху-реформатору.

Вторая часть произведения содержит статистический расчет: сколько лет понадобилось бы России без реформ Петра I и без помощи чужестранного опыта, чтобы только собственными силами достигнуть того уровня развития, на каком она оказалась к концу XVIII века. По подсчетам историка в такое состояние (при условии полного отсутствия каких-либо внешних или внутренних помех — как-то: войны или мятежа) Россия могла бы прийти только к 1892 году, т. е. через 210 лет после открытия в ней един-

ственного до Петра I культурного заведения, каковым Щербатов считал Славяно-греко-латинскую академию, учрежденную в Москве в 1682 году.

Так доказывается благотворность предпринятых Петром I в начале XVIII столетия преобразований для просвещения России.

Не менее безапелляционно отрицательное отношение к прошлому состоянию России утверждается в другом публицистическом сочинении Щербатова тех лет — памфлетном эссе «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого». В подзаголовке автор определил жанр произведения как «беседа». В отличие от предыдущего сочинения здесь основному содержанию было предпослано обширное принципиальное вступление. Предмет эссе был необычный — «пороки» и «самовластие» монарха, но не как объекты критики или сатиры, а как повод для доказательства исторической правоты дел Петра I. Как бы освобождая себя от упреков в лести, Щербатов заявляет: «История единая, направляемая самою истиною, имеет право с равной смелостию похвалять знатные деяния и добродетели Царей земных и охулять их пороки, дабы предать в память потомству, чему должно подражать и от чего удаляться».[77]

Своеобразие внутреннего пафоса произведения обусловливает его жанровую структуру. Это «беседа», спор с неназываемыми оппонентами, с которыми Щербатов полемизирует, используя их же оружие. Он прославляет Петра, изъясняя его «пороки»: «Глаголят противники сего великого Монарха: он был строг непомерно, любил казни и пролитие крови и, не разбирая ни роду, ни чинов, уподлил себя биением окружающих его; он сына своего смерти предал; он в любострастие и в роскошь ввергался; он самовластие до крайности распростирал».[78] Кратко остановившись на каждом из обвинений, Щербатов вслед за этим вновь рисует картину того удручающего состояния, в каком пребывала Россия до вступления на престол Петра I. В сущности, он почти дословно повторяет основные пункты аргументации рассмотренного нами только что очерка. Звучание характеристик некоторых общественных зол, в частности именно местничества, он даже усиливает: «Бояре были горды, суеверны, несообщительны; местничество было хотя уничтожено, но в сердцах их пребывало в своей силе, по коему не привязанные по древнему родству с Государями, или по знатности роду преимущественно имели, но произшедшие случаем не токмо сами над знатнейшими себя начальствовали, но предпочтение сие и потомству своему предлагали...».[79]

Казалось бы, именно в системе местничества социальные устои Московской Руси могли бы для представителя аристократической оппозиции обнаруживать свою наибольшую привлекательность. Однако, по справедливому замечанию В. А. Мякотина, на «убежденного государственника», каким был Щербатов, практика местничества должна была производить «впечатление крайне

грубого, почти что уродливого порядка, и само московское боярство отталкивало его от себя своим раболепством, упорным консерватизмом и невежеством. При таких условиях у него в сущности не было прочных и искренних симпатий к московской старине, окончательно похороненной Петром».[80] Не случайно, как отмечает В. А. Мякотин в той же статье, в самом понимании природы дворянского сословия Щербатов остается человеком, пронизанным духом Просвещения, поскольку исходит из установок, предложенных Монтескье и использованных Екатериной II в ее «Наказе»: «Дворянство есть нарицание в чести». И в характеристике местничества проскальзывают детали, спроецированные явно на XVIII век, с его практикой фаворитизма, когда попавшие в «случай» выскочки переступали карьерную дорогу представителям знатных фамилий.

Обрисовав безрадостную картину отсталости России, Щербатов ставит главный вопрос: можно ли было обратить русское общество в просвещенное состояние, какого оно достигло к концу XVIII века, можно ли было превратить Россию в могущественную державу с сильной армией и современным флотом, если бы в начале столетия Петр I для проведения реформ не употреблял самовластия? Щербатов дает отрицательный ответ. Он целиком оправдывает меры монарха. По каждому пункту предъявляемых Петру обвинений через объяснение причин того или иного «порока», через раскрытие мотивов, определявших действия царя, Щербатов оправдывает его, с исторической точки зрения. Главным мотивом действий Петра I оставалось всегда желание славы и величия России. В этом Щербатов видит моральное оправдание порой жестоких мер, предпринимавшихся монархом в ходе осуществления реформ. Да, казнь царевича Алексея ужасает, но он был «тайный противник всем изволениям и учреждениям своего родителя и привязанный твердо к старым обычаям».[81] Вряд ли подобное оправдание Петра в глазах Щербатова может служить подтверждению его слепой приверженности к старине. Вот почему можно только согласиться с В. Э. Вальденбергом, когда он утверждает, что «отношение Щербатова к Петровской реформе в значительной степени зависит, как и у других историков и публицистов, от того, как он относится к допетровской старине. 〈...〉 чрезвычайно важно отметить, что к этой старине он относился крайне отрицательно».[82] Исследователь обращал внимание на закономерно возникающее противоречие между пафосом трактата «О повреждении нравов России» и идеями рассмотренных нами выше двух произведений. Если разложение нравов, охватившее русское высшее общество в XVIII веке, имеет свои истоки в реформах Петра I, то как можно прославлять данного монарха. По мнению В. Э. Вальденберга, Щербатов, признавая необходимость реформ Петра I, находил их недостаточно разумно и осторожно проведенными.

Нравы менять не следовало. А в полной мере оценить понесенные нацией в результате предпринятых реформ утраты оказалось

возможным только тогда, когда монарха-преобразователя давно уже не было в живых. Именно последовавшие за Петром властители русского престола, и особенно Екатерина II, несли, по мнению Щербатова, главную ответственность за «повреждение нравов в России».

Среди публицистических сочинений Щербатова последних лет его жизни есть произведение, где должны были бы наглядно проявиться симпатии историка к старине (если бы таковые действительно составляли основу его идейного мировоззрения). Я имею в виду его незавершенный роман, социальную утопию «Путешествие в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина».

В своей сюжетной основе роман был ориентирован на традицию западноевропейских романов подобного рода.[83] Но, создавая утопию, Щербатов имел в виду, конечно же, состояние России. Даже топографические детали в описании Офирской земли, как уже не раз указывали исследователи, подсказаны картой России, названиями ее рек, городов, губерний. И описание свободного от недостатков государственного устройства, какое наблюдает попавший в Офирскую землю г-н С., также несет на себе многие черты социального облика России XVIII века в ее идеально преображенном виде. Политический строй Офира — это сословная монархия с жестко упорядоченной системой социальной иерархии. Стабильность и процветание Офирского государства покоятся на мудрых установлениях, регулирующих все стороны жизни его жителей. Это два катехизиса: нравственный, который регламентирует личные обязанности офирцев перед Богом, и гражданский, устанавливающий права и обязанности их перед обществом, т. е. себе подобными. Неиспорченность нравов офирцев поддерживается скромным, почти аскетическим, характером их бытового уклада, а также мудрой системой воспитания.

В «Путешествии...» Щербатов попытался реализовать свои представления об идеале общественного устройства, где должны быть согласованы интересы всех социальных слоев и где устранены причины нравственного упадка, характеризовавшего жизнь правящего сословия современной Щербатову России. Отказ от обожествления личности монарха и подотчетность его верховному совету и народному собранию, гарантированность руководящей роли в государстве знатного дворянства, главенство законов и полное освобождение от суеверий при сохранении института Церкви, правда полностью преображенной, — таковы некоторые основные черты социального устройства Офирского государства.

Исследователи уже обращали внимание на явную противоречивость той картины социальной гармонии, какую рисует Щербатов в своей утопии.[84] Элементы теории общественного договора Руссо сочетаются у него с отстаиванием незыблемости принципа сословного элитаризма в распределении власти; кажущаяся свобода офирцев сдерживается жесткой системой морального кон-

троля. Не случайно священнослужители Офирского государства совмещают свои функции с выполнением обязанностей офицеров полиции. Эта противоречивость в какой-то мере отражает компилятивный характер общей позитивной программы автора. Но примечательно, что в воплощаемой в рамках художественной структуры «Путешествия...» картине идеального общества Щербатов практически полностью исключает возврат к патриархальным устоям жизни Московской Руси. Даже православной вере нет места в Офирском государстве, где, по справедливому наблюдению Э. Вегеманса, восторжествовал рационалистический деизм, дополненный с ритуальной стороны некоторыми элементами обрядов масонства и сосредоточенностью на свойственных масонам идеях благотворительности и нравственного самоусовершенствования.[85]

Поскольку события, описываемые в романе, отнесены на 1700 лет вперед, то действительность, современником которой был Щербатов, предстает в «Путешествии...» глубокой древностью. О ней рассказывает путешественнику офирский священник: «Древние истории наши повествуют нам, что было и у нас такое повреждение нравов; что почтенные старики, имея важные препоручения тогда, как уже природное побуждение в них исчезло — еще роскошь в них осталась — публично содержали распутных женщин ⟨...⟩. Чрез пример таких людей стыд отовсюду был изгнан, нравы повредились, произошла во всех чинах и состояниях расстройка; государство было при краю падения своего, ежели бы счастливое применение не обновило Офирскую империю».[86] Иными словами, роль древности выполняет в «Путешествии...» XVIII век.

Но есть один аспект содержания романа Щербатова, позволяющий высветить проблему «древней» и «новой» России в ее традиционном для историографии XVIII века осмыслении. Знакомство героя повествования с новой землей начинается с портового города Перегаба, бывшего некоторое время, 1700 лет назад, столицей Офирской империи. Вот как описываются обстоятельства возведения этого города: «Между древними нашими великими государями был единый, именуемый Перега; сей нашел государство свое непросвещенное и погруженное в варварство. Он первый учредил у нас порядочное правление, он учредил познание наук и военного искусства. Тогда еще мы (не) производили торговлю с разными народами; хотел он (их в) оную страну свою привлечь, но не имел пристанищ. Сего ради начал войну с Дысвами, и по многих переменах счастия покорил многие их области, и во время самой войны град сей во имя свое создал».[87]

Трудно не увидеть здесь зашифрованный рассказ о Петре I, о Северной войне со Швецией («Дысвами») и о строительстве Петербурга. Дальнейший рассказ посвящен превращению Перегаба в столицу Офирского государства. Прежняя древняя столица

империи — город Квамо (Москва) — была оставлена, а «сей град из болота, противу чаяния и противу естества вещей, возвеличился. Наследники его, также возлюбя сей град, украсили его огромными зданиями, берег крепкими камнями обделали, протоки сделали порядочными и также камнем одели 〈...〉 Вельможи, жившие при них, им подражали и истощали также свое имение. Многие тысячи народу погибли в сих работах и несчетныя сокровища издержаны были».[88] Но очень скоро офирцы убеждаются в ошибочности принятого предприимчивым монархом решения. Рассказчик, словами которого выражает свои убеждения, конечно же, сам Щербатов, подробно по пунктам обосновывает ошибочность перенесения столицы в Перегаб: удаленность от центра страны, опасная близость к вражеским границам, оторванность монархов от нужд глубинных областей государства, забвение дворянами своих имений и прилепление их к роскоши и т. д. — всего 7 пунктов. Примечателен 6-й, предпоследний, пункт: «Древние примеры добродетели старобытных наших великих людей, купно с забвением тех мест, где они подвизались, из памяти вышли, не были уже побуждением и примером их потомкам».[89] Фактически в приведенных словах повторяются положения, которые Щербатов развивал в памфлете «О повреждении нравов в России». Офирцы находят в себе силы исправить допущенную монархом-реформатором ошибку. Другой великий государь Офирского царства Сабакола переносит столицу государства в глубь страны, возвращая ее в город Квамо. Так в рамках утопического повествования Щербатов реализует свою затаенную мечту. По мнению Э. Вегеманса, «Щербатов выступает здесь как рупор униженной московской знати, которая вследствие Петровских реформ была оттеснена на задний план и составила оппозицию новой политике, продолженной в царствование Екатерины II».[90]

Безусловно, Щербатов никогда не переставал ощущать своей кровной связи с той родовой аристократией, значение которой после реформ Петра I было окончательно подорвано. Перенесение Петром столицы на берега Невы помимо внешнеполитических и торговых соображений, конечно же, диктовалось и стремлением монарха обеспечить бесповоротность предпринятых им преобразований, поскольку Москва оставалась своеобразным символом прежних устоев, потенциальным центром оппозиционных настроений. Но к концу XVIII века ни о каком возврате к прошлому уже не могло быть речи. Для Щербатова восстановление значения Москвы, пусть в форме утопии (история, правда, подтвердила в XX веке обоснованность воззрений Щербатова), вписывалось в его общую программу нравственного оздоровления страны. Поскольку рассадником разврата, по его мнению, был европеизированный двор с его местопребыванием в Петербурге, то возвращение Москве ее былого значения осмыслялось им как одно из условий преодоления нравственного упадка.

О серьезности данной проблемы в глазах Щербатова можно судить по еще одному произведению, остававшемуся при жизни автора ненапечатанным и посвященному теме безрадостного состояния прежней столицы: «Прошение Москвы о забвении ея» (1787). В форме делового прошения, имитирующего жанровые традиции публицистической сатиры, Москва «припадает к стопам» царствующей монархини Екатерины II с просьбой изъять ее от восьмидесятичетырехлетнего забвения и вывести из состояния заброшенности, в каком она вынуждена пребывать. Щербатов дает сжатый исторический очерк, раскрывающий заслуги Москвы в сплочении русских земель после нескольких веков раздробленности, в защите России от иноземных нашествий, не скрывая связанные с ее историей смуты. Он дает обзор исторических ценностей, которые хранят памятники Москвы. Идейным стержнем «Прошения...» является мысль о целесообразности перенесения вновь столицы с берегов Невы в Москву: «Средоточное местоположение среди Империи моего града было бы удобным к скорейшему дохождению всех известий до правительства ⟨...⟩ Коломенское, Воронцово и другия окружныя села могли бы при лучшем воздуха растворении заменить место Петергофа и Царского Села, и поля бы изобильныя не болота представляли, но обильные жатвы».[91]

Щербатов, по сути дела, явился зачинателем традиции, которая найдет свое продолжение в творчестве не одного поколения русских авторов вплоть до начала XX века. Эта традиция противопоставления Москвы Петербургу отражала новую ступень национального самосознания. На первых порах обращение к ней связывалось с осмыслением исторических судеб русского дворянства (Карамзин, Пушкин). Позднее постановка этой проблемы протекает в русле развертывания славянофильской доктрины (К. Аксаков). Но у истоков ее актуализации стоял Щербатов.

При попытке уяснить позитивные последствия тех споров, которые велись вокруг проблемы «древней» и «новой» России на рубеже XVIII века, мы должны в полной мере оценивать вклад, внесенный в решение данной проблемы такими людьми, как Болтин и Щербатов. С разных позиций и движимые зачастую разными мотивами они объективно отражали общую закономерность в эволюции русского исторического самосознания — попытку выработать собственное представление об исторических судьбах русской нации и ее положении в системе других европейских государств.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Хрущов И. П.* О просветительской деятельности Екатерины II // Университетские известия. 1873. № 12. Отд. II. С. 1—21; *Бильбасов В. А.* Екатерина II и Дидро // Рус. старина. 1884. № 5. С. 223—278. № 6. С. 445—494; *Иванов П. К.* О «просвещенном абсолютизме» в Рос-

сии 60-х годов XVIII века // Вопросы истории. 1950. № 5. С. 85—99; *Stennik J.* Die aufklärerische Position M. V. Lomonosovs und die aufgeklärte Politik Katharinas II // Russische Aufklärungsrezeption im Kontext offizieller Bildungskonzepte (1700—1825). Berlin, 2001. S. 463—475.

[2] Подробнее эта сторона деятельности Екатерины II рассмотрена в статье: *Стенник Ю. В.* Роль Екатерины II в развитии русской литературы XVIII века // Русская литература. 1996. № 4. С. 3—20.

[3] *Татищев В. Н.* История Российская. М.; Л., 1963. Т. 2. С. 34.

[4] Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774—1796). Изд. Я. Грот. СПб., 1878. С. 384. (Пер. с фр.).

[5] *Фонвизин Д. И.* Собр. соч.: В 2-х т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 275.

[6] Подробно этот вопрос рассмотрен в монографии: *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 156—181; см. также соответствующий раздел монографии: *Стенник Ю. В.* Русская сатира XVIII века. Л., 1985. С. 216—257.

[7] Всякая всячина. ⟨СПб.⟩, 1769. С. 35—36.

[8] Там же.

[9] Там же. С. 47.

[10] Там же. С. 81—83.

[11] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. М., 1787. Ч. IX. С. 314.

[12] Всякая всячина. С. 96.

[13] *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. Ч. IX. С. 315.

[14] Там же.

[15] Там же. С. 315—316.

[16] Всякая всячина. С. 40.

[17] Там же.

[18] И то и сио. <СПб.> 1769. Февраль. № 8. Без пагинации.

[19] Осмнадцатый век. Т. 4. М., 1869. С. 449.

[20] *Литтльтон Дж.* Беседы душ великих и малых людей. Пер. с Аглинского. СПб., 1788. С. 212.

[21] Там же. С. 210.

[22] Осмнадцатый век. С. 455.

[23] *Voltaire.* Siécle de Louis XV. Nouvelle edition. Lausanne, 1769. T. I. P. 47.

[24] Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого. Ч. I. М.; Л., 1985. С. 108.

[25] Осмнадцатый век. С. 450.

[26] Там же. С. 229.

[27] Там же. С. 230.

[28] О восприятии «Путешествия в Сибирь...» во Франции, в частности Дидро и Вольтером, см.: *Элькина И. М.* Французские просветители и книга Шаппа д'Отроша о России // Вестн. МГУ. История. 1973. № 6. С. 71—81.

[29] Эта сторона взглядов Екатерины II рассмотрена в статье: *Гаврилова Л. М.* «Антидот» и теория «официальной народности». (Из истории русской дворянской историографии XVIII века) // Наука и культура России XVIII века. Сб. статей. Л., 1984. С. 248—258.

[30] Осмнадцатый век. С. 289.

[31] Там же. С. 290.

[32] Там же. С. 293.

[33] Там же. С. 293—294.

[34] Там же. С. 296.

[35] Там же. С. 325.

[36] Помимо книги Дж. Перри «Современное состояние Великороссии» (Etat present de la Grand Russie, par jean Perry. Paris, 1717), которая неоднократно упоминается Монтескье, он мог читать книгу Ф. Вебера «Преображенная Россия» (Das veränderte Rusland. 1721), переведенную на французский язык и изданную в Гааге под названием «Memoires pour servir à l'histoire de l'Empire russien sous le règne de Pierre le Grand». (La Haye, 1725), а также материалы Г. фон Гюйссена (см.: *Копанев Н. А.* Французская книга и русская культура в середине XVIII века. Л., 1988. С. 13–14). Не исключено и использование Монтескье устных сообщений о России, полученных им в результате общения с Антиохом Кантемиром, бывшим в 1738 году российским посланником в Париже.

[37] *Montesquieu Ch.* De l'esprit des loix. Nouvelle edition. Copenhaque et Geneve. 1764. T.2. P.222 (пер. с франц.).

[38] Там же.

[39] Там же. P. 223.

[40] Там же. P. 222.

[41] *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М., 1969. С. 183.

[42] Там же.

[43] *Мабли Г.-Б. Де.* Об изучении истории. О том, как писать историю. М., 1993. С. 122–123.

[44] Там же. С. 123.

[45] Там же. С. 126.

[46] *Дашкова Е. Р.* Литературные сочинения. М., 1990. С. 172–173.

[47] *Мабли Г.-Б. де.* Об изучении истории. С. 128–129.

[48] Dictionnaire philosophique par Voltaire. T. VIII. Paris, 1828. P. 239 (пер. с франц.).

[49] *Мезин С. А.* Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов, 2003. С. 117.

[50] Осмнадцатый век. С. 229–230.

[51] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. I. С. 150–151.

[52] *Дашкова Е. Р.* Литературные сочинения. С. 172.

[53] *Ключевский В. О.* Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 7. С. 428.

[54] *Болтин И. Н.* Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка. СПб., 1788. Т. 1. С. 194–195.

[55] Там же. С. 469–470.

[56] Там же. Т. 2. С. 152–153.

[57] Там же. С. 67.

[58] Там же. С. 68–69.

[59] *Шанский Д. Н.* Французская историография феодальной России. М., 1991. С. 31–36.

[60] *Болтин И. Н.* Примечания... Т. 1. С. 70.

[61] Правда русская, или Законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха... СПб., 1792. С. V–VI.

[62] Духовная великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в Летописи Суздальской «Поучение». СПб., 1793. С. V.

[63] Там же. С. VI.

[64] *Шанский Д. Н.* Из истории русской исторической мысли. И. Н. Болтин. М., 1983. С. 98.

[65] *Болтин И. Н.* Примечания... Т. 2. С. 355.

[66] Там же. С. 350.

[67] Там же. С. 252–253.

[68] Там же. С. 253.

[69] В «Записках» А. В. Храповицкого за 1 ноября 1791 г. (Щербатова к этому времени уже не было в живых), где сообщалось о беседах Екатерины II с Болтиным, который в это время готовил примечания к ее пьесе «Из жизни Рюрика», проскальзывает такая деталь: «Еще призван для разговоров об истории. Удивлялись малому соображению князя Щербатова» (*Храповицкий А. В.* «Записки». М., 1901. С. 223).

[70] Вестн. Европы. 1901. Т. 6. С. 796.

[71] Сочинения князя М. М. Щербатова. СПб., 1898. Т. 2. С. 159.

[72] Там же. С. 164.

[73] О влиянии, какое западноевропейские историки и философы оказали на формирование научных взглядов Щербатова, см.: *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Л., 1965. Ч. 2. С. 100–104.

[74] Сочинения князя М. М. Щербатова. Т. 2. С. 165.

[75] Там же. С. 13–16.

[76] Там же. С. 15. (Курсив мой. – *Ю. С.*).

[77] Там же. С. 27.

[78] Там же. С. 29.

[79] Там же. С. 32.

[80] *Мякотин В. А.* Из истории русского общества. Этюды и очерки. СПб., 1902. С. 160.

[81] Сочинения князя М. М. Щербатова. Т. 2. С. 38.

[82] *Вальденберг В. Э.* Щербатов о Петре Великом. СПб., 1903. С. 6.

[83] Проблема традиций, воспринятых Щербатовым, рассмотрена в книге: *Чечулина Н. Д.* Русский социальный роман XVIII века («Путешествие в землю Офирскую г. С. швецкого дворянина» – сочинение князя М. М. Щербатова). СПб., 1900.

[84] См. об этом в указ. книге Н. Д. Чечулина, а также в статье: *Вегеманс Э.* К истории русской политической мысли: М. М. Щербатов и его «Путешествие в землю Офирскую» // Русская литература. 1989. № 4. С. 107–119.

[85] Русская литература. 1989. № 4. С. 116.

[86] Сочинения князя М. М. Щербатова. СПб., 1896. Т. 1. С. 811.

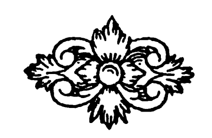
[87] Там же. С. 791.

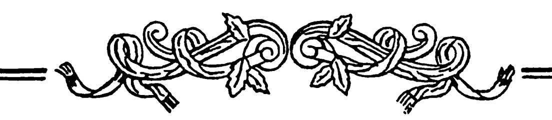
[88] Там же. С. 792.

[89] Там же. С. 793.

[90] Русская литература. 1989. № 4. С. 109.

[91] Сочинения князя М. М. Щербатова. СПб., 1898. Т. 2. С. 62.





Глава V

«ДРЕВНЯЯ» И «НОВАЯ» РОССИЯ В ИСТОРИОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ А. Н. РАДИЩЕВА

Особое место в развитии русской общественной мысли конца XVIII века принадлежало А. Н. Радищеву. Сформировавшийся под влиянием наиболее радикальных идеологических концепций эпохи Просвещения, он вынес из них фанатическую приверженность идее свободы как едва ли не единственному основополагающему фактору прогресса человеческого рода. С этой идеей Радищев связывает свои представления об идеальной полноте физического и духовного бытия человека. Все общественные явления он рассматривает под углом зрения соответствия их этому умозрительному идеалу. Оценивает ли Радищев личность Петра I и итоги его царствования, размышляет ли он об исторической судьбе Новгорода, рассуждает ли он о цензуре или о практике рекрутчины, не говоря уже о положении крепостных крестьян, — все сводится у него к проблеме свободы, и во всем он видит нарушение святого для него принципа.

Подобный подход распространяется у него и на понимание истории. Сама история предстает в глазах Радищева ареной непрекращающейся борьбы народов, в которой свободе противостоит насилие. Проявления насилия многообразны, но главным его носителем, по убеждению мыслителя, остается власть правителей. Обращаясь к истории, Радищев постоянно ищет и находит в ней примеры подавления свободы властью и одновременно образцы неискоренимого стремления народов противостоять насилию. В попытке ответить на вопрос, чем регулируется этот принцип свободы, изначально присущий человеку, Радищев, как мы увидим, сталкивается с неразрешимыми противоречиями. Лучшее свидетельство тому — его знаменитая ода «Вольность». Но показательна его неизменная вера в авторитет исторического опыта. В его социологических прогнозах, в его публицистических трактатах и законотворческих проектах апелляции к истории встречаются

сплошь и рядом. В обстановке повышенной историографической активности, какая существовала в России во второй половине XVIII столетия, особенно усилившись в царствование Екатерины II, подобное направление интересов Радищева было закономерным.

Для отечественных историков и деятелей культуры этого времени проблема исторической судьбы России в свете вызванного реформами Петра I разрыва с прошлым по-прежнему не утрачивала своей актуальности, хотя, как мы могли увидеть выше, сугубо апологетическое отношение ко всему содеянному этим монархом уступило место более сдержанным, а иногда и критическим оценкам. Радищев несомненно учитывал эти новые тенденции. Но его подходу к истории свойственна особая публицистическая заостренность. И дело не только в революционности взглядов Радищева. Сама специфика выражения им своей историософской программы придает особую сложность анализу этой сферы интересов Радищева. Методология этого анализа оказывается не всегда адекватной его предмету.

Проблема исторических воззрений Радищева привлекала внимание исследователей неоднократно. Но в основном такие работы принадлежали историкам. При анализе радищевских взглядов на историю ученые руководствовались исключительно методологическими установками своей науки, нередко при этом выполняя определенный идеологический заказ времени. Главное было — утвердить статус Радищева как первого в России проповедника революционных идей. При этом к Радищеву-историку зачастую подходили, не учитывая ни степени профессионализма его в данной области, ни специфики понимания им предмета исторических разысканий. Упускалось, например, из виду то обстоятельство, что Радищев не прошел школу научного обращения с историческими источниками, а к интерпретации привлекающих его внимание событий прошлого подходил порой весьма свободно. Достаточно заметить, что материалами для исторических разысканий в области отечественной истории ему служили исключительно печатные издания его времени. Главное же состояло в том, что обращение Радищева к истории было неотрывно от выполнения им своих творческих замыслов, прежде всего писательских, включая сюда и занятия философией, и работу над законотворческими проектами. В чистом виде ученым, исследователем истории Радищев никогда не выступал.

Дело в том, что, рассматривая исторические воззрения писателей, поэтов, философов, мы должны всегда учитывать их особое отношение к историческому факту. С научным анализом это отношение имеет мало общего. Следует ясно представлять особую историософскую окрашенность художественного или философского ощущения истории. Сам выбор того или иного факта писателем никогда не бывает случайным. И соответственно писатель вкла-

дывает в его трактовку совершенно иной смысл, нежели это будет иметь место в работе историка. Задачи научного исследования факта истории и отношение к факту на историософском уровне качественно различны.

Историческая наука, претендующая на объективность в постижении событий прошлого, описывает факты, как они представлены в источниках, и любое домысливание какого-либо скрытого в них целеполагающего значения в научном исследовании выглядит некорректно. Совсем другое дело — историософский подход, исходящий принципиально из целеполагания истории, когда изображение исторических событий оказывается подчинено раскрытию открывающегося в них автору определенного смысла. В сущности, историософский подход всегда подразумевает эстетизацию истории. И когда исследователи (как историки, так и литературоведы), обращаясь к анализу исторических воззрений писателя или поэта, пытаются видеть свою задачу в контексте решения проблем, входящих в прерогативу исторической науки, и судят о его воззрениях с позиции научной методологии, то объективность их выводов нередко предстает сомнительной. Специфическая природа историософской мысли требует особого к ней подхода.

Анализируя исторический факт на основании источников, историк исходит из того, что ему дает текст. Он может быть неполным или искаженным, может допускать критику, но научные суждения историка в оценке текста должны носить тот смысл, который определен его содержанием, и только. Это необходимое условие объективности исторического исследования. Но в художественном произведении или философско-публицистическом трактате смысловая доминанта в выражении позиции художника или публициста, обращающегося к истории, находится чаще всего за текстом и нередко предстает скрытой. Но именно она оказывается носителем историософской идеи, оплодотворяющей замысел творца. Именно за текстом раскрывается глубинная цель апелляции художника к историческому материалу. Ярчайший пример такого осмысления истории в поэзии мы видим в стихотворении А. С. Пушкина «Стансы» (1826). Этот принцип распространяется и на те случаи, когда писатель пытается выступать в роли историка, всерьез принимаясь за исторические разыскания.

Сказанное имеет самое прямое отношение к историческим занятиям Радищева. Сошлюсь на показательный пример. В написанном в ссылке философском трактате «О человеке, его смертности и бессмертии» Радищев размышляет о роли обстоятельств в судьбах людей, чьи имена вошли в историю. Фактически он пытается дать свой ответ на поставленный эпохой Просвещения вопрос о подлинных и мнимых источниках славы великих людей и занимает весьма своеобразную позицию в решении данного вопроса. Он пишет: «История свидетельствует, что обстоятельства бывают случаем на развержение великих дарований, но на произ-

ведение оных природа никогда не коснеет, ибо Чингис и Стенька Разин в других положениях, нежели в коих были, были бы не то, что были; и не царь во Греции Александр был бы, может быть Картуш. Кромвель, дошедши до протекторства, явил великие дарования политические; как-то: на войне великие качества военного человека, но заключенный в тесную округу монашеской жизни, он прослыл бы беспокойным затейником, и часто бы был бит шелепами. Повторим: обстоятельства делают великого мужа. Фридрих II не на престоле остался бы в толпе посредственных стихоплетчиков и может быть ничего более <...>. Но нужны обстоятельства, нужно их поборствие, а без того Иоан Гус издыхает во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск, заточается».[1]

Историки постоянно ссылаются на это место из трактата Радищева как на образец диалектического подхода к решению одной из узловых проблем исторической науки — проблемы роли личности в истории. Им особенно импонирует демократизм позиции Радищева, не щадящего авторитета коронованных особ и низвергающего с пьедестала величия завоевателей древности и узурпаторов власти. Действительно, в смелости мысли Радищеву отказать нельзя. Уподобление Александра Македонского знаменитому французскому вору Картушу, мысленное допущение монашеского состояния Кромвеля, которому, кстати, писатель не отказывает в «великих дарованиях политических» (но тем самым не замечает, что противоречит своему основному тезису относительно решающей роли обстоятельств в истории) свидетельствуют о его последовательном отрицании любого проявления насилия. Обратим при этом внимание на сослагательность подхода к рассмотрению и оценкам исторических явлений (что было бы, если бы...), совершенно недопустимую в исторических исследованиях.

По существу, в этом коротеньком пассаже по-своему, но довольно рельефно воплощена историософская программа Радищева. История представляется ему лишенной логики, поскольку демонстрирует торжество несправедливости — насилия и лицемерия. Картина своеобразного узурпаторства подлинного права на величие и славу слагается из уравнивания преступников с властителями, когда в одном ряду с разбойниками (Степаном Разиным и Картушем) оказываются знаменитый Александр Македонский и Чингисхан, вошедшие в мировую историю как великие завоеватели, но слава которых, по мнению автора трактата, весьма относительна. Этому ряду деятелей истории Радищев противопоставляет имена жертв насилия, мучеников за истину — лидера антикатолической оппозиции в Чехии Яна Гуса, сожженного на костре в 1415 году, выдающегося итальянского механика и астронома Галилея, подвергшегося преследованию Католической церкви в 1633 году, и также себя. Последними примерами Радищев как будто бы иллюстрирует преждевременность появления идей,

для которых в общественном сознании еще не была подготовлена почва. Именно подобные опережающие время мыслители заслуживают в глазах автора право сохранить свое имя в анналах истории. Упоминание вслед имен Лютера и Декарта призвано утвердить мысль о неизбежности торжества истины. И тем не менее наличие в этом фрагменте скрытой idee fixe несомненно.

В ряду перечисленных Радищевым деятелей истории, в основном относящихся к прошлому, выделяется упоминание прусского короля Фридриха II, современника Радищева, при жизни заслужившего титул «великого» и прославившегося в Европе своим покровительством философам и ученым. Писатель не жалует и этого монарха, рассматривая его славу как результат того обстоятельства, что он оказался всего лишь наследником прусского королевского престола, без чего Фридрих мог бы разделить участь «посредственных стихоплетчиков». О пристрастии прусского короля к стихотворству и его полной бездарности в этой области было хорошо известно.

Для понимания содержательного пафоса приведенных выше рассуждений Радищева о роли обстоятельств в истории является принципиально важным введение в число лиц, призванных подтвердить мысли автора, Фридриха II. Когда историки, трактуя этот фрагмент, наперебой повторяют фразы о диалектических прозрениях Радищева при решении им проблемы роли личности в истории, они упускают из виду затекстовый аспект рассматриваемого отрывка, его скрытую антиекатерининскую направленность. Екатерина II, подобно Фридриху, претендовала на роль просвещенной властительницы, «Минервы на престоле», для чего она также покровительствовала французским философам, вела переписку с Вольтером и активно занималась литературой, правда, на поприще драматургии. Эта репутация императрицы утверждалась в тогдашней литературе — в поэзии Г. Р. Державина, В. П. Петрова и др. Конечно же, Радищев не мог в своем трактате открыто называть имя Екатерины. Но когда после иронических ссылок на завоевателя Александра Македонского и на узурпатора Кромвеля дается весьма нелестная характеристика Фридриха II, ассоциации становятся слишком очевидными. Радищев полемизирует с историографической традицией, но общий полемический пафос фрагмента имеет вполне конкретного адресата, и объектом подобной полемики являются стихи Державина из его широкоизвестной оды «Вельможа»:

Почтен и в рубище герой!
Екатерина в низкой доле
И не на царском бы престоле
Была б великою женой.[2]

Опровержение подобных утверждений официального поэта, каким в глазах Радищева был Державин, и составляют скрытый

подтекст его размышлений о роли обстоятельств в судьбах великих исторических деятелей. Неизвестно, кем бы была Екатерина II, не окажись она на царском престоле. О подлинной цене создаваемых официальной историей репутаций должны будут судить потомки.

Таким образом, при решении вопроса об исторических взглядах Радищева важно помнить, что мы имеем дело не с профессиональным историком, а с писателем. Сами стимулы обращения Радищева к истории диктовались в основном его литературными занятиями, а также постоянным интересом к проблемам развития законодательства, штудированием философского и историографического наследия европейских и античных мыслителей. О его исторических воззрениях мы можем судить по содержанию отдельных глав «Путешествия из Петербурга в Москву». Таковы главы «Новгород», «Тосна», «Подберезье» и, конечно же, ода «Вольность», в сокращенном виде включенная в главу «Тверь». Непосредственно осмыслению отдельных аспектов русской истории XVIII века посвящено «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», опубликованное накануне завершения работы над «Путешествием...» в 1789 году. Из произведений, написанных после ссылки, истории посвящены оставшаяся незавершенной поэма «Песнь историческая» (1801) и удивительное по широте замысла, хотя, по-видимому, не вполне удавшееся, стихотворение «Осьмнадцатое столетие» (1801). К этому же ряду произведений примыкает и один из первых в русской поэзии опытов воссоздания героического духа языческой славянской древности периода становления древнерусской государственности, протекавшего в постоянной борьбе с иноземными завоевателями. Это написанная под влиянием «Слова о полку Игореве», также незавершенная поэма «Песни петые на состязаниях в честь древним славянским божествам» (1801—1802).

Непосредственно исторических трудов Радищев не оставил и неизвестно, имел ли он на этот счет какие-либо замыслы. Но сохранилось значительное количество разрозненных материалов, свидетельствующих о постоянном и целенаправленном изучении им самых различных исторических источников. Это выписки из летописей, конспекты трудов других историков, наброски, по-видимому, нереализованных замыслов, наконец, отдельные размышления по поводу исторических концепций европейских мыслителей, рассеянные в его трактатах, юридических сочинениях. Именно эти материалы представляют особый интерес для изучения исторических воззрений Радищева, поскольку в них его отношение к истории как инструменту в познании законов общественного развития проявляется особенно наглядно.

Занятия историей сопутствовали творческим интересам Радищева на протяжении всей его жизни. В попытках осмыслить различные аспекты общественной жизни человека в своей писатель-

ской деятельности, в законотворчестве, в трудах по философским вопросам — во всем Радищев стремился соизмерять опыт современности с уроками прошлого. «Если кто хотя мало вникал в деяния человеческия, *если кто внимательно читал историю царств,* тот ведает убедительно, что где более было просвещения, где оно было общественнее, там более было и превратности. Столь добро и зло на земле нераздельно», — пишет он в незавершенной статье «О добродетелях и награждениях» (III, 29). В этом высказывании весь Радищев с его напряженными умственными исканиями («вникании в деяния человеческие»), с его скрытым в глубине души постоянным чувством неудовлетворенности окружающим и порождаемым ею сомнением в цивилизаторской роли просвещения. Причем сам поиск Радищевым источников общественных неустройств, заключавший в себе коренные вопросы философской и юридической мысли XVIII века, неотрывен от обращения к истории («внимательного чтения истории царств»). И в этом состоит одна из особенностей мышления Радищева как писателя и общественного деятеля.

О чем бы ни принимался он рассуждать, почти каждое свое наблюдение, каждый волнующий его вопрос он стремится подкрепить ссылками на исторический опыт. В этом он остается представителем философской мысли эпохи Просвещения. История служит для Радищева своеобразным арбитром, полем апробации определенного комплекса идей, осмысление которых составляло предмет его постоянных интересов. Центральной среди них остается идея свободы. «Примеры всех времян свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом», — замечает Радищев в главе «Новгород» (I, 264), подводя итог своим размышлениям о причинах крушения былой славы великого некогда города. «Законы во всех государствах, *как то история повествует,* издаваемы были повременно и по случившимся нуждам и обстоятельствам», — резюмирует он в «Опыте о законодавстве» практику введения законов в государствах на ранних этапах их становления (III, 7). «*Приведите себе на память прежние повествования*», — восклицает он в главе «Хотилов» («Путешествие...» I, 320), имея в виду недавние события крестьянской войны 1773—1775 годов под водительством Емельяна Пугачева. «*Проходя протекшие времена и столетия,* мы везде обретаем терзающие черты власти, везде зрим силу, возникающую на истину, иногда суеверие, ополчающееся на суеверие», — утверждает Радищев в «Кратком повествовании о происхождении цензуры» (глава «Торжок»; I, 336) и далее подтверждает примерами излюбленный тезис просветителей о противодействии Церкви успехам просвещения. Характерна итоговая реплика путешественника, размышляющего о складе русских народных песен, заключающих в себе отражение души народа и позволяющих судить о неисчерпаемости его духовного потенциала: «Бурлак, иду-

щий в кабак, повеся голову, и возвращающийся обагренный кровию от оплеух, *многое может решить доселе гадательное в истории российской»* (глава «София» — «Путешествие...»; I, 230). В этой реплике Радищев разделяет свойственное эпохе Просвещения понимание истории как поступательное развитие народов, отвергая решающую роль героических личностей и тщеславных правителей.

Число подобных примеров можно было бы умножить. Но показательно еще одно признание Радищева как свидетельство его постоянной устремленности опираться на опыт истории. Я имею в виду его ответ в ходе следствия на вопрос о цели сочинения им оды «Вольность», содержавшей похвалу Кромвелю, подписавшему смертный приговор английскому королю Карлу I. Вот что отвечал Радищев на следствии: *«Читая историю всех времен и всех столетий* и видя, что бывшие царства подвержены были переменам и переходили из хорошего в худое состояние и из худого в хорошее и, продолжавшись многие столетия, рушились, я думал, что и всякое государство тому ж подвержено; но какой которому положен предел, Богу единому известно. Во гневе своем он народам дает худых царей в наказанье, в щедроте своей мудрых и благих царей, которыя имея попечение о пользе государства, основание его утверждают мудрыми законоположениями, которыя не только основанием служат к настоящему и будущему блаженству народов, для которых они постановлены, но и остаются для примеру позднейших времен на последование».[3] Далее следовали похвалы мудрому правлению Екатерины II с уподоблением ее Титу, Марку Аврелию, Трояну и Генриху IV и раскаяния в написании оды.

От ответа на поставленный следствием вопрос Радищев, в сущности, уходит, принимаясь рассуждать о всемирной истории и роли правителей в падении и возвышении государств. Разделяя концепцию циклического круговорота в развитии человечества, столь популярную в эпоху Просвещения, Радищев одновременно затрагивает вопрос о провиденциальном аспекте движения истории. Но кто является носителем Божиего промысла в истории, из его ответа понять трудно. С одной стороны, конечную ответственность за судьбы государств Радищев возлагает на правителей. Но в самом тексте оды карающей силой, отправляющей на казнь монарха, нарушившего общественный договор, выступает народ, точнее Кромвель, который из выразителя народной воли позднее превратился в диктатора, поправшего эту самую свободу.

Между временем написания оды «Вольность» и завершением работы над «Путешествием...» с последовавшим после его публикации следствием прошло несколько лет. За эти годы круг сведений Радищева по истории и направление его интересов в этой области могли претерпеть существенные изменения. Достаточно за-

метить, что в тексте оды ни словом не упоминается Новгород — этот символ республиканской вольности Древней Руси, которому в окончательном тексте «Путешествия...» уделена целая глава. Рассуждая о свободе, Радищев, следуя своим европейским учителям, все свои положения выводит из примеров античной и европейской истории, не считая, по-видимому, возможным рассматривать Россию в качестве субъекта всемирной истории. Имена Брута, Телля, Лютера, Кромвеля, римских диктаторов Мария, Суллы, императора Августа, европейских ученых — Галилея, Ньютона, наконец, имя вождя американской революции Вашингтона — вот набор имен деятелей, знаменующих, в глазах Радищева, свидетельства извечной борьбы между свободой и насилием. Можно подумать, что оду «Вольность» писал европеец, настолько ее историческая топонимика и общий смысловой пафос далеки от российской реальности. Правда, в 25-й строфе не совсем уместно, видимо, в чисто метафорическом смысле автор оды использует понятие «вече» («На вече весь течет народ»), говоря об английской революции. В основном же Радищева как все-таки русского поэта спасает только перенасыщенность стиля стихотворения церковнославянизмами. Исключение составляют разве что финальные строфы, где Радищев берется пророчествовать о будущем своего отечества, связывая достижение в нем свободы с распадом сложившегося веками его государственного единства. Примеры империи Александра Македонского и Древнего Рима и здесь не дают покоя Радищеву, истово исповедующему постулаты просветительской историографии. К слову сказать, историософскую концепцию, сложившуюся у него еще в период работы в начале 1770-х годов над переводом книги аббата Г. Б. Мабли «Размышления о греческой истории, или о причинах благоденствия и несчастия Греков», отразившую также и влияние популярного труда Ш. Монтескье «Размышления о причинах величества римского народа и его упадка» (переведенного и опубликованного в России в 1769 году), Радищев в полной мере развернет позднее в своей незавершенной поэме «Песнь историческая» (1802). Здесь также идея цикличности исторического процесса будет положена в основу осмысления судеб государств, решающая роль в становлении которых будет отведена мудрым законодателям. И также, в полном соответствии с просветительскими доктринами, причины упадка прежнего величия древних государств Радищев будет связывать с распространением в них стремления к богатству и роскоши, наряду с завоевательными устремлениями правителей. О прямой зависимости идейной концепции, положенной в основу содержания «Песни исторической», от вышеупомянутого труда Ш. Монтескье в свое время уже писал В. Мияковский, который по пунктам отметил все случаи совпадений вплоть до словесных повторов, встречающихся в поэме Радищева.[4] Кстати, ссылки на французского философа неоднократно встречаются в тексте по-

эмы, так же как и ссылки на римских историков — Тацита, Плиния и Плутарха.

Еще одним мыслителем, чьи идеи предопределяли пафос историософских построений Радищева в контексте воспевания им свободы, был аббат Г. Т. Ф. Рейналь, автор широко известной книги «История обеих Индий», с 3-м изданием которой Радищев познакомился в начале 1780-х годов и которая произвела на него сильное впечатление. В этом Радищев также признавался на следствии: «Сию то книгу могу я почитать началом нынешнему бедственному моему состоянию. Я начал ее читать в 1780 или 81 году».[5] Именно книга Рейналя стимулировала активизацию работы Радищева по созданию «Путешествия...». Влияние ее сказалось и на содержании оды «Вольность», по крайней мере в тех строфах, которые посвящены оценке событий американской революции 1770-х годов, а также прогнозам относительно будущего России, не говоря уже об осуждении Радищевым рабства, политического деспотизма и других форм насилия. На это уже обращали внимание исследователи.[6]

Надо сказать, что восприятие идей книги аббата Рейналя легло на подготовленную почву. Уже в ходе работы над книгой Мабли о греческой истории Радищев обнаруживает радикальность своей общественно-идеологической позиции и резкое неприятие самого принципа единодержавной власти. Влияние идей французского мыслителя здесь несомненно. Так, говоря о стремлении греческих полководцев укрепить свою власть присвоением царского титула, Мабли отмечает постоянное сопротивление этому со стороны греческого народа. В этом процессе противоборства с царями формируются гражданские добродетели афинян: «...Любовь к безподданству стала отличающим Греков качеством: даже царское имя им стало ненавистно...» (II, 232). Только демократический строй древнегреческих полисов, заявляет Мабли, мог создать общество процветающей культуры: «Самодержавно управляемая Греция не произвела бы ни законов, ни художеств, ни добродетелей, вольностию и соревнованием в ней произращенных» (там же). Правда, Радищев вслед за своими французскими учителями предпочитает не замечать того обстоятельства, что все достижения античной цивилизации стали возможны благодаря существованию в ней института рабовладения.

Таким образом, говорить об оригинальности историософской концепции Радищева, во всяком случае в том, что касается его понимания движущихся сил развития человечества на примере истории античной древности, вряд ли есть основания. В осмыслении законов истории и в своих занятиях ею он следовал не столько непосредственному изучению фактов, сколько теории, полагаясь зачастую на традицию. На это в свое время уже обращал внимание Ю. М. Лотман, отметивший, что у Радищева «реальный ход истории оценивался с точки зрения соответствия или

несоответствия его априорным теоретическим формулам».[7] Такой подход, по мнению исследователя, при всей своей научной несостоятельности в максимальной степени обеспечивал возможность насыщения его выводов революционностью. «Общественная теория не извлекалась из исторических фактов, а априорно в них привносилась».[8] И это логически вытекало из учения о человеке, выработанного материализмом XVIII века. Но эти априорно усвоенные теоретические постулаты будут определять, как мы увидим, и взгляды Радищева на отечественную историю в ее прошлом и настоящем.

Впрочем, порой реалии современной общественно-политической обстановки в Европе, а также учет исторического опыта собственной страны заставляют Радищева не соглашаться с отдельными утверждениями своих учителей. Среди его набросков и выписок, относящихся к историческим и философским штудиям 1780-х годов, сохранился любопытный полемический фрагмент, заключающий в себе несогласие с основополагающими идеями, высказанными в свое время авторитетами французской философской мысли XVIII века: «Монтескию и Руссо, — пишет Радищев, — с умствованием много вреда сделали. Один мнимое нашел разделение правлений, имея в виду древние республики, ассийские правления и Францию. Забыл о соседях своих. Другой, не взяв на помощь историю, вздумал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших должно быть насилие» (III, 47).

Что это за государства, форма правления в которых не вписывается в умозрительные схемы, предложенные в трудах Монтескье и Руссо, сам Радищев не поясняет. Но можно предположить, что в первом случае он имел в виду политическое устройство ряда европейских государств, соседей Франции, возникшее уже в Новое время и потому оставшееся неучтенным в систематизации, изложенной в «Персидских письмах» и более детально развернутой в трактате «О духе законов». К таким государствам он относил, по-видимому, Англию, Швейцарию, в истории которых выступление народов против насилия сыграло решающую роль в установлении системы правления, не повторявшей форм античной полисной демократии и тем не менее обеспечивавшей частную свободу граждан. Но расхождение с Монтескье в частностях не мешало Радищеву проявлять полную солидарность с ним в признании монархической формы власти, единственно отвечающей интересам государств с обширной территорией. Об этом мы можем судить также на основании его ответа в ходе следствия на тот же вопрос о смысле сочинения «бунтовской» оды, содержавшей похвалу Кромвелю. Радищев вновь апеллирует к истории, ссылаясь на примеры «худых царей», таких как Нерон, Калигула и др. «Все описанное относил я к государствам, где существуют по малому пространству их сложные образы правления, как то в Анг-

лии, Швеции. Но кто оспорить может истину, основанную на повествованиях всех времен, что, чем государство обширнее, тем более нужно, чтоб верховная власть была в единой руке и что пространному государству единое самодержавное правление приличествует, как то учит Монтескье».[9] Следует, конечно, учитывать, что подобное признание прозвучало из уст Радищева в ходе следствия. Но что оно имеет прямое отношение к России, это несомненно. И здесь умеренная позиция Монтескье находит в лице Радищева своего союзника.

Что касается полемического выпада Радищева против утверждения Руссо, высказанного им в главе VIII трактата «Об общественном договоре» относительно преимуществ малых государств перед большими в распространении в них справедливой формы правления, то, как уже отмечали комментаторы издания философско-политических трактатов Руссо, здесь имело место недоразумение. Монархия, в глазах французского философа, как раз и обеспечивала более оперативное действие исполнительной власти в стране больших размеров, будучи санкционирована тем же народом, оставшимся «сувереном по отношению к исполнительной власти».[10] Гораздо более существенными были несогласия Радищева с позицией Руссо в его оценке личности Петра I и проведенных в царствование этого монарха преобразований, о чем еще пойдет речь.

Таким образом, обращение Радищева к истории диктовалось всякий раз не столько интересами чистой науки как таковой (предусматривающей критику исторических источников, обращение к рукописным документам прошлого, сличение текстов и проверку различных версий их истолкования), сколько потребностью дать свои ответы на вопросы, порожденные современностью. Причем на первом месте для него стоят даже не столько художественные, сколько идеологические аспекты разработки темы истории. При этом осмысление исторических проблем, подсказанных современной жизнью, неизменно корректируется у Радищева постулатами усвоенной им современной философской мысли Западной Европы.

Сам выбор исторических реалий, особенно привлекавших внимание Радищева, его явное тяготение к вполне определенным периодам прошлого, как в масштабах всемирной истории, так и отечественной, позволяют сделать вывод о неразрывной связи исторических разысканий писателя с отстаиванием сложившихся в его душе убеждений: идеи свободы и нетерпимости к любому проявлению насилия с вытекающим из него рабством и, наконец, концепция народовластия, закономерно порождавшая отрицание принципа самодержавной формы власти, — таковы узловые темы, определявшие по-своему как проблематику занятий Радищева в области изучения истории, так и выбор событий прошлого, привлекавших его внимание как историографа.

Особое место в этих занятиях занимало целенаправленное изучение Радищевым отечественной истории. Если сведения, касавшиеся Древней Греции и Рима, Радищев вынес из знакомства с трудами античных историков (Геродота, Ксенофонта, Плутарха, Тацита и др.), которые он читал еще в период обучения в Германии, а также из постоянного обращения к сочинениям европейских мыслителей и ученых (тех же Монтескье, Мабли, трудам Рамзея, Роллена), то к изучению отечественной истории он обратился позднее, уже вернувшись в Россию. Ею он начал заниматься, по-видимому, параллельно с обращением к работе над «Путешествием...».

Первый вопрос, который необходимо уяснить для понимания соотношения историософских позиций Радищева с историографической традицией его времени, касается источников его познаний в этой области. Иначе трудно судить о степени самостоятельности его взглядов на отечественную историю. Несмотря на известный дилетантизм исторических штудий Радищева, круг источников, определявших формирование его воззрений на отечественное прошлое, достаточно широк. Он складывался прежде всего из чтения древних русских летописей, опубликованных в 1760—1780-е годы, знакомства с юридическими документами периода Московской Руси и более раннего времени, такими как «Русская правда», введенная в научный оборот В. Н. Татищевым и опубликованная в 1767 году Петербургской Академией наук под редакцией А. Шлецера, «Судебник государя царя и великого князя Иоанна Васильевича» 1550 года, опубликованный с примечаниями Татищева в 1768 году, и «Уложение» 1649 года царя Алексея Михайловича. В качестве основного ориентира, которым пользовался Радищев при выработке своей концепции самого раннего этапа становления российской государственности, ему служила «История российская с самых древнейших времен» В. Н. Татищева, основные тома которой были опубликованы Г. Ф. Миллером (Кн. 1—3. М., 1768—1774). О проработке Радищевым первых двух томов татищевской истории мы можем судить по сделанным им для себя выпискам из них. Есть основания полагать, что Радищеву был хорошо известен труд А. И. Манкиева «Ядро российской истории» (М., 1770), приписывавшийся в XVIII веке князю А. Я. Хилкову. По всей вероятности, был знаком Радищев и с историческими трудами М. В. Ломоносова — «Краткий российский летописец с родословием» (СПб., 1760) и «Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава первого, или до 1054 года» (СПб., 1766). Не подлежит сомнению детальное знакомство Радищева с обширной работой Г. Ф. Миллера «Краткое известие о начале Новгорода и о происхождении российского народа, о Новгородских князьях и знатнейших оного города случаях», опубликованной во II томе журнала «Сочинения и переводы к пользе и увеселению слу-

жащие» за 1761 год. Помимо выписок, сделанных Радищевым из этой статьи, ее влияние явственно прослеживается в главе «Новгород» знаменитого «Путешествия...», на чем я ниже еще остановлюсь. По всей вероятности, Радищев читал и сочинение Екатерины II «Записки касательно российской истории», публиковавшееся первоначально в журнале «Собеседник любителей российского слова» (1783), хотя никаких прямых свидетельств такого знакомства в заметках и выписках писателя не сохранилось.

В какой мере труды отечественных историков предопределили формирование радищевской концепции древнего периода русской истории, сказать трудно. В осмыслении коренных вопросов становления российской государственности он не столько следует общепринятым в официальной историографии мнениям, сколько противостоит им. Сам характер выписок из трудов других историков (того же Г. Ф. Миллера или В. Н. Татищева) при их конспектировании обнаруживает нередко скрытую полемичность этих выписок по отношению к источникам. На это, кстати, уже обращали внимание современные историки, в частности Б. Б. Кафенгауз в статье «А. Н. Радищев об истории России».[11] Так, им было тонко подмечено настойчивое стремление Радищева распространить на Киев принцип избираемости князей, практиковавшийся в Новгороде. Радищев действительно по-своему прокомментировал освещение Татищевым эпизода, относящегося к 1113 году, когда после смерти киевского князя Святополка Изяславича «киевляне, сошедшись к церкви святой Софии, учинили совет о избрании на великое княжение, на котором без всякого спора согласно избрали Владимира Всеволодовича».[12] Радищев расценивает сообщение этого факта как подтверждение сохранения в Киеве вечевого принципа избрания князей. Он не касается того обстоятельства, что рассказу об избрании Владимира Мономаха на великое княжение сопутствовало описание происшедшего в том же 1113 году восстания киевлян против сторонников родни Святополка и евреев — ростовщиков и тысяцкого Путяты, им покровительствовавшего. По сути дела, избрание Владимира было срочно организовано киевской верхушкой, боярами и старшими дружинниками, чтобы приостановить насилие. Но сообщаемое летописное известие Татищев сопроводил собственным примечанием, обнаруживающим в историке монархически настроенного человека XVIII века: «Сие избрание государя погрешно внесено; ибо по многим обстоятельствам видим, что силы Киевлян в том не было, и брали сущие наследники по закону или по заветам, или силою. <...> Но здесь может та причина ко избранию правильною почесться, что у Святополка сына достойного не осталось».[13]

Примечательно отстаивание Татищевым принципа прямого наследования княжеского престола, хотя Владимир Мономах как сын киевского князя Всеволода Ярославича имел право на насле-

дование отцу после смерти князя Всеволода еще в 1093 году, но во избежание распрей уступил тогда это право Святополку Изяславичу по старшинству. Характерно и применение понятия «государь» к титулу великого князя. Именно это примечание вызвало возражение Радищева в ходе конспектирования II тома татищевского труда. «Хотя г.⟨осподин⟩ Т.⟨атищев⟩ в 359 пр. стр. 458 и говорит, что то было не по закону, а что сущие наследники брали оное или по закону, или по заветам, или силою. Но хотя славяне, по его мнению, кн.⟨язей⟩ имели наследственных, но сие, как я думаю, было как у других народов, что князей выбирали из кн.⟨яжеской⟩ фамилии. А не положено было кому наследовать — сыну или брату, и то и другое случалося. А и после Киевляне то же иногда делали, как по Ярополке П. Посадили его брата Вячеслава митрополит, вельможи и народ» (III, 38—39).

Как видим, не отрицая полностью принципа наследственности, Радищев настаивает на том, что «князей выбирали», хотя и из лиц «княжеской фамилии», подкрепляя это утверждение еще одной ссылкой, теперь уже на пример посаженного на княжеский престол в 1139 году при поддержке вельмож и народа Вячеслава Владимировича, правда, не долго его занимавшего. И в подкрепление своего утверждения чуть ниже прямо заявляет: «И в Киеве были народные собрания, называемые вече, кои созывал тысяцкий» (III, 39). Было ли это нормой, определявшей неизменные устои общественной жизни города, подобно Новгородскому вече, или это были единовременные акции, обуславливаемые всякий раз чрезвычайными обстоятельствами, из конспективных выписок Радищева неясно. Но что, судя по этим выпискам, привлекает его наибольшее внимание, так это факты проявления соборности в решении вопросов власти в Киевском государстве. Идет ли речь о призвании киевлянами Владимира Мономаха на великое княжение после смерти его отца, или выписка касается практики княжеских съездов для коллективного решения назревших вопросов, или Радищев обращает внимание на совещание больного великого князя Всеволода Олеговича в 1146 году с вельможами киевскими о назначении себе наследника с последовавшим вслед за этим соглашением киевлян с Игорем, которое тот в итоге не выполнил, хотя и «целовал им на то крест», — всегда он стремится найти подтверждение лелеемой им мысли о том, что князья в Киевской Руси отнюдь не были всесильны и во многом зависели от воли и настроения народа. Этот же момент привлекает особое внимание Радищева и в указанной статье Г. Ф. Миллера, посвященной истории Новгорода, где он видит проявление народного суверенитета, что отражало реальную практику отношений новгородцев с княжеской властью.

Другой аспект освещения социальной жизни древних киевлян в труде Татищева, вызвавший также большой интерес Радищева, судя по его выпискам, касается существовавших в те времена за-

коноположений, определявших систему юридической ответственности за совершавшиеся преступления. Он делает выписки из «закона Ярославля» («Русской правды» — первого свода законов на Руси, составленного по указанию Ярослава Мудрого в 1035 году). И здесь бросается в глаза стремление Радищева уловить в законоположениях Древней Руси элементы открытости судов, их своеобразный демократизм. Он фиксирует известную иерархию ответственности за преступления (в частности, «за убиение»), совершенные против людей разного состояния. При наличии неясности в установлении вины предусматривалось коллективное разбирательство, на что обращает внимание Радищев: «...в темных случаях обиды разбиралися перед несколькими человеками, как тут упомянуто, на извод пред 12 чел⟨овеками⟩». И тут же отмечает: «Челядин покупался при свидетелях» (III, 40).

Делает Радищев выписки и из другой редакции юридического документа — «Правда Изяслава». Показательно, что и здесь, как и в конспективных выписках из документа 1035 года, обнаруживается мироощущение человека XVIII века, усвоившего идеи просветительских учений. Цитируя законоположение, касающееся права на землю: «А иже межу переорет (т. е. перепашет), либо перетес — 12 гривен», Радищев тут же замечает: «Из сего видно, что земля была собственность!» (там же). В обстановке протекавших в XVIII веке дебатов, пусть теоретических, о порядке возможного освобождения крепостных крестьян — с землей или без земли, подобная реплика звучала более чем актуально. В сущности, это было своеобразным продолжением мучительных размышлений Радищева о положении современного русского крестьянина, лишенного права распоряжаться землей, на которой он работает. И в поисках ответа писатель вновь привлекает на помощь историю.

Помимо выписок из трудов Татищева и Миллера сохранились свидетельства прямого чтения Радищевым летописей. Это прежде всего «Летопись Нестерова с продолжателями по Кенигсбергскому списку до 1206 года», опубликованная Академией наук в составе «Библиотеки Российской исторической, содержавшей древние летописи и всякие записки...» (Ч. 1. СПб., 1767). Как уже отмечал Ю. М. Лотман, изучение Радищевым русских летописей протекало под знаком поиска в них доказательств идеи «верховного характера народной власти», как свидетельства исконности у древних славян «соборного характера власти вообще».[14] Действительно, подавляющее число выписок призвано подтвердить участие народа в принятии государственных решений, в том числе и решений судеб князей, точнее, ограниченности княжеской власти волей народа. Так, Радищев выписывает место, в котором «Игорь поведал дружине своей слова царя греческого — то, что хотел и пр.» (III, 33). И тут же в скобках комменти-

рует выписку собственным заключением: «Надлежит думать, что он сам не мог решится» (там же). Идея народного суверенитета, якобы существовавшего в Древней Руси, фиксируется им в других выписках. «Отягченные податми володимирцы говорили: мы есмо волници, а князей приняли к себе, и крест целовали к нам на всем; и пр.» (III, 34). «Новгородцы жить начали и смолняне и кияне и полочане и вся власти егда на вече сходится, что старейшие здумают, на том и пригоди станут» (III, 34). Ю. М. Лотман уже обратил внимание на постоянство, с которым Радищев фиксирует приводимые в летописях случаи изгнания народом князей; он восстанавливает по летописи оборванную в радищевской рукописи концовку выписки об изгнании новгородцами в 1186 году князя Ярослава Владимировича и приглашении на княжение Мстислава Давидовича: «таков бо бе их обычай», и делает справедливый вывод: «В этих словах писатель видел подтверждение своей мысли о том, что право народа судить о степени соответствия действий государственной власти его интересам находит свою опору в исторических традициях Древней Руси».[15]

Что касается итоговой концовки, то летописец имел в виду практику отношения с князьями, принятую у новгородцев. Применительно к другим землям подобная практика как исконная традиция в летописях Радищевым не отмечается.

Помимо анализа выписок из летописи Нестора исследователь впервые обратил внимание, а также проанализировал пометы Радищева на полях издания этого памятника в составе «Библиотеки российской исторической...» (Ч. 1. СПб., 1767). Экземпляр этого издания сохранился в составе архива Института русской литературы (Пушкинский Дом). Читая летопись, Радищев отмечал наиболее важные для него места пометой на полях: «Зри». Эти пометы как бы дополняли его выписки из летописи и трудов других историков. Ю. М. Лотман справедливо отметил особое внимание, которое Радищев обращает на случаи насилия и произвола, на описание нравов предков — их суеверия, языческие обычаи, религиозные поверья, на выделение им случаев героизма простых людей. Несколько искусственным в комментариях исследователя, правда, представляется стремление негативно оценивать позицию Радищева в вопросе взаимоотношений в Киевской Руси княжеской власти с Церковью.[16] Лотман опирается в характеристике этих отношений на широкоизвестные стихи из 10-й строфы оды «Вольность»:

Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут. (I, 4)

В контексте оды Церковь предстает действительно защитницей обскурантизма и союзницей тирании. Но судя по заметкам Радищева на полях летописи понимание им роли Христианской церк-

ви, с момента ее введения на Руси, отнюдь не выглядит негативным. Помимо фактов, связанных с самим принятием христианства, его внимание привлекают такие события, как основание церквей (в частности, закладка Ярославом Мудрым в 6553(1045) году собора святой Софии в Новгороде), основание Киево-Печерского монастыря, поставление в 6569(1051) году на Киевскую кафедру русского митрополита Илариона, автора знаменитого церковно-политического трактата в форме проповеди «Слово о законе и благодати», даже смерть одного из основателей первого русского монастыря в Киеве Феодосия Печерского около 1080 году.

С момента принятия Владимиром христианства формирование государственной идеологии Древней Руси наполнилось теократическим содержанием. И на данном историческом этапе роль Церкви была несомненно позитивной. Церковные иерархи своим авторитетом не раз предотвращали кровопролития в ходе княжеских распрей. Введение Владимиром десятины от государственных доходов в пользу Церкви, что было отмечено Радищевым, было исторически оправданно. И видеть в этом «союз церкви и власти» для совместного угнетения народа, как это делает Ю. М. Лотман, вряд ли имеет под собой достаточные основания.

В поисках формы политического устройства, способной обеспечивать личную свободу отдельных граждан и участие народа в управлении государством, Радищев, как мы видели, исходит из сложившихся в европейской историографии представлений о реализации подобных принципов власти в республиках Древней Греции и Рима. В современности он обращает свои симпатии к новому светочу свободы — только что возникшим Соединенным Штатам во главе с Джорджем Вашингтоном. Восторженные похвалы этому политическому деятелю содержались в оде «Вольность». Но Радищев оставался уроженцем России, оплота самодержавного правления государства, бóльшая часть населения которого в лице закрепощенного крестьянства пребывала в состоянии политического бесправия. Принадлежа сам к правящему дворянскому сословию, он, однако, остро переживал угнетенность крестьянства, видя в нем страдающую часть населения страны. Указать пути избавления «человечества» от страданий и составляло пафос его знаменитой книги. Но были ли в истории отечества свидетельства свободы народа, и всегда ли он был закабален? Опыт прошлого доказывал, что так было не всегда. Идея народовластия не была мифом, но подкреплялась примерами не только античной, но и отечественной истории. И здесь пристальное внимание Радищева привлекла судьба древнего Новгорода. Историческому прошлому этого города он посвятил специальную главу в «Путешествии из Петербурга в Москву». Содержание главы предваряется историческим экскурсом. На подъезде к Новгороду путешественник предается элегическим размышлениям о преходящности славы и могущества государств. Он вспоминает о былой славе и процвета-

нии Афин, Спарты, Трои, Древнего Египта, остатки храмов которого теперь «служат убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя» (I, 262). Именно в контексте подобных размышлений Радищев измеряет судьбу современного Новгорода.

Что привлекало Радищева в истории древнего Новгорода? В рамках своей историософской программы он ищет в ней подтверждение своей излюбленной идеи о верховном характере народной власти. Суверенитет народа был, по его мнению, реализован в формах вечевой системы Новгородской купеческой республики. «Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у них были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь» (I, 262). Ссылка на знаменитую грамоту Ярослава, данную новгородцам за помощь, оказанную ему в борьбе с Святополком и за занятие киевского престола, по которой им гарантировались вольности и право на избрание князей, должна была в глазах Радищева подтверждать наличие в Древней Руси традиции известной ограниченности власти князей. Среди выписок Радищева из I тома труда Татищева мы читаем: «Он (т. е.Татищев — *Ю. С.*) видел список грамоты о вольности новгородцев у Феоф.⟨ана⟩ Прокоповича» (III, 34).

Этот взгляд на систему организации политической власти древних славян сохранится у Радищева и позднее. И пример правления древнего Новгорода будет оставаться для него главным аргументом в решении данного вопроса. Уже находясь в сибирской ссылке, где он пишет труд «Краткое повествование о завоевании Сибири», Радищев, характеризуя практику современных крестьянских сходов как регулятора общинного уклада жизни крестьян, заявляет об исконности этого принципа управления для России, ссылаясь на пример древнего Новгорода: «...вечевой колокол, палладиум вольности Новгородской, и собрание народа, об общих нуждах судящего, кажется быть нечто в России древнее, и роду славянскому со существенно» (II, 145).

Примечательно, что Радищев, характеризуя величие древнего Новгорода, обходит полным молчанием события, раскрывающие роль этого города в становлении российской государственности, — призывание по совету Гостомысла варяжских князей во главе с Рюриком править в Новгороде и восстание новгородцев под руководством Вадима Храброго против власти Рюрика, завершившееся гибелью руководителя восстания от руки нового правителя Новгорода. Эта легенда, зафиксированная в Никоновской летописи и неоднократно излагавшаяся другими историками, была несомненно известна Радищеву, о чем можно судить по его выпискам из статьи Г. Ф. Миллера и труда В. Н. Татищева. Но он не вспоминает об этой легенде на страницах своего «Путешествия...», и это раскрывает внутреннюю полемическую направленность его оценок древнего Новгорода по отношению к тогдаш-

ней историографической традиции. На это уже также было обращено внимание исследователей, в частности В. Н. Бернадского в его статье «А. Н. Радищев об истории великого Новгорода».[17] Согласно наблюдениям историка, в поле зрения Радищева при формировании его взглядов на новгородскую республику была книга А. И. Манкиева «Ядро российской истории». Характеристика новгородцев в труде Манкиева была выдержана в критических тонах («непостоянные и шатливые», «безумно гордые бунтовщики»). Тем не менее Бернадским были установлены явные текстовые параллели некоторых мест в главе «Новгород» с соответствующими местами труда Манкиева.[18]

Второй момент, на котором сосредоточивает внимание Радищев в главе «Новгород», касается обстоятельств подчинения Новгородской республики власти московских князей. Эта акция была совершена насильственным путем в царствование Ивана III и Ивана IV Грозного. Причем поход последнего сопровождался жесточайшими репрессиями. Именно оценка этих событий составляла центральный пункт размышлений Радищева об исторической судьбе города. Правда, создается впечатление, что он не проявляет достаточной осведомленности в понимании той роли, какую сыграл каждый из названных выше царей в подчинении Новгорода, смешивая, а точнее, объединяя, разные по хронологии события. Радищев называет только царя Ивана Васильевича, и судя по свирепству казней, по поводу которых негодует путешественник, речь должна идти об Иване Грозном. Но некоторые приводимые в главе факты заставляют вспоминать и Ивана III, на век раньше решившего, по существу, судьбу Новгорода. Следует, наконец, указать и на то, что, резко осуждая насильственные методы присоединения республики к Москве, Радищев обходит полным молчанием причины подобного поведения московских правителей. Проясним, однако, историческую ситуацию, о которой с пафосом принимался рассуждать радищевский путешественник.

Лишение Новгорода политической самостоятельности и включение его в состав Московского государства было осознанным актом, продиктованным интересами объединительной политики московской власти; оно протекало в несколько этапов. В XV веке в правление Ивана III Васильевича против Новгорода было предпринято два похода — в 1471 и в 1477 годах. Основанием для первого похода были тайные переговоры новгородской верхушки, которую возглавляли бояре Борецкие, с польским королем Казимиром IV о включении Великого Новгорода в состав Великого княжества Литовского. Королю в переговорах скрыто содействовали руководители Ливонского ордена. Москва об этом знала. Весной 1471 года договор был близок к подписанию. Попытки помешать этим планам новгородской верхушки политическими средствами ни к чему не привели.

Летом 1471 года войска царя Ивана III вместе с военным отрядом Пскова, выступившего на стороне Москвы, несколькими колоннами вторглись во владения Новгорода. Сам царь в период всего похода оставался в Старой Руссе. 14 июля того же года на реке Шелони московские силы под руководством князя Даниила Холмского наголову разгромили войско Великого Новгорода и вступили в город. Были изъяты документы о тайных переговорах. Четверо новгородских бояр во главе с Исааком Борецким были казнены. Десятки бояр и тысяцких, сторонников союза с королем Казимиром, были сосланы в заточение по отдаленным монастырям. «Меньших» людей, т. е. простых новгородцев, участвовавших в походе, Иван III велел отпустить. В процессе окончательного преодоления периода феодальной раздробленности Руси и сохранения целостности русских земель Москва вновь подтвердила свою роль объединяющего центра. В Новгороде было установлено великокняжеское правление, кроме того, решение многих судебных тяжб подпало отныне под юрисдикцию Москвы.

Второй поход Ивана III против Новгорода был предпринят осенью 1477 года и был вызван попыткой боярской верхушки отменить участие Москвы в вершении судебных дел между новгородцами. В октябре московское войско во главе с царем выступило в поход, и уже в ноябре город был осажден. Основные требования Ивана III сводились к следующему: «Вече и колоколу в отчине нашей в Новгороде не быти. Посаднику не быти. А государство нам свое держати. ⟨...⟩ А которые земли наши, великих князей, за вами, а то бы было наше».[19] Переговоры были долгие и упорные, но в итоге новгородские бояре вынуждены были принять все требования царя. В январе 1478 года состоялось подписание принятых документов. Вечевой колокол и грамота, закреплявшая вольности Новгорода, были увезены в Москву. Туда же для последующей ссылки в отдаленные области страны были отправлены несколько уличенных в измене новгородских бояр, в том числе Марфа Борецкая, закончившая свои дни в суздальском женском Успенском монастыре. Никаких репресий по отношению к простым жителям Новгорода опять не последовало. Власть в городе отныне должна была осуществляться четырьмя наместниками великого князя. Была ликвидирована и политическая власть новгородского архиепископа, до этого времени игравшего важную роль при принятии политических решений. Республиканские привилегии региона, допускавшие участие народа в управлении благодаря вечевой системе, отныне отошли в прошлое. Как верно заметил современный исследователь, «старая правда, новгородская удельная старина столкнулась с новой правдой — с необратимым ходом исторического процесса. В новом правовом сознании для старой правды не было места. Это новое сознание рождалось не умозрительным путем, а было осмыс-

лением насущных, жизненно важных потребностей Русской земли. ⟨...⟩ Безысходность „правды" новгородских бояр была очевидна, и новгородская вольность была исторически обречена».[20]

Следует, впрочем, заметить, что в условиях последовательного проведения московскими великими князьями централизаторской политики Новгородская республика как относительно свободная западная окраина Руси, не знавшая ужасов татаро-монгольского ига, обязанная своим благополучием активной торговле с Западом, действительно тяготела скорее к политическому слиянию с ближайшими западными соседями, нежели стремилась быть включенной в состав Московского государства. Новгородскую торговую и боярскую верхушку, по-видимому, мало заботила историческая и культурная общность Новгорода с остальными областями Руси. Торговля, как известно, не знает национальных или конфессиональных пристрастий, устремляясь туда, где выгоднее. Уже в XV веке Новгород состоял в Ганзейском союзе купеческих городов, что, кстати, особо подчеркивает Радищев в качестве еще одного свидетельства его независимости от Москвы. Но походы Ивана III положили этому конец.

Окончательное лишение Новгорода его былого могущества произошло век спустя в царствование Ивана IV Грозного. Поводом для его похода на Новгород в январе 1570 года стала «подметная» челобитная, содержавшая указание на якобы имевшую место связь новгородцев с опальным великим князем Владимиром Андреевичем Старицким, двоюродным братом царя, отравленным по его приказу еще в 1569 году. Вновь высказывались обвинения в измене: говорилось о тайном намерении города перейти под власть польского короля.

Поход сопровождался диким разгулом насилия и грабежами. На этот раз Новгород практически не сопротивлялся. Вступивший в город и встреченный на Волховском мосту местным духовенством во главе с архиепископом Пименом царь отказался от благословения, назвав священнослужителя изменником. Видимо, этот эпизод имел в виду Радищев, изобразив стоящего с долбнею на мосту гневного царя, предающего казням ни в чем не повинных жителей Новгорода. В ходе трапезы, состоявшейся после обедни, Грозный приказал схватить Пимена, после чего опричники кинулись грабить дом архиепископа, а затем и Софийский собор. Весь город подвергся повальным грабежам под предлогом поиска противников Москвы. Несколько тысяч новгородцев были замучены в ходе допросов. Убитых вместе с живыми сбрасывали в ледяную воду с моста в Волхов.[21] И подобное продолжалось около трех недель. С огромным обозом награбленного имущества и сокровищ царь возвратился назад. После такого погрома восстановить былое величие Новгорода было уже невозможно. Ограблению подверглись и некоторые псковские монастыри, но, если верить легенде, суеверный царь покинул Псков, устрашенный пророчест-

вом юродивого Николы. Можно предположить, что помимо политических мотивов одной из скрытых причин устроенных опричниками Грозного погромов было желание царя пополнить свою оскудевшую казну. Невиданное количество вывезенных из Новгорода богатств и то, что ограблению подверглась даже одна из общерусских святынь — Софийский собор, делают такое предположение вполне вероятным.

Из каких источников черпал Радищев сведения, касающиеся этих важнейших событий истории древнего Новгорода, он не указывает. Судя по сохранившимся выпискам и конспектам основными пособиями ему служили вышеупомянутая статья Г. Ф. Миллера, а также труды А. И. Манкиева, в которых отражалась официальная точка зрения на оценку данных фактов. Об этом в свое время уже писал В. Н. Бернадский, отметивший компилятивный характер предложенной Радищевым концепции исторической судьбы Новгорода.[22] И в данном случае, как и в других, Радищев менее всего выступает профессиональным историком. В оценке исторических фактов новгородской истории для него на первом месте выступает осуждение московских царей, растоптавших свободу вольного города. Размышляя о поступке Ивана Грозного, путешественник восклицает: «Какое он имел право присвоять Новгород? То ли что первые великие князья российские жили в сем городе? Или что он писался царем всея Руси? Или что новгородцы были славянского племени?» (I, 263). По сути дела, поставленные вопросы повисают в воздухе, ибо никакого своего мнения, могущего опровергнуть или подтвердить заявленные тезисы, Радищев не высказывает. Вместо этого он пускается в абстрактные рассуждения о «естественном праве» и соотношении его с «правом народным». «Право естественное» он связывает с понятием «силы». «Право народное» он измеряет в контексте норм «естественного права»: «Народы, говорят законоучители, находятся один в рассуждении другого в таком же положении как человек находится в отношении другого в естественном состоянии» (I, 263). Остается еще «гражданское право», от применения которого к оценке правомочности действий московских царей Радищев попросту уклоняется.

Таким образом, Новгород, символизирующий собой воплощение народного суверенитета, реализованного в вечевом принципе, предстает той коллективной личностью, уподобляемой человеку в естественном состоянии, свобода которой оказалась попрана более сильным. В обсуждение причин попрания этой свободы Радищев не входит. Для него частная вольность города, воплощаемая в вечевом принципе якобы суверенного народа, более важна, нежели государственная целостность Руси. Парадоксальным образом Радищев оказывается в одном лагере с Борецкими.

Уже при жизни Радищева наиболее важные положения его трактовки древней истории Новгорода стали предметом острой

критики. Оппонентом писателя выступила императрица Екатерина II. В своих замечаниях на книгу Радищева, которые она делала по ходу чтения ее в процессе начавшегося судебного следствия над писателем в июле 1790 года, императрица особое внимание обратила на страницы, посвященные Новгороду.

К моменту ознакомления с «Путешествием...» Екатерина была достаточно хорошо ориентирована в вопросах древнерусской истории, которой она начала заниматься почти на профессиональном уровне с 1783 года, когда приступила к работе над «Записками касательно российской истории». Проработка исторических источников, для чего ею, естественно, был привлечен целый штат сотрудников, специалистов в этой области, позволяла императрице иметь свою точку зрения на события, связанные со становлением российской государственности, и роль Новгорода в них. Эту позицию она, кстати, выразила в драме «Из жизни Рюрика», написанной «в подражание Шакеспиру» в 1786 году. И поэтому, когда Радищев с негодованием осуждает самоуправство московских государей, лишивших Новгород его вольности, и с пафосом живописует жестокость Ивана Васильевича (не уточняя, какого именно), проявленную по отношению к новгородцам, Екатерина II спокойно и со знанием дела уличает свободолюбца в односторонности и недостаточной ориентированности в тех вопросах, о которых он брался судить. К страницам 99—101 «Путешествия...» она делает замечание: «Говоря о Новгороде, о вольном его правлении и о суровости царя Иоана Васильевича, не говорит о причине сей казны (правильно: казни. — *Ю. С.*), а причина была, что Новгород, приняв унию, предался Полской республики, следовательно, царь казнил отступников и изменников, в чем по истине сказати, меру не нашел».[23]

Екатерина указывает на то, о чем умолчал Радищев. Она судит о событиях прошлого и об исторической судьбе Новгорода с точки зрения государственных интересов России и менее всего склонна руководствоваться при этом критериями абстрактной гуманности. Ниже в замечании к странице 102 императрица по-своему принимает вызов Радищева, заключенный в исполненных негодования риторических вопросах, и берется на них ответить: «Сочинитель вопрошает: но какое он имел право свирепствовать против них, какое он имел право присвоять Новгород? Ответ: древность владения и закон новгородской и всея России и всего света, которой наказывал бунтовщиков и от церкви отступников. Но сей вопрос тут делается, дабы отвергать власть и оставлен без ответа».[24]

Императрица верно подмечает непоследовательность и уклончивость Радищева в разрешении им же самим поставленных вопросов, от ответа на которые он уходит. Аргументы в отстаивании своей позиции Екатерина II находит в истории и в тех же законах гражданского права, о соблюдении которых постоянно печется

Радищев. В этой заочной полемике о судьбе древнего Новгорода позиции идеологического радикализма, которым была пронизана историософская концепция Радищева, противостоял трезвый взвешенный взгляд государственного деятеля, политика, исходившего из убеждения в незыблемости принципа самодержавия как единственно возможной формы власти в условиях России. У Екатерины, читавшей «Путешествие...», когда во Франции развертывались события буржуазной революции и рушилась монархия, при постоянном обличении путешественником самодержавия возникали вполне естественные мысли о скрытом желании автора книги перенести подобное в Россию. Это видно из заключительного замечания императрицы по поводу риторических вопросов Радищева на странице 103: «Учинены вопросы те, по которым теперь Франция разоряется».[25] Сочинение Радищева и его концепция создавались до Французской революции и независимо от нее. Но книга появилась в самый разгар революционных потрясений, и это предопределило ее восприятие Екатериной.

Радищев, конечно, понимал, что самодержавная форма правления, утвердившаяся еще в древности и особенно окрепшая в процессе преодоления раздробленности русских земель под эгидой московских великих князей, стала реальностью. Об этом можно судить из его ответов на следствии, как было показано выше. Но зачарованный теоретическими постулатами идеологов европейского Просвещения в своем стремлении применить их к условиям России, Радищев и в изучении отечественной истории занимался, в сущности, тем, что рассматривал ее под углом зрения просветительских идеалов. Особый интерес, с этой точки зрения, представляет отношение Радищева к личности первого русского императора Петра I, решительно порвавшего с древними устоями, какими жила Московская Русь, и своими реформами предопределившего «европеизацию» культурного сознания россиян. Оценка деятельности Петра I для Радищева также зачастую протекает в ее соотнесенности с состоянием Руси до XVIII века и с деятельностью ее древних правителей.

Восприятие Радищевым личности Петра было не однозначным. Но оно не было слепым повторением оценок европейских мыслителей. Помимо теории он исходил из опыта политической жизни России, современником которой явился. И поэтому восприятие личности Петра I являлось у Радищева отражением тех новых веяний в осмыслении проблемы монархической власти, которые получили свою актуальность в период царствования Екатерины II и приобрели дополнительную остроту в обстановке начавшейся в 1789 году во Франции буржуазной революции.

Значение Петра I в истории России Радищев рассматривает в нескольких ракурсах и в каждом случае занимает свою особую позицию, в чем-то развивавшую сложившиеся ранее мнения предшественников, но в чем-то отмеченную оригинальностью.

Петр I интересует Радищева прежде всего как законодатель. В этом несомненно сыграло свою роль то обстоятельство, что в занятиях Радищева историей значительное, едва ли не основное, место занимали вопросы, связанные с зарождением и развитием правовых отношений. Как юрист по образованию и профессиональному статусу Радищев невольно придавал этому аспекту своих исторических разысканий особое значение, что было естественно. Идеей всевластия законов жила философская мысль эпохи Просвещения, и он эту идею усвоил, обучаясь в Европе. Появление законодательства у разных народов, оформление на этой основе систем политической власти и влияние законов на нравы наций и исторические судьбы различных государств — эти вопросы привлекали внимание Радищева в первую очередь. Кроме того, интерес к проблемам законодательства и соответственно рассмотрение под этим углом зрения деятельности Петра I были предобусловлены исторической ситуацией в России конца 1760—1770-х годов, когда в роли законодательницы активно выступала царствовавшая императрица Екатерина II, открыто претендовавшая на роль продолжательницы просветительской политики Петра I. Не следует забывать и то, что само обращение юного Радищева на стезю юриспруденции, когда он в 1766 году на 5 лет был послан в Лейпциг в числе других русских юношей обучаться юридическим наукам, было результатом конституционных увлечений императрицы.

С другой стороны, Петр I привлекал внимание Радищева как государственный деятель, прославившийся военными победами над шведами и укрепивший военную мощь страны. Радищев не включает Петра I в число тех политиков всемирной истории, которых европейская историографическая мысль эпохи Просвещения традиционно трактовала как «завоевателей», подобных Александру Македонскому или Тамерлану. Именно на противопоставлении Петра I деятелям подобного рода строилось возвеличение этого монарха в европейской публицистике и русской панегирической поэзии XVIII века.[26] Эту позицию разделял Вольтер, осмыслявший Петра I как счастливого соперника «завоевателя» — Карла XII, ничего не смогшего противопоставить упорству и трудолюбию русского царя. Радищев следует этой традиции. Победы над шведским королем обеспечили России возврат контроля над балтийским побережьем, в результате чего страна получила, наконец, выход к морю, а в устье Невы был основан Петербург, новая столица государства. Целесообразность перенесения столицы в Петербург стала вызывать сомнения в трудах некоторых русских историков (например, князя М. М. Щербатова) на рубеже столетия.[27] Для Радищева позитивность мер Петра I по сближению России с Европой, в том числе и польза от превращения Петербурга в столицу, не подлежала сомнению. И с этой точки зрения об оспоривании им правомочности начатой Петром I Северной войны не может быть и речи, хотя к самой войне как орудию

проведения политики Радищев всегда относился без одобрения, что вписывалось в систему его идеологических убеждений, как будет показано ниже.

Наконец, главный аспект в оценке заслуг Петра I, выделяемый Радищевым вслед за отечественной и европейской традицией, касается уяснения его выдающейся роли в преобразовании России. Фигура монарха-просветителя нации вошла в сознание современников, и интерпретация Петровских реформ под углом зрения их последствий для последующего развития страны составила одну из граней радищевской историософии. Этот вопрос представляется наиболее сложным, ибо именно в этом пункте деятельность Петра I подвергалась в отечественной и зарубежной историографии наиболее серьезной переоценке. И здесь Радищев также занимал особую позицию.

Разумеется, выделение нами обозначенных выше аспектов политики Петра I, привлекавших внимание Радищева, носит до известной степени условный характер, ибо в его занятиях историей время Петра I осмысляется в неразрывности всех указанных сторон многогранной деятельности этого монарха. Однако для понимания позиции Радищева как историка своего времени предложенная систематизация целесообразна, поскольку позволяет наглядно представить тот процесс актуализации исторического опыта в современной ему политической ситуации, о которой уже вскользь было сказано выше. И, кроме того, она вписывается в параметры оценки Петра I, заданные западноевропейской историографией XVIII века, позволяя на этом фоне ощутить своеобразие радищевского подхода к этим вопросам. В чем же состояла его позиция?

Взгляды Радищева на законодательную деятельность Петра I не получили какого-то завершенного оформления в виде специального сочинения, посвященного рассмотрению данной проблемы. Как и было чаще всего в его исторических штудиях, наблюдения на этот счет не подчинялись у него какому-то плану, а носили выборочный характер. Поэтому о концепционном единстве этих разрозненных наблюдений трудно говорить. Воссоздание общего контекста всех высказываний Радищева о законотворчестве Петра I вытекает из рассеянных в его юридических и философско-публицистических сочинениях многочисленных мелких реплик, из его подготовительных набросков и исторических выписок, наконец, из частных фрагментов отдельных глав «Путешествия из Петербурга в Москву». Показательно, что сама постановка данной проблемы как бы намечается в конспективных записях, которые Радищев делает, по-видимому, в начале 1780-х годов по ходу чтения I тома «Истории Российской» В. Н. Татищева. Выписки фрагментарны и носят, на первый взгляд, случайный характер. Но они позволяют увидеть, что привлекало Радищева в тех сведениях о Петре I, которые содержались в историческом труде В. Н. Татищева.

Следует заметить, что Татищев уже в 1-м томе своей «Истории...» постоянно апеллирует к личности и деяниям Петра I, демонстрируя прекрасную осведомленность во всех аспектах его политики и знание его указов. Идет ли речь о значении исторической географии, или об этапах установления на Руси систем летосчисления, или, наконец, о порядке престолонаследия, практиковавшемся в Московском царстве, всякий раз в аргументации Татищева в цепи других ссылок на авторитеты всплывает имя царя-преобразователя. При этом приводимые исторические примеры всегда направлены на явную поддержку и оправдание политики Петра. Так, убежденный сторонник монархической системы власти Татищев посвящает фрагмент 45-й главы «О древнем правительстве русском и других в пример» проблеме наследования престола в монархиях и утверждению монархического правления в Московской Руси. Он не подвергает ни малейшему сомнению законность подавления царями боярской аристократии в ее попытках ограничить единодержавную власть. Пагубность таких попыток он доказывает примером Смуты, когда Василий Шуйский законодательно закрепил зависимость царской власти от боярской верхушки, что привело после свержения этого царя к усилению власти в Москве поляков и к общему упадку государства, едва от этого не развалившегося. «Из чего всяк может видеть, — заключает Татищев, — сколько монархическое правление государству нашему протчих полезнее...».[28] И далее Татищев, развивая мысль о вреде засилья аристократии в России, после краткой справки о роли Алексея Михайловича в укреплении царской власти ссылается на меры Петра по лишению бояр каких-либо привилегий в их участии управлением страной: «Петр Великий 1701 году из определений и указов, как тогда писали: *великий государь постановил, а бояре приговорили* — яко противное самодержавству повелел выкинуть, а писать одно свое повеление, через что власть вельмож отринута, а единовластие утверждено. Но чтоб имя бояр впредь никого не соблажняло, оное оставил, а дал чины советников разных степеней, якоже придворные и военные чрез что иное (т. е. боярство. — *Ю. С.*) в совершенное забвение пришло».[29]

Радищев выписал отдельно как справку ссылку Татищева на запрещение Петром I писать формулу *«В⟨еликий⟩ Госуд⟨арь⟩ указал, и бояре приговорили»* в ее прежнем виде (III, 35). Не подлежит сомнению, что от внимания Радищева не ускользнула трактовка Татищевым подлинных мотивов введения Петром в 1722 году «Табели о рангах» как еще одной меры по окончательному разрыву с прежним положением, когда институт боярства сохранял ведущие позиции в социальной иерархии государственных структур власти. Об отношении Радищева к этому документу еще пойдет речь. Пока же заметим, что именно с Петром I Радищев связывает завершение процесса установления в России еди-

нодержавной власти, хотя и приобретшей форму «просвещенного абсолютизма».

Нельзя отрицать, что Радищева, по-видимому, привлекал известный демократизм в обращении Петра I со своими подданными, несомненно ему присущий, несмотря на нередкие проявления явного деспотизма при проведении в жизнь своих решений. Не случайно он обратил внимание на справку законодательного характера, которую дает Татищев в главе 48 «О чинах и суевериях древних» с прямой ссылкой на именной указ Петра I от 3 апреля 1702 года «Об отмене рядных и сговорных записей, совершаемых у крепостных дел; о писании вместо того домовых заручных росписей приданному; о недействительности обручения по причине оказавшихся нравственных или телесных недостатков жениха или невесты, или по нежеланию их вступить в брак...».[30]

Данным указом Петр упорядочивал прежний закон оформления супружества, при котором сговор невесты с учетом материальных интересов жениха совершался другими лицами без знакомства последнего со своей суженой, и при сговоре давались записи с указанием неустойки против приданого. «Сим способом, — пишет Татищев, — часто такие неистовства были, что вместо невесты, если она какой-либо видимый недостаток имела, иных, нарядя, показывали и женили на таких, с которыми жить было невозможно. Сей обычай записи Петр Великий 1701-го указом отставил и дал свободу, если не понравится жениху или невесте, хотя бы в церковь пришли, отказать и разойтиться».[31] Радищев по-своему законспектировал этот фрагмент, дав сокращенную выписку из него с указанием главного: «Петр I указом 1701 (если не понравится жених невесте, как невеста жениху), хотя бы в церковь пришли, то могут разойтись» (III, 35).

Эта выписка Радищева, касающаяся законодательства Петра I в области брачного права, примечательна в нескольких отношениях. Во-первых, как видим, властный самодержец далеко не всегда пренебрегал «вольностью частною» своих подданных, за что Радищев упрекал его в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске», о котором ниже еще будет идти речь. Во-вторых, вопросы брачного права постоянно интересовали Радищева, о чем можно судить по отдельным главам «Путешествия из Петербурга в Москву» («Новгород», «Зайцево», «Едрово», «Черная грязь»), где он обсуждает различные аспекты брачных отношений, существовавших в разных сословиях. И, хотя указ Петра I касался в основном порядка бракосочетаний, принятых в дворянской среде, для Радищева пример Петра I был важен также потому, что он имел прямое отношение к той практике использования браков для решения материальных вопросов и возникавших на этой почве несправедливостей, которые случались в крестьянской среде. Этого вопроса Радищев касается в главе «Черная грязь». На эту же сторону крестьянской жизни обратила внимание, кста-

ти, в своем «Наказе» и Екатерина II в главе XII «О размножении народа в государстве», где она указывала на злоупотребления, происходившие от принятой у крестьян практики насильно женить своих сыновей или выдавать замуж дочерей, не считаясь с их волей, и предписывала «отцов поощряти, чтоб детей своих браком сочетавали, а не отымать у них воли...».[32]

Как видим, и непримиримый противник самодержавия, и российская императрица в данном вопросе занимают не столь уж несхожие позиции. И предшественником их невольного демократизма выступает Петр I в своем указе от 3 апреля 1702 года, на который обратил свое особое внимание Татищев. Мудрость «властного самодержца», каким определяет Радищев Петра I в том же «Письме...», на поприще законодательства в приведенных примерах не подлежит сомнению. Примечательны и ссылки Радищева на пример законодательной деятельности Петра I в его незавершенном трактате «Опыт о законодавстве», над которым он работал в 1780-е годы. Говоря во второй главе II отделения «о правах государя», Радищев в пункте 12 конкретизирует их: «Яко первый судия рассматривает народные надобности, определяет себе наследника», — и следует ссылка: «Указ Петра I 1722, февр. 5. Открывает торги, определяет каким быть деньгам, распоряжает государственными доходами» (III, 17). По сути дела, все отмеченные в данном пункте прерогативы государя определяются на основании учета той практики, которая осуществлялась Петром I и находила свое законодательное выражение в его указах. Петр I действительно лично вникал во все области государственного управления, не исключая и чисто экономических, финансовых, торговых вопросов. Так, например, он активно стремился превратить Петербург в главный торговый порт страны, издав в ноябре 1713 года именной указ о привозе разных товаров в Санкт-Петербург, а не в Архангельск. На следующий год последовал вновь именной объявленный из Сената указ от 16 января 1714 года об отправлении к Санкт-Петербургскому порту указных товаров пеньки и юфти. Подобное стремление придать Петербургу статус торговой столицы составляло главную заботу царя, и Радищев, ставший уже в 1780 году помощником управляющего петербургской таможни, достаточно хорошо знал эту сторону деятельности Петра, будучи, по-видимому, знаком с его указами. Петр лично вникал в сугубо финансовые вопросы. Сошлемся на его именные указы от 11 марта 1700 года «О делании медных денежек, полушек и полуполушек...»; от 18 мая 1701 года «О переделе старых денег, о присылке оных для сего из приказов на денежный двор...», от 24 апреля 1713 года «О делании медных денег и о неизрасходовании в Риге поступающих в доход ефимков».

Несомненно, в определении прерогатив государя Радищев ориентировался на эти аспекты деятельности Петра I. Впрочем, в

пункте 10 той же второй главы «Опыта о законодавстве», трактуя вопрос о праве государя отменять решения судов на основании жалоб, вызванных неправедными действиями судей, Радищев в указании истоков введения подобной практики, на мой взгляд, не проявляет достаточной осведомленности. Он сопровождает свои рассуждения на этот счет следующим заключением, носящим характер исторической справки: «Запрещение подавать челобитныя издано вельможами, а не государем» (III, 17). Источник сведений данного заключения при этом остался неуказанным. Но между тем в XVIII веке задолго до Радищева нередко издавались указы от имени как раз высшей власти в лице монарха о неподаче челобитен на имя государя, если они не касались особо важных государственных дел или неправедного судейства. И пример этому подал Петр I. Сошлемся на один из первых подобных указов Петра I — именной указ от 2 февраля 1700 года «О неподаче жалоб мимо присутственных мест Государю, кроме важных Государевых дел». Указ гласил: «Великий Государь указал всяких чинов людем сказать: до сего указу сказано, чтоб опричь великих Государственных дел и о неправых вершенных дел на судей с иным ни с каким челобитьем к Самому Великому Государю, не бив челом и не подав челобитен судьям, не ходили и челобитен не подавали; а буде кто придет и тому будет учинено наказание...».[33] Иными словами, право государя отменять неправедные решения судей санкционировалось не вельможами, а самим государем, хотя одновременно данным указом фактически запрещалось обращаться на имя монарха по любым вопросам, не относящимся к указанным двум. И эта практика сохранялась на всем протяжении XVIII века, о чем Радищев как юрист, конечно же, не мог не знать. И в этом также не могла не проявляться его известная непоследовательность в постоянном осуждении самодержавного принципа власти.

В то же время для Радищева, для которого закон есть «связь общества», источник общего блага, очень важной представляется упорядоченность системы законодательства. В этом он видит залог государственной стабильности и общественного благополучия: «...истина есть первоначальная, что там, где законы издаваемые суть расположены систематическим порядком, там много уже мудрых существует или узаконений, или обычаев, которые содержат связь государственную» (III, 41). Но именно это отсутствовало, по его мнению, в законодательной практике периода царствования Петра I. Здесь Радищев отдает явное предпочтение его предшественникам, и в частности его отцу царю Алексею Михайловичу. В тех же разрозненных заметках, касающихся русской истории, связывая с личностью Петра I решающие успехи по укреплению политической мощи России по сравнению с тем, что было до него, Радищев, однако, в законодательной политике Петра I не видит систематически последовательного, пронизанного предвидением будущего, порядка. Так, охарактеризовав сжато заслуги Алексея

Михайловича по укреплению безопасности тогдашней России, он переходит к определению того нового, что принесло царствование Петра: «Но окончательное преобразование сего огромного государства предоставлено было тому, которой, возросший среди бедствий, приобрел столь нужную для государя казну, познание людей и которой, воюя беспрестанно, мог среди браней, и только тем одним, ввести порядок внутри государства» (там же). Однако же как законодатель Петр I в глазах Радищева обнаруживает свою несостоятельность. «Бесконечные постановления, занятые по большей части в иностранных землях без всякой иногда сообразности с местными обстоятельствами, показывают, что алкавшая его душа великого спешила претворять, не занимаясь маловажными подробностями, которые время очищает неприметно» (там же).

И в противовес законодательной политике Петра I Радищев ссылается на пример его отца, Алексея Михайловича, чья деятельность в области законов, по его мнению, была пронизана заботой об общем, свободна от преследования сиюминутных выгод и потому не страдала противоречивостью: «Уложение царя Алексея Михайловича можно почесть законом систематическим, все единым оком объемлющим и устремляющим все к единому концу. Но последующие законы все были частные. Петр Первый, тронутый более блеском наружным общественной связи, нежели ее внутренним блаженством, обращал свои законы на торговлю, мануфактуры, морское и сухопутное войско. В судах учредил порядок течения дел, но ось, так сказать, на коей всему вертеться должно, оставил прежнюю. В последующие времена еще далее удалилися от истинныя цели» (III, 42).

В чем была эта «истинная цель» упорядочения законодательства, Радищев не разъясняет, хотя в контексте всего рассуждения таковой, по-видимому, должно было бы быть создание некоей единой системы законоположений государства, пример которой он видел в Уложении Алексея Михайловича. Историк Б. Б. Кафенгауз, посвятивший специальную статью изучению исторических взглядов Радищева, считал, что под «осью», оставленной Петром I в «прежнем» виде, следует понимать самодержавие и крепостное право.[34] На мой взгляд, приведенная выше радищевская оценка непоследовательности законодательной политики Петра I имеет своей конечной целью указать не только на факты исторического прошлого, но и на современность. Ее следует рассматривать в самой непосредственной связи с тем скептическим отношением, какое писатель испытывал к отдельным аспектам законодательной политики Екатерины II.

Важно обратить внимание на отсылку Радищева к «последующим временам». Судя по фактам, на которые далее ссылается Радищев, он имеет в виду даже не столько периоды царствования Анны Иоанновны или Елизаветы Петровны, сколько время, непосредственно связанное с правлением Екатерины II.

Состояние дел в законодательной сфере этого периода Радищев оценивает весьма критически. При всей разумности отдельных указов императрицы сам порядок проведения их в жизнь порождал практику нарушения законов, неразбериху в структурах высшей власти и коррупцию в судах. И истоки такого положения кроются, по мнению Радищева, в системе законоположений, заложенной в петровское время. Приводимый Радищевым тут же пример, когда по настоянию винных откупщиков было отменено действие необходимого для блага государства закона во имя якобы интересов казны, лишний раз призван был подтвердить пагубность всевластия самодержавного централизма, не контролировавшего полностью действия бюрократии, пользовавшейся отсутствием единой системы законоположений. При всем стремлении Екатерины II обеспечить соблюдение в России законов положение в этой области, по мнению Радищева, со времен Петра I мало изменилось.

Несколько иной характер оценка законодательной деятельности Петра I приобретает на страницах «Путешествия из Петербурга в Москву». О ней упоминается дважды в свете тех последствий, какие имели некоторые из указов Петра для судеб российского дворянства. В основном речь идет об известной «Табели о рангах», указа Петра I, регулировавшего порядок прохождения службы дворянами и устанавливавшего строгую иерархию различных степеней государственных служащих как военных ведомств, так и гражданских, и придворных. Так, в главе «Тосна» путешественник встречает едущего из Москвы стряпчего, избравшего своим трудом восстановление для желающих дворянского родословия. Тот жалуется на сложности в удовлетворении претензий, возникшие после уничтожения царем Федором Алексеевичем института местничества: «Сие строгое законоположение поставило многие честные Княжеские и Царския роды наравне с Новгородским дворянством» (I, 231). Но особенно ощутимый удар по привилегиям родовитого дворянства нанес, по мнению стряпчего, Петр Великий своей «Табелью о рангах». «Открыл он путь чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титла, и древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь» (там же). Положение усугубили и меры Екатерины II, утвердившей «прежние Указы высочайшим о дворянстве положением, которое, было, всех степенных наших востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех» (там же). Фигура стряпчего в его собственном рассказе предстает в комическом виде. Он смешон со своей профессией, служащей потаканию спеси некоторых дворян с их хвастовством своей древней породой. И, казалось, позиция Радищева исполнена здесь несомненного демократизма, ибо о его солидарности со стряпчим в отношении «Табели о рангах» Петра I, судя по контексту, вряд ли приходится говорить.

Но вот в главе «Хотилов» после прочтения «Проекта в будущем» путешественник находит в бумагах своего друга целую связку законоположений, касающихся проекта «постепенного освобождения земледельцев в России», т. е. отмены крепостного права. На этом фоне симптоматична реакция путешественника на найденный между других указов упомянутый указ о рангах Петра I: «Между многими постановлениями, относящимися к восстановлению по возможности равенства во гражданах, нашел я табель о рангах. Сколь она была некстати нынешним временам и оным несоразмерна, всяк сам может вообразить» (I, 322—323). Теперь отношение к этому документу петровского времени, как видим, носит явно отрицательный характер. Для понимания этой метаморфозы в позиции Радищева важно учитывать скрытый пафос одной из предыдущих глав «Путешествия...» («Зайцево»), содержащей описание убийства крестьянами своего помещика за насилие и оскорбление их нравственного достоинства. Радищев оправдывает совершенное крестьянами деяние, и на основании этого большинство исследователей в главе «Зайцево» традиционно ищут подтверждение радикализма позиции Радищева, якобы поддерживающего здесь идею крестьянского бунта, чуть ли не социальной революции. Но вот что обращает на себя внимание в данной главе. Издевавшийся над крестьянами асессор не был потомственным дворянином, но получил дворянское звание, выслужив его по «Табели о рангах». Рассказчик описанного выше события излагает послужной список новоявленного дворянина, начавшего свою службу придворным истопником, потом служившего лакеем, камер-лакеем и закончившего ее в должности мундшенка. Именно низкое происхождение асессора объясняет, по мысли автора, его зверское отношение к подневольным ему крестьянам. Но тем самым становится понятным тот тон неудовлетворенности «табелью о рангах» «в нынешние времена», в котором выдержано упоминание о ней в главе «Хотилов».

В свете этого характерно отношение Радищева к проблеме права на приобретение дворянского звания, зафиксированное в соответствующей 12-й главе («О дворянстве») его незавершенного юридического проекта «Опыт о законодавстве». Вот что говорится в пункте, касающемся вопроса выслуги дворянства лицами низкого состояния: «Дослужившиеся не из дворян до обер-офицерства в воинской службе суть дворяне и дети их, родившиеся в обер-офицерстве. 〈...〉 *Гражданская и придворная служба сего титла не дает,* также дослужившимся по мастерствам» (III, 22). Как видим, в своем проекте Радищев отходит от установлений «Табели о рангах» и тем самым, по существу, подвергает сомнению мудрость и дальновидность законодательной политики Петра I. Она, действительно, в ряде случаев носила поспешный характер, будучи обусловлена требованиями сиюминутной конъюнктуры, и нередко одни указы противоречили другим.

Оценка Петра I как преобразователя России, вознесшего на высшую ступень ее военную мощь и утвердившего на берегах Невы новую столицу империи, содержится в сочинении Радищева «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего». Написанное как отклик на открытие 7 августа 1782 года в Петербурге воздвигнутого по инициативе Екатерины II памятника Петру I «Письмо...» в то же время является ярким публицистическим сочинением, в котором затронуты волновавшие Радищева вопросы природы монархической власти и источников ее величия, а также философская проблема возможности обретения человеком свободы в условиях монархии, не говоря о более мелких, касающихся конкретного повода сочинения «Письма...», деталях его содержания.

Прошло 57 лет со дня смерти великого монарха, и тот факт, что Петра уже не было в живых, придавало в глазах Радищева данному торжеству особый глубокий смысл. По мнению автора «Письма...», только сейчас наступает истинное время оценки величия Петра I, ибо плоды его трудов воплотились в реальных свершениях его политических планов: победа над Швецией, благодаря созданию армии и флота, строительство на берегах Невы великолепного города. Тысячи зрителей, наблюдающих в присутствии императрицы парад войск — прохождение гвардейских Преображенского и Семеновского полков, «бывших некогда сотоварищами опасностей Петровых и его побед, также и других полков гвардии», — желают зреть на этой церемонии «лице обновителя своего и просветителя» (I, 147). Но восприятие современниками Радищева образа Петра I — властителя судьбы — является в глазах автора всего лишь призрачным обманом, результатом внушаемого высшей властью гипноза, принадлежащего миру фальшивых ценностей, имеющих, по его мнению, мало общего с истиной. Подлинное понимание того, чем был этот великий монарх, для его современников не может сводиться только к поклонению. «...Тысячи зрителей на сделанных для того возвышениях и толпа народа, рассеянного по всем близлежащим местам и кровлям, ожидали с нетерпением зрети образ того, которого предки их в живых ненавидели, а по смерти оплакивали. Истинно бо есть и непреложно; достоинство, заслуги и добродетель привлекают ненависть нередко и самих тех, кои причины не имеют их ненавидеть» (I, 147—148). Такова диалектика восприятия великих свершений, значение которых не всегда открыто их современникам.

Прибытие на церемонию Екатерины II служит сигналом для открытия памятника. «И се явился паки взорам нашим седящ на коне борзом в древней отцов своих одежде Муж, основание града сего положивший и первый, который на Невских и Финских водах воздвиг Российский Флаг, доселе не существовавший» (там же). Преклонение головы перед образом героя императрицей исторгают слезы радости из глаз присутствующих. И Радищев вновь возвра-

щается к проблеме монархической власти под углом зрения отношения к ней современников и, в частности, ближайшего окружения царя: «О Петр! Когда громкие дела твои возбуждали удивление и почтение к тебе, из тысячи удивлявшихся великости твоего духа и разума был ли хотя един, кто от чистоты сердца тебя возносил. Половина была ласкателей, кои во внутренности своей тебя ненавидели и дела твои порицали, другие, объемлемые ужасом беспредельно самодержавныя власти, раболепно пред блеском твоея славы опускали зеницы своих очей. Тогда был ты жив» (там же).

У Екатерины II, читавшей это сочинение вместе с «Путешествием...», навязчивые упоминания Радищева о ненависти к Петру I со стороны его современников вызвали резкую неприязнь. И на это были свои основания. Умная императрица прекрасно уловила скрытый подтекст произведения. Несмотря на оформление его в виде письма к другу, оно менее всего носило характер интимного послания. Скорее всего, это было исполненное экспрессии обращение к современникам, уже заключавшее в себе черты будущего «Путешествия из Петербурга в Москву». Это был, по существу, спор с неназванным оппонентом, и таковым была царствующая императрица, воздвигшая монумент Петру. Само событие открытия памятника призвано было возвеличить ее царствование, и сказанное применительно к Петру в равной мере распространялось и на Екатерину II. «Но колико крат более признание наше было живее и тебя достойнее, когда бы оно не следовало примеру твоея преемницы ⟨...⟩ примеру того, кто смерть и жизнь миллионов себе подобных в руке своей имеет» (там же). Скрытая антисамодержавность убеждений Радищева заключена уже в этих словах.

Радищев исходит из идеи неприятия деспотизма Петра I, проявленного при проведении реформ и вызывавшего ненависть современников. С этим же было связано и еще одно навязчивое убеждение Радищева, также подспудно ассоциировавшееся с отдельными аспектами политики Петра в деле реформирования армии: «Стоявшие в строю полки ударили поход, отдавая честь, и с преклонными знаменами шли мимо *подавшего им первый пример слепого повиновения воинской подчиненности,* показывая учредителю своему плоды его трудов...» (I, 149). В контексте отрицания деспотизма он рассматривает и существование в любой армии дисциплины, видя в этом лишение человека его естественного права на свободу. Эту тему Радищев развивает позднее в «Путешествии...» в главе «Хотилов»: «Превращенные точностию воинского повиновения в куклы, отъемлется у них даже движения воля, толико живым веществам свойственная. Они знают только веление начальника, мыслят, что он хощет, и стремятся, куда направляет. Толико всесилен жезл над могущественнейшею силою государства» (I, 316). Таковы крайности радищевского ригоризма в отстаивании им якобы общечеловеческих ценностей и права на свободу личности, непризнаваемого самодержавием. На это так-

же обратила внимание Екатерина II в своих замечаниях на «Путешествие из Петербурга в Москву», отметив, в частности, высказывания автора книги на стр. 76 в главе «Спасская полесть», содержащие осуждение монархов. Напомним это место, где странница Прямовзора обращается к монарху, обвиняя его в развязывании военных конфликтов, гибели солдат на войне и страданиях родных и близких погибших: «Ибо ведай, — говорит Прямовзора, — что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиенном на ратном поле, и жена о муже своем; ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое» (I, 254). Эти слова, несомненно, выражали позицию самого Радищева, и к ним императрица сделала следующее замечание: «Стр. 76. Птенцы учат матку. Злость в злобном, во мне ее нет.

Убивство войною называемое, чего же оне желают, чтоб без обороны попасця в плен туркам, татарам, либо, покорится шведам».[35]

В реплике Екатерины II довольно точно обозначены главные приоритеты внешней политики России XVIII века. В этом она выступает прямой продолжательницей политики Петра! Именно при Екатерине предпринятые Петром I в начале века энергичные усилия по возврату России контроля над балтийским побережьем и по обеспечению безопасности южных рубежей страны с выходом к Черному морю и присоединением Крыма были успешно и окончательно завершены. И, заявляя свое несогласие с утверждениями о войнах, содержавшимися в книге, императрица открыто обвиняла Радищева в том, что в своих пацифистских порывах он желал бы оставить российское государство беззащитным перед его соседями.

В конце «Письма...» Радищев останавливается на вопросе правомочности включения Петра I в число великих людей мировой истории. «Петр, по общему признанию, наречен великим, а Сенатом — отцем Отечества. Но за что он может Великим называться?» (I, 150) — задает вопрос Радищев. Он сравнивает Петра I с выдающимися деятелями прошлого и современности, удостоившимися быть включенными в этот ряд.

Здесь Радищев вступает в полемику, которая велась в эпоху Просвещения по переоценке авторитетов мировой истории, исходя из постулатов гуманизма и признания интересов отдельной личности высшими ценностями цивилизации. Он полностью разделяет точку зрения, основанную на развенчании славы таких монархов, как Александр Македонский, Карл Великий или византийский император Константин, «омывыйся в крови сыновней». Он также сомневается в правомочности награждения титулом «великий» доброго Генриха IV, «тщеславного и кичливого» Людовика XIV и даже прусского короля Фридриха II, числившегося «великим» еще при жизни.

«Все сии Владетели, о множестве других не упоминая, коих ласкательство великими называет, получили сие название для того, что исступили из числа людей обыкновенных услугами к Отечеству, хотя великие имели пороки. Частной человек гораздо скорее может получить название великого, отличается какою-либо добродетелею или качеством, но правителю народов мало для приобретения сего лестного названия иметь добродетели или качества частных людей. ⟨...⟩ Посредственной Царь исполнением одной из должностей своего сана был бы, может быть, великий муж в частном положении; но он будет худой Государь, если для одной пренебрежет многие добродетели. И так вопреки Женевскому гражданину познаем в Петре мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно» (I, 150).

В этом рассуждении стихийный демократизм радищевской позиции в отношении к монархической власти проявляется в полной мере. Как видим, включение названных выше правителей в число «великих» не отрицается Радищевым полностью, но он связывает это не с величием души перечисленных властителей, а с тем положением, в какое они были поставлены, волею судьбы оказавшись во главе государств. Для славы государя добродетелей частного человека недостаточно; Радищев категорически отрицает такое положение, при котором монарх предает забвению добродетель ради исполнения хотя бы единой из должностей своего сана. Иными словами, гуманность ставится им во главу угла тех требований, какие он предъявляет высшим властителям. На фоне монархов, которые уже включены в пантеон «великих» мировой истории, он оставляет место и Петру I. В этом смысл заключительной фразы абзаца, полемически направленной против известного утверждения Ж.-Ж. Руссо, высказанного в его трактате «Об общественном договоре», где французский философ весьма скептически оценивал способности Петра как государственного деятеля и всего содеянного им по преобразованию своей страны, вообще отрицая целесообразность цивилизаторских начинаний в условиях России.[36]

Что же касается Радищева, то надо отдать должное его историческому чутью. Как человек, сформировавшийся духовно под влиянием идей европейского Просвещения, он понимал неизбежность избранного Петром I курса преобразований по пути сближения с Европой, какими бы методами он ни проводился. В то же время как русский человек, имея перед глазами реальные исторические результаты титанических усилий Петра по реформированию страны, предпринятых этим монархом в начале столетия, Радищев не мог согласиться с утверждениями Руссо, хотя к деспотическим методам проведения реформ он продолжал относиться отрицательно.

В итоговом определении заслуг Петра I перед отечеством Радищев выделяет именно его преобразовательную деятельность по просвещению страны и укреплению ее военного могущества. «И

хотя бы Петр не отличался различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим называться, что дал первый стремление столь обширной громаде, которая яко первенственное вещество, была без действия» (I, 150). Радищев несомненно имеет здесь в виду приобщение России к плодам европейского просвещения, выдвигая это на первое место среди заслуг Петра. Однако Радищев не был бы самим собой, если бы не заключил свои оценки личности Петра замечанием, позволяющим видеть в нем мыслителя, до конца сохраняющего верность идеалам просветительского свободолюбия. Последние фразы «Письма...» если и не содержат прямого осуждения Петра I, то через открытое порицание деспотизма этого монарха могут рассматриваться как завуалированное наставление в адрес живых носителей монархической власти. Превознося хвалами столь властного самодержца, который истребил последние признаки «дикой вольности своего отечества», Радищев остается верен главной идее всей своей жизни: «И я скажу, что мог бы Петр славнея быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную» (I, 151).

Радищев, конечно же, воспринимал личность Петра I в мифологизированном ее облике, созданном уже историографической традицией эпохи. В чем-то этот миф основывался на вере в концепцию «просвещенного абсолютизма», столь популярную в XVIII веке. Радищев не питал иллюзий на этот счет, хотя признание исторических заслуг Петра I в его глазах не подлежало сомнению.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М..; Л.; 1941. Т. 2. С. 128—129. В дальнейшем все ссылки на сочинения Радищева следуют по этому изданию с указанием тома и страниц в тексте главы. Курсив мой. — *Ю. С.*

[2] Сочинения Державина с объяснительными примеч. Я. Грота. Т. I. СПб., 1864. С. 628.

[3] *Бабкин Д. С.* Процесс А. Н. Радищева. М., Л., 1952. С. 183.

[4] *Мияковский В.* «Песнь историческая» А. Н. Радищева и «Considerations» Монтескье // Журнал министерства народного просвещения. 1914. № 2. Отд. II. С. 236—248.

[5] *Бабкин Д. С.* Процесс А. Н. Радищева. С. 188.

[6] О восприятии Радищевым большинства идей книги аббата Рейналя уже писали Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак в монографии «Запретная мысль обретает свободу» (М., 1966. С. 93—120). Некоторые выводы исследователей, правда, сейчас представляются устаревшими.

[7] Труды по русской и славянской филологии. Т. VIII. Литературоведение. Тарту, 1965. С. 215.

[8] Там же.

[9] *Бабкин Д. С.* Процесс А. Н. Радищева. С. 182—183.

[10] *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М., 1969. С. 651.

[11] Учен. зап. МГУ. Кафедра истории СССР. Вып. 156. М., 1952. С. 66–80.

[12] *Татищев В. Н*. История российская в семи томах. Т. 2. М., Л., 1963. С. 128.

[13] Там жс. С. 260.

[14] *Лотман Ю. М*. Радищев – читатель летописи // Труды по русской и славянской филологии. T.VIII. Литературоведение. Тарту, 1965. С. 213–233.

[15] Там же. С. 217.

[16] Там же. С. 220–221.

[17] Учен. зап. ЛГПИ им. Герцена. Т. 170. Л., 1958. С. 69–78.

[18] Там же.

[19] Полн. собр. Русских летописей. Т. 25. Пг., 1921. С. 318.

[20] *Алексеев Ю. Г.* Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. С. 110.

[21] Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 342.

[22] См. указанную выше статью В. Н. Бернадского «А. Н. Радищев об истории Великого Новгорода» // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 170. Л., 1958. С. 69–78.

[23] *Бабкин Д. С.* Процесс А. Н. Радищева. С. 158.

[24] Там же.

[25] Там же.

[26] См.: *Шмурло Е. Ф*. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912; также: *Мезин С. А*. Полемика русских авторов с французскими просветителями о реформах Петра I // Новая и новейшая история. Проблемы общественной мысли. Межвуз. сб. науч. трудов. Саратов, 1991. Вып. 13. С. 33–45.

[27] См. об. этом в предыдущей главе, с. 180–181.

[28] *Татищев В. Н*. История российская. Т. I. С. 367.

[29] Там же. С. 368.

[30] Полное собрание законов Российской империи. Т. IV. 1700–1712. СПб., 1830. С. 191–192.

[31] *Татищев В. Н*. История Российская. С. 389. Татищев ошибочно определяет издание указа 1701 годом.

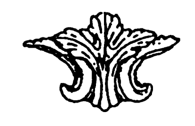
[32] Наказ Ея Имп. Величиства Екатерины вторыя, самодержицы Всероссийския, данный комиссии о сочинении проекта Нового Уложения. СПб., 1770. С. 198.

[33] Полное собрание законов Российской империи. Т. IV. 1700–1712. С. 3.

[34] Уч. зап. Моск. гос. ун-та. Вып. 156. Тр. каф. Истории СССР. М., 1952. С. 66–80.

[35] *Бабкин Д. С.* Процесс А. Н. Радищева. С. 157.

[36] Этот вопрос был рассмотрен в предыдущей главе. С. 157–158.



Глава VI

ИДЕЯ «ДРЕВНЕЙ» И «НОВОЙ» РОССИИ В ИСТОРИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ Н. М. КАРАМЗИНА И ДЕКАБРИСТОВ

«Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее», — этими словами начиналось известное сочинение Н. М. Карамзина «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Написанная в 1811 году специально для императора Александра I «Записка» содержала не только компактно изложенную концепцию отечественной истории, но одновременно являлась попыткой Карамзина дать ответы на коренные вопросы политической жизни России начала XIX века.

Современность рассматривалась в ней сквозь призму прошлого исторического опыта, и вопрос о ценностной соотносимости разных периодов истории России — «древней» и «новой» — составлял, как явствовало из самого названия «Записки», сердцевину ее проблематики.

Карамзин был, конечно, не первым, кто обращался к историческому прошлому в поисках ответов на вопросы, порожденные современной ему жизнью. Но для него как историографа царствования Александра I проблема «древней» и «новой» России приобретала по сравнению, например, с М. В. Ломоносовым или М. М. Щербатовым дополнительную остроту, ибо осложнялась привнесенностью в ее трактовку таких факторов, которые его предшественники даже не могли предвидеть.

Так, если для Ломоносова «новая» Россия обозначилась на фоне реформаторских мероприятий Петра I как их естественный итог, то для Карамзина между «древней» и «новой» Россией (теперь уже александровского времени) пролегла эпоха XVIII века, ставшая самостоятельным и также до конца не объясненным этапом отечественной истории.

Карамзин не мог не учитывать этого обстоятельства. Для него «древность» оказывалась еще более отодвинутой в прошлое, и

значение ее как исторического ориентира наполнилось новыми гранями провиденциального осмысления, — не только по отношению к XVIII столетию (на чем сосредоточивали основное внимание историки этой эпохи), но и для объяснения тех процессов русской жизни начала XIX века, которые обнаружили свою актуальность в свете последствий Французской революции.

Проблема истинности исторического знания, всегда волновавшая Карамзина, перед лицом опыта предшествующего столетия вновь обнаружила свою зависимость от политики, что неизбежно сказалось на осмыслении «древности».

В «Воспоминаниях о Н. М. Карамзине» К. С. Сербиновича за 1825 год сохранились сведения, позволяющие судить о достаточной осведомленности историографа об основных событиях XVIII века и знании им документов, неизвестных широкому кругу общественности. Незадолго до смерти Карамзин получил возможность познакомиться с «Записками» княгини Е. Р. Дашковой, мемуарами Екатерины II, некоторыми материалами политических процессов 1730—1740-х годов.

В ряде случаев его мнения по поводу известных деятелей того времени на фоне общераспространенного отношения к ним со стороны потомков отличались неординарностью. Вот что записал К. С. Сербинович относительно общего взгляда Карамзина на предшествующую эпоху с точки зрения достоверности суждений и оценок на ее счет, принятых общественным мнением как должное: «История этих времен известна нам более древней по главным своим событиям, но истинные причины разных событий, жизнь и характеры многих лиц доходили до нас нередко в превратном смысле, и мы часто, по слухам, хвалим их и порицаем несправедливо. Политика того времени, по необходимости, закрыла от нас истину».[1]

В этих словах Карамзина невольно ставится под сомнение возможность объективного освещения историками событий недавнего прошлого. Ведь сведения об исторических фактах они могут получать только из рук очевидцев, современников событий, а также из документов того времени. Но политические интересы разных сторон зачастую делают эти свидетельства для будущего либо неполными, либо заведомо искаженными.

Это роковое противоречие, сопутствующее труду любого историка, было уловлено Карамзиным на опыте работы с материалами XVIII века, но, по-видимому, он осознавал его и в более широком плане. Древность в этом отношении имела известные преимущества. Здесь историк имел дело со спрессованным временем материалом, зачастую осмысленным и систематизированным в трудах предшественников.

Именно ощущение устойчивости фактической базы истории древних времен обусловливало понимание неотменяемости истории и заставляло искать в этой древности ответы на вопросы,

подсказанные бурным водоворотом событий современной политической жизни.

Актуальность древности обнаруживала себя с новой силой, но отношение к ней претерпело качественные изменения. Если Ломоносов видел в истории далеких предков залог величия обновленной российской государственности, если для князя Щербатова мудрая упорядоченность древних устоев жизни предстает укором нравственной опустошенности бытия екатерининского двора и окружавших его вельмож, то для Карамзина, современника и очевидца событий Французской революции, древность осмысляется как источник уроков. Под этим углом зрения он даже усматривает в революции известную пользу для обладателей тронов и в еще большей степени — для народа, как явствует, например, из статьи «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени»:

«Революция объяснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства, что, разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти ⟨...⟩ что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума, что одно время и благая воля законных правительств должны исправить несовершенства гражданских обществ...».[2]

В этом признании тщетности упований на благо, якобы проистекающее из насильственного изменения сложившегося порядка вещей, примечательна отсылка к «магической силе» древних обычаев и узаконений. Позиция Карамзина в этом отношении невольно смыкается с позицией князя Щербатова, принципиального противника нововведений, противоречащих нравственным устоям сложившихся веками обычаев предков. Так формируется консервативная в своей основе исходная идея историографической концепции Карамзина, хотя последняя не оставалась неизменной.

Таким образом, ставя вопрос о формах и сущности осознания Карамзиным идеи «древней» и «новой» России, следует принимать в расчет те последствия, которые имели для судеб Европы, в том числе и для России, результаты буржуазной революции во Франции на исходе века. Свержение монархии в стране, считавшейся оплотом абсолютизма и одновременно являвшейся центром распространения самых радикальных философских идей XVIII столетия, потрясло умы. Постулаты материалистической философии энциклопедистов, как и идеи Руссо, которые и ранее не вызывали в России всеобщего сочувствия, теперь подвергаются острой критике. Обнаруживают свою несостоятельность и исполненные оптимизма исторические прогнозы просветителей с их упованием на всесилие разума, на возможность союза философов с монархической властью.

С конца 1792 по середину 1794 года Карамзин переживает духовный кризис, выход из которого для него во многом оказывается связан с обращением к истории.[3] О возможности посвятить себя когда-нибудь изучению отечественной древности он упоминает в обращении к читателям «Московского журнала», в последнем его номере, где объясняет причины прекращения этого издания и планы на будущее: «В тишине уединения я стану разбирать архивы древних литератур 〈...〉 буду пользоваться сокровищами древности, чтобы после приняться за такой труд, который мог бы остаться памятником души и сердца моего...».[4]

О целенаправленной программе изучения отечественной истории говорить пока еще рано. Впрочем, интерес к ней проявился уже в процессе издания «Московского журнала».

Первое, относительно развернутое, высказывание Карамзина о насущности создания подлинно научной, основанной на критически выверенных источниках, истории российской государственности мы встречаем в его «Письмах русского путешественника». После упоминания о знакомстве с французским историком П.-Ш. Левеком автор предается размышлениям: «...должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей Российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием 〈...〉. Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант...».[5]

Отчетливо осознавая грань, которая отделяет обновленную реформами Петра I Россию от прежнего ее состояния, Карамзин тем не менее не склонен пренебрежительно оценивать древние этапы ее истории. Он, по-видимому, полностью разделял общепринятый взгляд российских историков XVIII века, не видевших принципиальных различий между развитием западноевропейских государств и России: «У нас был свой Карл Великий — Владимир; свой Людовик XI — царь Иоанн (имелся в виду Иван III. — *Ю. С.*), свой Кромвель — Годунов и еще такой государь, которому нигде не было подобных — Петр Великий. 〈...〉. Путь образования или просвещения один для всех народов; все они идут им вслед друг за другом».[6]

В оценке личности Петра I Карамзин категорически не соглашается с Левеком, упрекавшим царя-реформатора в ненужном подражательстве, которое привело к насильственному изменению самобытных нравов народа его страны.

Вольно или невольно Карамзин в этом пункте вступал в полемику с определенной историографической традицией, у истоков которой стоял Ш. Монтескье и которую в наиболее категоричной форме отстаивал Ж.-Ж. Руссо, не считавший вообще своевременными и нужными реформы Петра I.[7] Вот почему, признавая историческую оправданность деятельности Петра, Карамзин не скрывает своего иронического отношения к критикам полити-

ки великого преобразователя: «Монарх объявил войну нашим старинным обыкновениям, во-первых, и для того, что они препятствовали введению других, еще важнейших и полезнейших иностранных новостей. 〈...〉 Немцы, Французы, Англичане были впереди Русских по крайней мере шестью веками. Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Все жалкие Иеремиады об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиогномии, или не что иное как шутка, или происходит от недостатка в основательном размышлении».[8]

Как видим, Карамзин, признавая наличие водораздела, отделяющего новый период национальной истории от древнего, не ставит пока еще вопроса о преимуществах прежнего уклада жизни предков перед теми нормами европеизированного быта русского дворянства, которые установились в результате реформ Петра I. Исходя из признания общности исторического пути России с остальным европейским миром он с оптимизмом смотрит в будущее, подчеркивая благодетельность всех нововведений, сблизивших россиян с цивилизованной частью человечества: «Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо я человек!».[9]

Восприятие личности Петра I и отношение к последствиям его реформ не останутся у Карамзина неизменными. После возвращения в Россию, по мере развития событий в революционной Франции, особенно после казни Людовика XVI, интерес Карамзина к древней истории своего отечества будет все более нарастать. Ранние убеждения его о безусловной благодетельности для России всего, что делал Петр I, подвергнутся корректировке, а иногда и кардинальному пересмотру.

В свете испытаний, которые вынесла Франция и которые потрясли политическую жизнь всей Европы, проблема ценности древних устоев национального исторического бытия выдвигается для Карамзина на передний план, и плоды Петровских реформ начинают рассматриваться под новым углом зрения.

В какой мере приобщение к нормам европейского уклада жизни, заданное реформами Петра I, и последовавшее за ним усвоение идеологических и философских доктрин века Просвещения могут стать источником повторения в России французского опыта? Вот вопрос, который, естественно, волновал Карамзина. Для ответа на него Карамзин погружается в исторические разыскания, стремясь восстановить для себя утраченный в XVIII веке дух национальной старины. Пока еще это носит выборочный характер и ограничивается кругом материалов, относящихся в основном к XVII веку, — времени, непосредственно предшествовавшему реформам Петра I.

В 1802 году Карамзин начинает издавать новый журнал «Вестник Европы». На страницах этого издания наряду с материалами, отражавшими современную политическую жизнь Европы, он регулярно помещает статьи и очерки исторического содержания, так или иначе связанные с осмыслением древнего допетровского периода отечественной истории.

К этого рода материалам принадлежит, например, статья «Русская старина», представлявшая собой подборку известий и исторических анекдотов о быте и нравах московских жителей XVII века, составленную на основании сочинений иноземных путешественников — Олеария, Герберштейна, Маржерета, П. Флеминга, — посетивших в XVII веке Московскую Русь.

Рассказывая о докторе Пауле Флеминге, проведшем несколько месяцев на земле Новгорода, Карамзин ссылается на его стихи, посвященные России, и приводит переведенный прозой отрывок из них: «В земле, называемой варварскою, вижу людей, достойных называться людьми. Земледелец русский не мудрствует о свободе, но истинно свободен душою; он богат, не чувствуя никаких недостатков; цветет здоровьем, имеет доброе сердце и не знает, что оно есть редкое достоинство в человеке ⟨...⟩. Ах! народ сей принадлежит еще к древнему царству Сатурна: ибо хитрость, коварство, обманы ему неизвестны. Счастливая простота, любезная невинность! *мы вас уже не видим в странах своих*...».[10]

Так устами иностранцев Карамзин рисует патриархальный уклад жизни новгородских крестьян допетровской Руси. Заключительная реплика немецкого доктора-поэта как бы отсылает нас ко времени самого Карамзина, когда Россия, уже вкусившая плоды европейского просвещения, перестала быть тем, чем была раньше. Идея «древней» и «новой» России подспудно намечается в подобных материалах «Вестника Европы».

Еще одна статья подобного рода — «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре» — написана в форме записок во время путешествия: сообщаются сведения о подмосковных исторических достопримечательностях по пути к Троице-Сергиевой лавре и краткое описание устройства монастыря и связанных с ним исторических событий.

Примечательно содержащееся в очерке описание личности Бориса Годунова и обстоятельств его царствования. Перед нами своеобразная заготовка будущего исторического повествования, заключенного в X и XI томах «Истории государства Российского». Пока же Карамзин, принимая традиционную версию о преступлении Годунова, поражается несоответствию его мудрого правления тому традиционному мнению о нем как о человеке, преступившем нравственный закон для достижения власти: «История делается иногда эхом злословия ⟨...⟩. Что если мы клевещем на сей пепел», — размышляет он. И заключает фразой, обращенной в область своих будущих занятий: «Но я пишу теперь

не Историю, следственно, не имею нужды решить дела и, признавая Годунова убийцею Святого Димитрия, удивляюсь небесному правосудию, которое наказало сие злодейство столь ужасным и даже чудесным образом».[11]

Из этого круга материалов выделяется статья «О тайной канцелярии». Она представляет собой небольшое историческое разыскание, реабилитировавшее по-своему национальную старину. Карамзин устраняет ошибку, допущенную историками Левеком и Шлецером, повторившими вслед за Татищевым версию об учреждении на Руси в царствование Алексея Михайловича «ужасного судилища», вошедшего в историю под названием Тайной канцелярии, — места, где содержали и пытали государственных преступников. Карамзин показывает, что Тайная канцелярия XVII века, действительно существовавшая в царствование Алексея Михайловича, не имела ничего общего с пыточным ведомством. Она означала личную домашнюю контору, ведавшую экономическими делами царского двора, хотя и называлась «тайной».

В. Н. Татищев, современник бироновщины и дворцовых переворотов XVIII века, встретив это слово в летописях, отнес возникновение «страшного судилища» ко времени правления «тишайшего» царя, и его ошибку повторили другие историки.

Карамзин восстанавливает истину. Он приглашает посетить село Преображенское под Москвой, где сохранились развалины дома, служившего местом Тайной канцелярии, основанной Петром I.

«Я видел глубокие ямы, где сидели несчастные; видел железные решетки в маленьких окнах, сквозь которые проходил свет и воздух для сих государственных преступников», — замечает Карамзин и заключает очерк отнюдь не оптимистическими размышлениями: «Я чувствую великие дела Петровы и думаю: „Счастливы предки наши, которые были их свидетелями!" — однако ж — не завидую их счастию!»[12]

Так, Карамзин по-своему оправдывает доброе имя царя Алексея Михайловича, а с ним и нравы Московской Руси, не знавшей, по его мнению, заведений, подобных Тайной канцелярии.

Историк, конечно, идеализирует эти нравы. Если бы ему довелось ознакомиться с материалами, касавшимися обстоятельств подавления «медного бунта» в Москве летом 1662 года, или расправ, учиненных по отношению к участникам восстания Степана Разина в 1671 году со стороны князя Ю. А. Долгорукого, то для умилений у него было бы весьма мало оснований.

Впрочем, не исключено, что Карамзин мог знать и эти факты. Обращение к теме Тайной канцелярии и разыскания по поводу обстоятельств ее возникновения имели для него особое значение, поскольку в данном случае он прежде всего демонстрировал на примере ошибок историков необходимость тщательности изучения исторических источников. Тем самым им обосновывались, по

существу, методологические предпосылки труда, работа над которым станет главной задачей всей его дальнейшей жизни.

Другой не менее важный вывод из восстановления истины о Тайной канцелярии следует видеть в том, что статья позволяет высветить отмеченную выше эволюцию Карамзина по отношению к результатам реформаторской политики Петра I и, шире, — его отношение к итогам века Просвещения в целом.

И здесь проблема «древней» и «новой» России обретает новый ракурс своего осмысления. Жестокость и дикость нравов наших предков (сильно преувеличенная историками, особенно чужеземными) ничто в сравнении с орудиями насилия, производимыми в век, казалось бы, торжества цивилизаторского прогресса. В этом смысле Тайная канцелярия, учрежденная Петром I в селе Преображенском, под стать «гильотине» Французской буржуазной революции, завершившей массовым террором столетие, вошедшее в историю как эпоха Просвещения.

И еще один вопрос, затронутый в данной статье, имевший прямое отношение к историографическим планам Карамзина, касается источниковедческой базы исторической науки. Карамзин сетует на пресечение традиции русского летописания, также явившееся следствием распространения просвещения в стране: «...время Петра Великого и строгие, взятые им меры против монахов отняли у них не только охоту, но и самую возможность продолжать летописи, история наша не обогатилась лучшими собраниями материалов. Кто у нас думал заготовлять их для описания времен Екатерины I, Петра II, Анны, Елисаветы? Правда, есть Архив иностранных дел; но собрания трактатов дипломатических бумаг не довольно для историка. Надобно будет читать иностранцев; а как верно описывают они случаи и людей, мы знаем по их известиям о наших временах! Надобно будет обратиться к преданиям: но скоро исчезнет след их. Где старцы, которые еще недавно говаривали со слезами о Петре Великом?..»[13]

По этим словам можно судить об образе мыслей Карамзина в это время. Он весь погружен в предстоящее изучение истории. Пройдет несколько месяцев, и Карамзин получит пост официального историографа России.

Еще одним обращением Карамзина к историческим событиям XVII века на страницах журнала «Вестник Европы», как всегда явно пронизанным определенной связью с современностью, являлась статья «О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича». Речь в ней шла о восстании московского люда в 1648 году против правительства, возглавлявшегося боярином Б. И. Морозовым, фактически правившим страной, поскольку недавно вступивший на престол юный царь еще не освоился полностью со своим новым положением.

Для Карамзина прослеживание перипетий восстания становится поводом к размышлениям о способах укрепления самодержав-

ной власти перед лицом народного недовольства. Источником бунтов он считает нарушение связи между монархом и подданными, излишнюю доверчивость Алексея Михайловича к своим ближайшим советникам. Активность народа открыла глаза юному царю. Жест царя, вышедшего к народу и открыто говорившего с ним на Красной площади, — центральный эпизод очерка — особо выделен Карамзиным: доверие народа — основа силы монархии.

Уже через полгода после усмирения восстания был созван Собор, на котором было решено подготовить новый свод законов. Результатом его стало принятие в январе 1649 года «Соборного уложения». Так царь ощутил необходимость учитывать мнение народа. «С этого времени, — пишет Карамзин, — царь Алексей Михайлович начал царствовать сам собою, часто присутствовал в совете и входил во все дела: ибо он видел, сколь опасно для монарха излишне положиться на бояр, которые для особенных ничтожных выгод своих могут пожертвовать благом государства, следственно, славою и счастием государя».[14]

История вновь представала своеобразным уроком, спроецированным и на события недавнего прошлого во Франции, и на современность. В обстановке развертывавшихся реформ недавно оказавшегося на престоле Александра I, опиравшегося на узкий круг приближенных советников, поставленная в статье проблема была более чем актуальна.

Все эти разрозненные публикации на историческую тематику в «Вестнике Европы» можно рассматривать как своеобразные подступы к свершению главного труда, остававшегося пока делом будущего. В них, естественно, еще нет обобщающего взгляда на прошлое, единой концепции, хотя главное убеждение, стимулировавшее в известном смысле решение Карамзина стать историографом, к этому времени, уже оформилось.

Это убеждение состояло в признании роли самодержавия как единственного гаранта благосостояния государства и его стабильности. К этому Карамзин пришел как в ходе осмысления последствий Французской революции, так и в процессе своих историографических разысканий.

Важным этапом выработки концепции будущего труда следует считать опубликованную также в «Вестнике Европы» повесть «Марфа Посадница», где осмысление древности открыто спроецировано на современность. Об этом можно судить уже по вступлению, подготавливающему мысль читателей к восприятию замысла авторским замечанием: «...сопротивление новгородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев: они сражались за древние свои уставы и права, данные им отчасти самими великими князьями: например, Ярославом, утвердителем их вольности».[15]

Исследователи уже обращали внимание на явные отступления Карамзина от исторических фактов при освещении событий,

связанных с покорением Новгорода Иваном III. Это касается и обстоятельств похода Московского князя (которых на самом деле было два — в 1471 и 1477 годах), и судьбы Марфы Борецкой (на деле отнюдь не казненной на плахе), и, наконец, привнесенных Карамзиным мелодраматических мотивов в исторический сюжет (эпизоды с явно вымышленным образом юного Мирослава).

Но есть еще один аспект содержания повести, обусловленный ее связью с определенной литературной традицией и помогающий уловить некоторые важные особенности подхода Карамзина к трактовке событий древности. Дело в том, что в своей повести Карамзин контаминировал два исторических сюжета: свершившееся в XV веке покорение Новгорода Иваном III происходит на фоне легендарных событий IX века, связанных с призванием в Новгород Рюрика и восстанием против него Вадима. Мраморный бюст Вадима украшает вечевую площадь Новгорода (вымышленная Карамзиным деталь). С именем Рюрика посланник Московского князя связывает утверждение на Руси самодержавия. К имени Вадима апеллирует Марфа Посадница, призывающая новгородцев сохранить вольность Новгорода.

Тень Вадима окрашивает ее образ, и финальные слова, произносимые ею перед казнью («Подданные Иоанна! Умираю гражданкою Новгородскою!»), фактически повторяют то, что произносит перед смертью главный персонаж трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский». Показательно, что и в освещении обстоятельств, касающихся трактовки образа Вадима Храброго, Карамзин не чувствует себя связанным необходимостью сохранения исторической истины, хотя в осведомленности его в исторических источниках трудно сомневаться. И здесь встает вопрос о двойном стандарте восприятия Карамзиным отдельных фактов истории, что уже было замечено исследователями.

Для Карамзина отношение к древней истории России, и по-видимому к истории вообще, не укладывалось в какую-то единую систему ценностных измерений. Обращаясь к историческим разысканиям, он не переставал в душе оставаться художником, и между его оценками одних и тех же фактов истории в беллетристических произведениях и научном труде (в частности, в «Истории государства Российского») наблюдается существенная разница. На эту особенность Карамзина-историка уже обращал внимание В. А. Кошелев в своей статье «Пушкин и легенда о Вадиме Новгородском» на примере анализа карамзинской позиции в отношении к этой легенде.[16]

Тема восстания Вадима Новгородского пользовалась особой популярностью у поэтов декабристского лагеря (о чем пойдет речь ниже). Отдал дань увлечению ею и молодой Пушкин. У истоков разработки этой темы стояли Екатерина II со своей драматической хроникой «Из жизни Рюрика» (1786) и выступивший

оппонентом императрицы драматург Я. Б. Княжнин в трагедии «Вадим Новгородский» (1789).

Но, конечно, в контексте осмысления событий Французской революции на русской почве эта тема обрела дополнительную остроту. В. А. Кошелев превосходно обнажил подоплеку актуальности данной темы в замыслах поэтов карамзинского окружения и показал сложности ее решения, обусловившие в конечном счете и невозможность ее реализации тем же Жуковским и молодым Пушкиным.

«Легенда о Вадиме, — замечает исследователь, — несмотря на видимую простоту, оказывалась очень сложной именно с историософской точки зрения. Поступок радетеля „древних вольностей" — особенно в том случае, если его экстраполировать на современность, — оказывался неоднозначен. За несколько лет до восстания Вадима состоялось „призвание варягов": народу надоели „древние вольности" ⟨...⟩. Не потому ли народ не поддержал Вадима, что не захотел господства аристократии? И, собственно, что мог Вадим предложить взамен „самодержавству"? Ту „славянскую свободу", которая за несколько лет перед этим была либо сломлена, либо добровольно отвергнута?»[17]

Позиция Карамзина в отношении к данной легенде отмечалась двойственностью. Но эта двойственность не отменяла внутреннего концептуального единства между художественным истолкованием легенды в повести и ее трактовкой в IV главе первого тома «Истории государства Российского».

В своем труде Карамзин ставит под сомнение наличие самой фигуры Вадима в истории Новгорода на основе отсутствия данных о нем в «Повести временных лет»: «Хотя новейшие летописцы говорят, что славяне скоро вознегодовали на рабство, и какой-то Вадим, именуемый *Храбрым*, пал от руки сильного Рюрика вместе со многими из своих единомышленников в Новгороде — случай вероятный ⟨...⟩ однако ж сие известие, не будучи основано на древних сказаниях Нестора, кажется одною догадкою и вымыслом».[18] Допуская «вероятность» самой легенды, Карамзин, как видим, не скрывает скептического отношения к ней по существу («какой-то Вадим»). И это логично вписывается в контекст историософской концепции, положенной им в основу всего труда, а именно — утверждения спасительной роли самодержавия в истории России.

Но эта же концепция была положена в основу пафоса повести «Марфа Посадница», где существование Вадима и его выступление против Рюрика не только не подвергаются сомнению, но составляют своеобразный исторический фон борьбы новгородцев с притязаниями Ивана III. Ведь при всем героизме новгородцев, отстаивающих свои права вольности, их борьба с Москвой предстает исторически обреченной. Будущее России не за республикой, а за самодержавием. Таков итог повести.

Не придавая, вопреки показаниям новгородских летописей, существенного значения восстанию Вадима, Карамзин в своем историческом труде по существу, стремится таким образом подкрепить выдвинутую им концепцию добровольного избрания новгородцами единоначальной формы власти взамен дикой вольности, чреватой неустройством и мятежами, какая порой существовала у них до прихода в Новгород варяжских князей во главе с Рюриком: «Нужда и в благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость, и Славяне, *убежденные* — так говорит предание — *советом Новгородского старейшины Гостомысла*, потребовали властителей от Варягов».[19] Любопытно, что здесь историограф готов верить преданию древней летописи.

Фактически Карамзин вслед за Екатериной II и А. Л. Шлецером, имевшими своим предшественником историка Г.-З. Байера, полностью разделяет «норманнскую теорию» происхождения российской государственности, не принимая в расчет ни трактовки данного события у Ломоносова и Татищева, ни тех сведений, какие содержались в Новгородской летописи по Никонову списку.

Но если для Екатерины II с ее немецким происхождением версия призвания варягов и торжества Рюрика (как исходного пункта утверждения государственности на Руси) служила еще одним аргументом в пользу правомочности ее пребывания на русском престоле, то для Карамзина признание «норманнской теории» обусловливалось выстраданным им убеждением. И решающее значение здесь имело его стремление найти ответ на вопросы, поставленные Французской буржуазной революцией.

Обоснование роли монархии как единственного гаранта политической стабильности в России и представлялось для Карамзина той сверхзадачей, которую он будет решать в ходе работы над своим трудом. Хотел того Карамзин или нет, но подсознательно осмысление фактов древней истории Руси выстраивалось у него под углом зрения доказательства одной всепоглощающей идеи — спасительности для России самодержавия, его изначальности в пресечении смут, как следствия добровольного волеизъявления древних новгородцев.

Отмеченная разноуровневость подхода Карамзина к фактам отечественной истории лишний раз свидетельствует, что историк в нем был неотделим от художника. И здесь важно учитывать не только литературную, но и историографическую традицию, определявшую формирование его взглядов на задачи и метод исторической науки.

Решающая роль здесь принадлежала представителям английской историографической школы XVIII века в лице Д. Юма, В. Робертсона и Э. Гиббона, имена которых (наряду с именами античных историков) Карамзин неоднократно упоминает уже в «Письмах путешественника».

Г. А. Космолинская, посвятившая этому вопросу специальную статью, убедительно показала зависимость методологии Карамзина-историка от принципов осмысления задач исторической науки, сформулированных в трудах шотландского философа и историка Д. Юма, в частности в его «Истории Англии» и теоретическом эссе «Об изучении истории».[20]

Главное заключалось в восприятии идеи причинности событий, дополняемой выявлением в истории этико-психологического фактора как решающего условия их свершения. С этим была связана и проблема особой, эстетической в своей основе, установки, формировавшей принципы исторического повествования, что также было характерно для Карамзина.

Следует, впрочем, учитывать, что при неизменном уважении к английской школе историографии Карамзин на разных этапах своего творческого пути далеко не безоговорочно принимал все основные ее постулаты. В пору публикации «Писем русского путешественника», признавая образцовость трудов представителей этой школы, он особо выделяет эстетический аспект их методологии: «Ричардсон и Фильдинг выучили французов и немцев писать романы как историю жизни, а Робертсон, Юм, Гиббон влияли в историю привлекательность любопытнейшего романа умным расположением действий, живописью приключений и характеров, мыслями и слогом. После Фукидида и Тацита ничто не может сравняться с историческим триумвиратом Британии».[21] Так пишет Карамзин в заключительной части «Писем...», обозревая успехи англичан в разных областях культуры и науки.

Несколько ранее, находясь в Париже и размышляя после встречи с Левеком о задачах создания отечественной истории, Карамзин также подчеркивает достижения представителей английской школы как образца для подражания и при этом высказывает принципиальные соображения методологического характера.

Вслед за Юмом он подчеркивает эмоциональный аспект в историческом сочинении, допускающий избирательность включаемого в него материала и даже элемент приукрашивания повествования: «Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное ⟨...⟩. Родословная князей, их ссоры, междоусобие, набеги половцев не очень любопытны; соглашаюсь, но зачем наполнять ими целые томы? *Что не важно, то сократить, как сделал Юм в Английской истории...*».[22]

Положение изменится после 1803 года, когда Карамзин целиком посвятит себя историографии и столкнется с необходимостью ознакомления современников со всем, что поможет сохранить память о давно прошедших временах национальной истории. На это также обратила внимание Г. А. Космолинская, продемонстрировавшая принципиальные расхождения Карамзина с Д. Юмом в

вопросах, касавшихся концептуального аспекта воплощения национальной идеи.[23]

Это расхождение явилось итогом многолетней работы Карамзина с историческими источниками, о чем можно судить по «Предисловию», предпосланному изданию первых восьми томов труда и написанному в 1818 году.

К этому времени убеждение в непререкаемой ценности всех без исключения материалов и фактов отечественной истории становится исходной основой историографического метода Карамзина. И для реализации этого принципа он прибегает к созданию в своем труде параллельного ряда исторических повествований, заимствованных из источников, которые представлены в обширных «Примечаниях».

Подобный подход разительно отличается от мнения, высказывавшегося Карамзиным в «Письмах русского путешественника». Теперь, по прошествии более четверти века, он полностью отходит от методологической позиции, допускавшей самопроизвольное избавление историка от необходимости скрупулезной фиксации всех частностей исторического процесса и изъятие «скучных повторений» в «дееписаниях древних», которую он разделял вслед за Д. Юмом. «Чтение всех историй, — замечает в «Предисловии» Карамзин, — требует некоторого терпения, более или менее награждаемого удовольствием».[24]

Это особенно касается отечественной истории, призванной открывать современникам мир жизни их собственных предков. «Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней истории; но добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному».[25] Эта продиктованная государственностью позиция Карамзина, заповедь «уважения к предкам», определяющая достоинство образованного гражданина, будет позднее воспринята Пушкиным как краеугольный принцип нравственного бытия человека.

Говоря о рассмотренной выше эволюции взглядов Карамзина в отношении к традициям английской историографической школы, следует помнить, что на окончательное оформление этих взглядов помимо опыта Французской буржуазной революции несомненное влияние оказали и события Отечественной войны 1812 года.

С этой точки зрения «Записка о древней и новой России» явилась своеобразным промежуточным звеном между подготовительными историческими разысканиями начала 1800-х годов и той обширной картиной главных этапов российской истории, которая была развернута в его многотомном труде.

Методологическая концепция Карамзина, определявшая его подход к оценкам исторического прошлого в «Записке», несла на

себе печать эклектизма. Недавнее преклонение перед авторитетом английских историков в лице Д. Юма, отнюдь не изжитое, дополняется теперь явной ориентацией на постулаты философского трактата Ш. Монтескье «О духе законов».

Это особенно отчетливо проявляется, как мы увидим ниже, в изменении позиции Карамзина по отношению к оценкам реформаторской политики Петра I. Все выпады в адрес самовластного деспотизма Петра, искоренявшего насильственно своими указами и действиями древние обычаи предков, выглядят в «Записке» во многом повторением мыслей, содержавшихся в различных главах вышеназванного трактата, не говоря уже о прямых ссылках на Монтескье, неоднократно встречающихся в тексте «Записки».

В нашем литературоведении высказывалось также мнение о прямом использовании Карамзиным при подготовке «Записки» известного публицистического сочинения князя М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России».[26] Зависимость позиции Карамзина от сочинения Щербатова устанавливается в той части «Записки», которая содержала характеристику дворцовой жизни XVIII века, в частности личности Екатерины II и Петра III.

Некоторое сходство наблюдалось и в оценках личности Петра I. Именно воздействием щербатовского сочинения исследовательница объясняет резкое изменение взглядов Карамзина в оценке последствий для общественного состояния России реформ Петра.[27] При всех нюансах, разделяющих позиции Щербатова и Карамзина как историков, в главном — в признании монархической власти как единственно законной и способной обеспечивать в условиях России государственное благосостояние — они были единомышленниками. И гипотеза об отражении в «Записке» Карамзина идей, которые в одном из своих наиболее острых сочинений развивал князь Щербатов, вполне допустима.

Содержание всей «Записки о древней и новой России» можно разделить на три части.

Первую часть составляет рассмотрение древнего периода русской истории как базы современного государственного могущества России.

Обзор приходящегося на XVIII столетие нового периода, начатого реформами Петра I и отмеченного нараставшим сближением России с Европой, составлял содержание второй части «Записки».

И наконец, завершало сочинение Карамзина критическое рассмотрение новейшего политического состояния России первого десятилетия XIX века в свете реформаторских начинаний Александра I.

Вдумчивый и всесторонний анализ различных аспектов внешней и внутренней политики правительства Сперанского, раскрытие императору ошибочности, с точки зрения Карамзина, последних нововведений его кабинета и составляло главную цель «Записки».

Мерилом блага для Российского государства предпринятых кабинетом Сперанского мероприятий служил для Карамзина исторический опыт прошлого. Этот опыт рассматривался теперь Карамзиным в двух измерениях. «Настоящее бывает следствием прошедшего», — начинал Карамзин «Записку». Для времени александровского царствования таким прошедшим была не только многовековая история Древней Руси (от IX и до XVII века), но и XVIII век, открывший новый период истории российской государственности.

Карамзин видит в современности влияние предшествующего века. Время перемен начала XVIII столетия, отмеченное титаническими усилиями Петра I по преобразованию России, становилось отныне своеобразным критерием плодотворности нового витка реформаторских инициатив, свидетелем которых оказывался теперь уже сам Карамзин.

Но к началу XIX века Россия была уже практически другой страной, нежели во времена Петра. Вот почему Карамзин отходит от слепой апологетики того, что было связано с именем царя-реформатора, стремясь раскрыть Александру I и негативные последствия его преобразований.

Не отрицая исторических заслуг Петра I по обновлению государственной системы управления и его успехов во внешней политике, теперь Карамзин резко критически воспринимает страсть Петра к «совершенному присвоению обычаев Европейских». И вот здесь главным доводом в утверждении своей правоты для Карамзина становится опыт древней отечественной истории, преимущественно времени собирания Руси под эгидой московских великих князей.

Без их мудрой политики, утверждает Карамзин в «Записке», не были бы возможны и успехи Петра I: «...мы, Россияне, имея пред глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного? 〈...〉 Забудем ли князей Московских: Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную и 〈...〉 учредили твердое в ней правление единовластное?»[28]

Смысл этой апелляции к государственной мудрости политики московских князей раскрывается в контексте того обширного исторического экскурса, который составляет содержание первой части «Записки».

Карамзин исходит из идеи исконности республиканских устоев общественной жизни древних россиян, несмотря на верховную власть князей в пределах отдельных княжеств. Нашествие орд Батыя и установившееся на Руси (исключая Новгород) политическое рабство подорвало эту «гражданскую вольность».

Итоговая формула, в которой историограф сформулировал данный процесс, уже несет в себе следы монархических симпатий

автора: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием».[29]

Обозревая подъем Москвы и ее решающую роль в деле укрепления российской государственности, Карамзин уже самим характером изложения подводит нас к актуальным вопросам современной ему действительности, придавая своему анализу оттенок скрытой аллюзионности: «Политическая система государей Московских заслуживала удивления своею мудростью: имея целию одно благоденствие народа, они воевали только по необходимости, всегда готовые к миру, уклоняясь от всякого участия в делах Европы, более приятного для суетности монархов, нежели полезного для государства, и, восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний неверных или опасных, желая сохранять, а не приобретать».[30]

Здесь почти каждая фраза заключает в себе скрытый намек на политику Александра I, когда Россия оказалась втянутой в войну с Францией ради интересов Австрии. Карамзин, конечно же, идеализировал «политическую систему государей московских», но для него было важно хотя бы в такой форме преподать урок императору, ибо непоследовательные действия русской дипломатии, приведшие в 1807 году после поражения под Аустерлицем к унизительному Тильзитскому миру, роняли авторитет России в Европе, нанося вред ее собственным государственным интересам.

Карамзину нельзя отказать в политической прозорливости. Последовавшие вскоре события 1812 года, когда наполеоновские армии вторглись на территорию России, подтвердили справедливость многих опасений историографа.

Примеры древней отечественной истории, особенно с момента утверждения на Руси самодержавия, служат для Карамзина мерилом достоинства монархов Нового времени — от Петра I и до Александра I. Он прослеживает в истории предков источники политических неустройств, подобные которым приходилось переживать современникам Карамзина. Аллюзии буквально пронизывают каждый раздел исторического экскурса.

Характеризуя короткое царствование Лжедмитрия, историк видит главную причину его позорного конца в том, что он «презирал русские обычаи и веру». Комментарий, которым сопровождается описание начала Смуты после свержения Лжедмитрия в результате народного восстания, явно несет на себе печать соотнесенности с недавними событиями революционных потрясений во Франции: «Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений Государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного изступления разрушает основу ея, которая есть уважение нравственное к сану властителей».[31]

И вновь устанавливается своеобразная историческая параллель между прошлым и современностью при описании незадачли-

вого правления Василия Шуйского после свержения первого самозванца. «Отрасль древних князей Суздальских и племени Мономахова, Василий Шуйский ⟨...⟩ свергнув неосторожного самозванца, в награду за то принял окровавленный его скипетр от Думы Боярской и торжественно изменил самодержавию, присягнув, без ее согласия не казнить никого, не отнимать имений и не объявлять войны».[32]

Добровольная уступка боярской аристократии Шуйским части своих прав наносила непоправимый вред существовавшему уже на Руси принципу единовластия и тем развращала народ, усугубив угрозу Смуты.

Фактически нечто подобное происходило и на глазах Карамзина в тех пунктах программы реформ Сперанского, согласно которым монарх чуть ли не делался подотчетным назначаемым им же министрам, и последним разрешалось оспаривать мнение монарха. «Осуждаю, — писал Карамзин, — постановление: „если Государь издает Указ, несогласный с мыслями Министра, то Министр не скрепляет оного своею подписью". Следственно, в государстве самодержавном Министр имеет законное право объявить публике, что выходящий указ, по его мнению, вреден? Министр есть рука венценосца, не более! рука не судит головы. Министр подписывает Именные указы не для публики, а для Императора во уверение, что они написаны слово в слово так, как Государь приказал. Подобные ошибки в коренных государственных понятиях едва ли извинительны».[33]

Пример Шуйского становился своеобразным предупреждением Александру I, и политические потрясения, пережитые Россией сразу после смерти этого императора, вновь подтвердили прозорливость Карамзина.

Описывая прошлое, Карамзин всегда остается человеком своего века. Его характеристики исторических деятелей нередко строятся на аналогии с монархами Нового времени. Эта черта будет свойственна и повествовательной манере главного труда Карамзина. Так, например, рисуя в 6-м томе своей «Истории» первые признаки превращения России в европейскую державу, Карамзин связывает этот процесс с личностью Иоанна III. В его политике он видит первые попытки сближения Московской Руси с западноевропейским миром, и в этом он усматривает предпосылки тех преобразовательных усилий, которые двумя веками позднее будут предприняты в царствование Петра I.

Карамзин прямо ставит Ивана III рядом с великим царем-реформатором, ссылаясь на мнения «новейших» европейских историков, в частности П. Ж. Солиньяка, автора «Истории Польши», переведенной на русский язык Ф. Эминым в 1766 году. Французский историк отмечал в Иване III «разительное сходство с Петром Первым». «Оба без сомнения велики, — замечает Карамзин, — но Иоанн, включив Россию в общую государственную

систему Европы и ревностно заимствуя искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного характера подданных; не видим также, чтобы пекся о просвещении умов науками: призывая художников для украшения столицы и для успехов воинского искусства, хотел единственно великолепия и силы 〈...〉. Петр думал возвысить себя чужеземным названием Императора: Иоанн гордился древним именем Великого Князя и не хотел нового; однако ж в сношениях с иностранцами принимал имя Царя».[34]

Как видим, симпатии Карамзина в этой сравнительной оценке явно на стороне Ивана III. В отличие от Петра I он не встал на путь насильственного перенесения на российскую почву иноземных обычаев, не переделывал свой народ под иностранцев. К последним «он любил изъявлять только милость как пристойно великому монарху, к чести, не к унижению собственного народа». «Не здесь, — заключает Карамзин свое сравнение, — но в Истории Петра должно исследовать, кто из сих двух венценосцев поступил благоразумнее или согласнее с истинною пользою отечества».[35]

История Петра им написана не была. Но развернутая оценка царствования Петра Великого и последствий его преобразований содержалась в «Записке о древней и новой России». Именно в этом сочинении Карамзин попытался непредвзято подойти к личности великого царя-реформатора, сумевшего обратить развитие России в новое русло.

Карамзин не отрицает исторических заслуг Петра I в деле возвеличения России и укрепления ее государственного могущества. Но, во-первых, как уже было отмечено выше, петровские преобразования были подготовлены мудрой, терпеливой политикой московских царей XVI—XVII веков. А во-вторых, теперь Карамзин резко критически оценивает издержки насильственных мер, при помощи которых Петр проводил в жизнь политику «европеизации» страны: «...страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости 〈...〉 Искореняя древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце».[36]

Одной из серьезных ошибок Петра I Карамзин считает принижение значения Православной церкви. Уничтожение патриаршества, введение Святейшего Синода, контролируемого светской властью, привели, по мнению Карамзина, к утрате Церковью своего священного назначения.

Ошибочным считает Карамзин и перенесение столицы государства в Петербург — город, построенный на окраине империи ценою огромных людских жертв.[37]

Попытка ускорить ход истории в стремлении во что бы то ни стало уподобиться Европе, не считаясь с выработанным веками жизненным укладом своей страны, — такова главная, по мнению Карамзина, ошибка Петра, сказавшаяся и в политике его преемников на престоле.

Немало нелицеприятных истин высказывает в «Записке» Карамзин и в адрес Екатерины II.

Этот новый ракурс ви́дения политики монархов XVIII века, и прежде всего Петра I, имеет, конечно же, свою целевую направленность, поскольку новые реформаторские инициативы кабинета Сперанского, осуществлявшиеся на глазах у Карамзина, являлись своего рода продолжением этой вечной погони за Европой. Они свидетельствовали о сохранении в политике Александра I унизительных для национального чувства тенденций, которые историограф осуждал ранее в деятельности Петра: это элементы антипатриотизма, перенесение на русскую почву чуждых ее обычаям и сложившемуся порядку вещей новых узаконений (в частности, кодекса Наполеона), неуместных, по мнению Карамзина, проектов освобождения крестьян и уничтожения системы рекрутчины, введение экзаменов для чиновников и т. д.

При этом, критикуя Петра I за неадекватность тех средств, к каким прибегал монарх-преобразователь для достижения поставленных перед собою целей, Карамзин не ставил под сомнение необходимость и благо для государственного могущества России предпринимавшихся Петром титанических усилий. Но применительно ко времени царствования Александра I историк не признает безусловной необходимости затеянных кабинетом Сперанского реформ. Здесь он остается принципиальным консерватором.

Так, например, касаясь проекта утверждения Государственного совета, делавшего ненужным существование Сената, утвержденного еще в XVIII веке Петром I, Карамзин рассматривает это нововведение в контексте исторического опыта предшествующего столетия.

И авторитет Петра служит для него решающим аргументом в доказательстве бессмысленности затей Сперанского: «Мне чертят линии для глаз, оставляя мой ум в покое. Говорят Россиянам: „было так, отныне будет иначе". Для чего? — не сказывают. Петр Великий в важных переменах государственных давал отчет народу: взгляните на Регламент духовный, где Император открывает вам всю душу свою 〈...〉. Новые законодатели России славятся наукою письмоводства более, нежели наукою государственною...».[38]

Обращаясь к конкретным действиям правительства, Карамзин напоминает об известном Манифесте о милиции, предполагавшем создание дополнительных военных сил в помощь армии ввиду возросшей угрозы со стороны Наполеона, овладевшего незадолго

до этого Пруссией. Историк обращает внимание на неосуществимость затеянного проекта и возникшую в связи с этим в правительственных сферах неразбериху.

Он ссылается на сложившуюся в XVIII веке и оправдавшую себя практику рекрутских наборов, оставшуюся непонятным образом невостребованной у правительства, охваченного страстью к новизне. И вновь мудрый опыт предков становится решающим аргументом в отстаивании Карамзиным своей позиции: «Я читал переписку воевод при Лжедмитрии, когда мы не имели ни Царя, ни совета боярского, ни столицы: сии воеводы худо знали грамоте, но знали Россию и спасли ее самыми простейшими средствами, требуя друг от друга, что каждый из них мог сделать лучшего по местным обстоятельствам своего начальства».[39]

Так, почти по каждому пункту критических замечаний в адрес правительства Александра I Карамзин находит альтернативные решения в древности.

Консервативность Карамзина носит несомненно охранительный характер, и она продиктована учетом исторического европейского опыта конца XVIII столетия. Но вместе с тем для Карамзина, делающего точкой отсчета истории России Нового времени реформы Петра I, уходящая своими корнями в многовековой процесс становления российской государственности проблема приобщения России к ценностям западной цивилизации в условиях александровских реформ начала XIX века, вновь доказала свою актуальность: «Россия ⟨...⟩ существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее?»[40]

Карамзин фактически в чем-то приближается к позиции Ломоносова, пришедшего в своих размышлениях относительно развития лексического фонда русского языка к убеждению о нецелесообразности дальнейшего бездумного насыщения отечественного словаря иноязычной лексикой.[41]

То, над чем задумывался Ломоносов применительно к языку, на исходе первого десятилетия XIX века обретает жгучую актуальность для Карамзина, погруженного в работу над «Историей государства Российского», в свете государственной политики Александра I.

Мифологизируя отдельные стороны становления в истории России самодержавия, Карамзин предупреждает об опасностях инновационных экспериментов на государственном уровне прежде всего для самого самодержавия. Но он не был услышан.

* * *

Совершенно иначе идея «древней» и «новой» России осмыслялась младшими современниками Карамзина, представителями дворянской молодежи пушкинского поколения, из рядов которой вышли деятели политической оппозиции, составившие позднее костяк тайных обществ и возглавившие в начале 1820-х годов движение будущих декабристов. Возникновение этого движения не было случайностью, но явилось следствием целого комплекса причин как идеологического, так и социально-экономического характера, свидетельствуя о назревшей в русском обществе потребности в переменах. В свете этого формирование общественно-литературных кружков и оппозиционных политических объединений на протяжении первых двух десятилетий XIX века было знамением времени; в них, как в зеркале, отражалась общая атмосфера напряженных умственных исканий, сопутствовавших всему периоду царствования Александра I.

Начало его ознаменовалось всеобщим ожиданием реформ, которые вскоре и последовали, вызвав в интеллектуальных кругах России самые противоречивые мнения. Реформы были свернуты. Опала Сперанского совпала с приближением событий 1812 года, ставших для всего последующего политического развития страны своеобразной исходной точкой.

Именно итоги Отечественной войны, закончившейся победой России над Наполеоном, стали своеобразным катализатором тех процессов радикализации умонастроений дворянской молодежи, на волне которых начали возникать тайные общества.

Это хорошо видно из показаний самих декабристов следствию после разгрома восстания. Вот как характеризовал атмосферу, в которой формировались оппозиционные взгляды дворянской молодежи, один из видных деятелей декабристского движения М. А. Фонвизин: «Великие события Отечественной войны, оставив в душе глубокие впечатления, произвели во мне какое-то беспокойное желание деятельности. Двукратное пребывание за границей открыло мне много идей политических, о которых прежде не слыхивали. Возвратясь в Россию, в свободное время от службы продолжал заниматься политическими сочинениями разного рода и иностранными газетами и в это время читал разные теории политические и мечтал о „приноровлении" их к России».[42]

В более широком плане источники насаждения в дворянском обществе идей вольномыслия были фактически предопределены общей атмосферой либерального реформаторства, которое составляло сущность политики правительства Александра I, в том числе и политики в области образования.

На это прямо указывал в своих письмах к Николаю I из Петропавловской крепости другой декабрист, барон В. И. Штейнгель: «...истинный корень республиканских порывов сокрывается

в самом воспитании и образовании, которые в течение 24 лет само правительство давало юношеству. Оно само питало их, как млеком, либеральными идеями; между тем как вступая на деятельное поприще жизни, они на каждом шагу встречали повод к достижению той цели, к которой ведет подобное образование».[43]

В качестве примера созданного правительством учебного заведения, явившегося рассадником вольномыслия, Штейнгель в этом же письме называет Царскосельский лицей.

Хорошо образованные, имевшие за плечами опыт участия в войне 1812 года, побывавшие в Европе будущие декабристы по-разному представляли себе конкретные пути достижения своих радикальных целей. Научная литература, посвященная анализу идеологических и политических программ ведущих представителей этого движения, достаточно многообразна.[44] В аспекте решения стоящей перед нами проблемы важно уяснить ту роль, какую в формировании идеологии и практики декабристов играли их занятия по изучению отечественной истории.

Обостренное внимание декабристов к истории общеизвестно, и оно не осталось незамеченным для исследователей; свидетельством тому может служить целый ряд работ историков, и в частности капитальная монография С. С. Волка «Исторические взгляды декабристов» (М.; Л., 1958). Но вопрос, который представляет для нас первоочередной интерес, состоит в уяснении вполне конкретного аспекта общей проблемы: как соотносились взгляды декабристов на предшествующие периоды истории России с тем новым этапом, ознаменованным реформами Петра I, результаты которых переживались на протяжении всего XVIII столетия и резко актуализировались на исходе века в свете событий Великой французской революции.

В данном случае не избежать сопоставительного анализа исторических взглядов декабристов с рассмотренной выше под этим же углом зрения историографической концепцией Карамзина. Его основной труд был несомненно в поле зрения участников тайных обществ. Выхода из печати «Истории государства Российского» напряженно ждали, о чем можно судить по переписке братьев Сергея и Николая Тургеневых, по письмам М. Ф. Орлова к П. А. Вяземскому весны 1818 года.

В то же время образ мыслей Карамзина вызывал у либерально настроенных дворян настороженность. «Карамзина история начала печататься, — писал Н. Тургенев брату из Петербурга 30 ноября 1816 года. — 〈...〉 Что касается до меня, то я ничего еще не читал, но, посмотрев на Карамзина, думаю, что мы будем лучше знать facta русской истории, но не надеюсь, чтобы сие важное для России творение распространило у нас либеральные идеи; боюсь, даже противно. Карамзин, сколько я заметил, думает и доказывает, что Россия стояла и возвеличилась деспотизмом, что здесь называют самодержавием...».[45]

Как видим, охранительный пафос карамзинского труда идеологи будущего декабризма предвидели и, по-видимому, критическое отношение к нему с их стороны было предопределено. Это и произошло при появлении первых томов «Истории» из печати в феврале 1818 года.

Не отрицая беллетристических достоинств сочинения, будущие декабристы не принимали основную идею Карамзина, питавшую пафос его труда: идею спасительности самодержавной власти для утверждения российской государственности.

Однако по мере выхода из печати последующих томов «Истории» значение предпринятого Карамзиным труда в глазах либерально настроенной молодежи раскрывалось во всем величии его замысла. «Я читаю III-й т⟨ом⟩ Истории Карамзина, — записывает Н. И. Тургенев в своем «Дневнике» от 21 февраля 1818 года. — Чувствую неизъяснимую прелесть в чтении. Некоторые происшествия, как молния, проникая в сердце, роднят с Русскими древнего времени. Что-то родное, любезное. Кто может усомниться в чувстве патриотизма?»[46]

Через три недели в записи от 11 марта он суммирует свои первые впечатления: «Сегодня по утру окончил 3 т⟨ом⟩ Истории Кар⟨амзина⟩. Нашествие Батыя — ужасная эпоха! Никогда не чувствовал я того, что чувствовал, читая описания нещастий России, тогда ее постигших. Интерес дальний по времени, но близкий для сердца ⟨...⟩ умеющего ценить патриотизм и великодушие».[47]

Н. Тургенев был неодинок в своем восхищении. Чтение 10-го тома привело Пушкина к созданию трагедии «Борис Годунов». Незадолго до этого умы столичного общества были буквально потрясены содержанием 9-го тома карамзинской «Истории», в котором описывались ужасы правления Ивана Грозного.

Свидетельства впечатлений, произведенных на общество чтением этого тома, сохранились в одном из упоминавшихся уже выше писем барона Штейнгеля к Николаю I: «Внезапное уничтожение масонских лож послужило к тайному огорчению многих. Между тем по ходу просвещения, хотя цензура постепенно делалась строже, но в то же время явился феномен небывалый в России — девятый том Истории российского государства, смелыми резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей открыто наименовавший тираном, какому подобных мало представляет история!»[48]

Как видим, представления об исторической концепции Карамзина будущие декабристы до 1825 года черпали в основном из «Истории государства Российского». О его «Записке» 1811 года большинство участников восстания просто, по-видимому, не знало. Уже значительно позднее содержание этого сочинения Карамзина станет известно М. А. Фонвизину, построившему на полемике с заявленной там позицией историографа свое «Обозрение проявлений политической жизни в России», написанное в начале 1850-х годов.

Подобно Карамзину, декабристы во многом разделяли методологические принципы просветительской историографии, видя в истории своеобразную школу политической жизни, источник уроков и для правителей, и для мыслящих представителей народа.[49]

В создании своих утопических проектов по изменению существовавшего в России порядка вещей они постоянно апеллировали к примерам истории. В событиях отечественного прошлого они искали и находили своеобразное подтверждение вынашиваемых ими идеалов гражданской свободы и республиканских добродетелей, образцы патриотического служения отечеству и примеры жертвенности перед лицом деспотического самовластия тиранов.

Именно такой подход к истории реализуется в поэтической практике К. Ф. Рылеева, — его знаменитых «Думах», поэмах «Войнаровский» и «Наливайко». История превращается в средство политической агитации, на что уже не раз обращали внимание исследователи.

В то же время среди декабристов было немало тех, кто обращался к изучению истории на профессиональном уровне. Здесь прежде всего следует назвать Никиту Муравьева, А. О. Корниловича, братьев Сергея и Николая Тургеневых, М. А. Фонвизина. Не чужды профессиональным занятиям историей были П. И. Пестель, М. Ф. Орлов, П. А. Муханов и др.

Но и для них история раскрывалась в рамках изначально сконструированной схемы, как подтверждение необходимости свободы народов в их противостоянии тирании самодержавной власти, т. е. будучи подчиненной доказательству определенных идеологических постулатов.

«Опыт всех народов и всех времен доказывал, что власть самодержавия равно гибельна для правителей и для общества»,[50] — заявлял Никита Муравьев во вступительной части своего Конституционного проекта. Именно Никита Муравьев выступил главным оппонентом Карамзина после появления в печати первых томов его «Истории», резко критически отозвавшись о концепции историографа в записке «Мысли об „Истории государства Российского" Н. М. Карамзина».

Главное свое внимание он сосредоточил на критике методологических принципов в раскрытии законов истории и ее общественной пользы, изложенных Карамзиным в «Предисловии», открывавшем 1-й том труда.

Первая же фраза муравьевского разбора отмечена подчеркнутой полемической направленностью по отношению к основному пафосу исторической концепции Карамзина: «История принадлежит народам. В ней находят они верное изображение своих добродетелей и пороков, начала могущества, причины благоденствия или бедствий».[51]

В данном случае Муравьев по-своему перефразировал слова, которыми Карамзин завершал обращенное к российскому импера-

тору Александру I посвящение своего труда: «История предает деяния великодушных Царей, и в самое отдаленное потомство вселяет любовь к их священной памяти. ⟨...⟩ История народа принадлежит Царю».[52]

Эти очень ответственные слова привлекли к себе внимание не только Муравьева. В «Дневнике» Н. Тургенева сохранилась запись от 21 февраля 1818 года, в которой отмеченное утверждение историографа также оспаривалось: «*История народа принадлежит народу — и никому более* (курсив мой. — *Ю. С.*). Смешно дарить ею Царей. Добрые Цари никогда не отделяют себя от народа».[53]

Не менее резко отзывался насчет высказанных Карамзиным мыслей брат Николая Тургенева, Сергей. Его мнения об «Истории», которые он заносит в дневник сразу после прочтения 1-го тома в записи от 4 /13 марта 1818 года, выдержаны в скептически иронических тонах и далеки от восторга: «Карамзин бы должен лучше сказать, каким образом он смотрит на историю вообще и как он ее писать будет. В первом разделе истории это бы не лишним было. Его предисловие плохо, а в посвящении Государю нет большой мысли ⟨...⟩. Что значит: история народа принадлежит Государю, или Царю, как он говорит. Не позорно, но не ясно ⟨...⟩. Мысль, что не надобно быть излишне беспристрастным, описывая отечественную историю, хороша, но не Карамзина ⟨...⟩. Общей идеи о положении России в 1-м томе, мне, по крайней мере, Карамзин не дал».[54]

Как видим, и для Никиты Муравьева, и для братьев Тургеневых утверждение Карамзина о цивилизаторской роли самодержавия в истории России оказывается неприемлемым. Отрицание благодетельности для народов самодержавной власти являлось отражением их неудовлетворенности современностью, и прежде всего неверия в реформы Александра I. Вся аргументация Н. Муравьева в его полемике с Карамзиным пронизана скрытым подтекстом, отсылающим нас к тем идейным исканиям, которые определяли выработку программ будущих тайных обществ.

Несогласие Никиты Муравьева с Карамзиным обнаруживается прежде всего в определении пользы истории. Карамзин дифференцирует понимание данного вопроса исходя из естественного для всех времен противостояния власти и народа: «Правители, законодатели действуют по указаниям истории ⟨...⟩. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок...».[55]

Высказывая подобные истины, Карамзин остается верен заветам эпохи Просвещения, хотя уроки революционных потрясений во Франции 1790-х годов наложили явную печать на ход его мыслей.

Муравьев приводит эти слова Карамзина, но утверждения историографа о «благотворной власти ума», обуздывающей «бур-

ное стремление мятежных страстей», не представляются ему достаточно убедительными. «Согласимся, — замечает он, — что сии примеры редки ⟨...⟩ весьма трудно малому числу людей быть выше страстей народов, к коим принадлежат они сами, быть благоразумнее века и удерживать стремление целых обществ. Слабы соображения наши противу естественного хода вещей».[56]

Муравьев вплотную подходит к уровню романтической историософии, исходившей из признания за народами решающей роли в истории и видевшей в неизменном борении человеческих страстей источник проявления провиденциальной необходимости. «Страсти суть необходимая принадлежность человеческого рода и орудия промысла, не постижимого для ограниченного ума нашего. Не ими ли влекутся народы к цели всего человечества? В нравственном, равно как и в физическом, мире согласие целого основано на борении частей».[57]

Как видим, не «правители», но «народы» предстают в глазах Никиты Муравьева субъектами исторического процесса.

Еще более резко возражает Муравьев против утверждений Карамзина, касающихся его понимания «пользы истории» для простолюдинов, находящихся на низших ступенях социальной иерархии. По мнению последнего, чтение истории должно примирить простого гражданина «с несовершенством видимого порядка вещей как с *обыкновенным* явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось».[58]

«Конечно, — отвечает на подобную аргументацию Муравьев, — несовершенство есть неразлучный товарищ всего земного, но история должна ли только мирить нас с несовершенством, должна ли погружать нас в нравственный сон квиэтизма? В том ли состоит гражданская добродетель, которую народное бытописание воспламенять обязано? Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом...».[59]

В полемике с Карамзиным Н. Муравьев фактически формулирует собственное понимание пользы истории, осмысляя ее с вольнолюбивых позиций: задача истории не в том, чтобы мирить простого человека с господствующим в мире несовершенством (подобную позицию он квалифицирует как погружение людей в «нравственный сон квиэтизма»), но в том, чтобы воспламенять в читателях «гражданскую добродетель». Не случайно свое определение истории он облекает в понятие «народного бытописания». Муравьеву, таким образом, был принципиально чужд охранительный пафос историографических построений Карамзина.

Выше уже говорилось об источниках кажущегося беспристрастия Карамзина по отношению к легендарным преданиям отечественной старины. Это не прошло незамеченным для читателей 1-го

тома карамзинской истории, особенно для декабристов. Позднее Пушкин, вспоминая о критических нападках на Карамзина в декабристской среде, отметит в своих «Автобиографических записках»: «Мих⟨аил⟩ Орл⟨ов⟩ в письме к Вяз⟨емскому⟩ пенял Карам⟨зину⟩, зачем в начале Истории не поместил он *какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян*, т. е. требовал романа в Истории — ново и смело!»[60]

Полемики М. Ф. Орлова с П. А. Вяземским я еще коснусь ниже. Сейчас же важно обратить внимание на глубинную подоплеку этих нападок, отражавшую качественно иной подход оппонентов Карамзина к пониманию движущих сил истории.

При несомненной зависимости от идеологических постулатов просветительской философской мысли взгляды декабристов на историю формировались на качественно иной основе, нежели это имело место у Карамзина. Если на автора «Истории государства Российского» решающее влияние, как мы видели, оказали представители английской историографической школы XVIII века, то для декабристов такой школой явились труды историков Франции периода Реставрации.

Французская историографическая мысль Новейшего времени, романтическая в своей основе, сформировалась как ответ на вопросы, поставленные последствиями буржуазной революции. Труды представителей этой школы — Ф. Гизо, О. Тьерри, Ф. Минье — были хорошо известны деятелям будущих тайных обществ.[61]

К этой плеяде историков по-своему примыкала и писательница А. де Сталь, чья книга «Размышления о главных событиях Французской революции» (1818) («Consideration sur les principaux evenements de la Révolution Françaisе») была также довольно популярна в декабристских кругах. Примечательна запись, которую делает в своем дневнике за 17 апреля 1818 года Николай Тургенев, только что закончивший чтение 6-го тома «Истории государства Российского» и параллельно читавший указанное сочинение мадам де Сталь: «Иногда представляется мне утешением, что и другие народы бывали не счастливее нас, а что некоторые, наприм⟨ер⟩, и в особенности французы, еще в худшем положении, нежели мы сами. Хотя, впрочем, и французы терпят более от оскорбленного чувства отечества, между тем как у нас всякий день оскорбляется человечество ⟨...⟩. Я читаю теперь M-me Stael. Она живо представляет ненавистность деспотизма и прелесть свободы и просвещения».[62]

Если учесть, что на предыдущих страницах дневника Н. Тургенев размышляет об усилении деспотизма в России в царствование Ивана III, в результате чего была утрачена вольность древних россиян, то становится ясной та мировоззренческая основа, которая формировала взгляды на историю духовных лидеров будущих тайных обществ.

Даже находившийся в ссылке М. И. Фонвизин спустя много лет после декабрьских событий в пору написания своих примечаний на книгу Эно и Шенншо по истории России, оформившихся в «Обозрение проявлений политической жизни в России» (около 1850 года), находит необходимым вспомнить о том влиянии, какое на формирование его мировоззрения оказала мадам де Сталь. Сочинение Фонвизина являлось прямой полемикой с известной «Запиской» Карамзина, о чем еще будет сказано ниже.

Пока же отмечу ссылку на мысли французской писательницы, помогающие уяснить методологические предпосылки историософских взглядов М. И. Фонвизина и в его лице почти всех обращавшихся к истории членов декабристских организаций: «Г-жа Сталь сказала где-то, что в жизни народов свободе во всех ее видах (политической, гражданской, личной) неоспоримо принадлежит законное право давности перед самовластием. (C'est le despotisme qui est nouveau, et la liberté qui est ancienne). Эта мысль гениальной писательницы верна относительно европейского человечества и подтверждается *древнею* и даже *среднею* историей России, которая только в новейшие времена (с Петра Великого) сделалась *классической почвою* самодержавия».[63] Подобно Н. Тургеневу, в словах де Сталь Фонвизин не только находит отклик своим убеждениям, но и делает их методологической основой собственной историографической концепции при объяснении прошлого своего отечества.

В похожем положении оказывались практически все будущие декабристы, так или иначе связанные с изучением истории, — тот же Никита Муравьев, и П. И. Пестель, и М. Ф. Орлов, и др. Как справедливо отмечалось С. С. Ландой, в историософских построениях декабристов «идея исторического развития подменялась абстрактной идеей борьбы народов с тиранами («самодержавия со свободой»)».[64] И это составляло основу критического отношения декабристов к концепции Карамзина, что особенно отчетливо проявилось в указанном сочинении Никиты Муравьева, хотя его позиция была достаточно своеобразна.

Почти по всем основным пунктам Муравьев высказывает свое несогласие с Карамзиным. Отправным принципом для него является качественно иное понимание движущих сил исторического процесса, которые, по его мнению, отражают вечную борьбу между злом и благом, реализующуюся в противостоянии «страстей народов».

Для Н. Муравьева полностью неприемлемой оказывается концепция становления российской государственности, обязанной своим укреплением самодержавной власти. В его глазах последняя отменила героические идеалы древности, которые он усматривает в легендарных временах, предшествовавших приходу Рюрика в Новгород. Этим объясняется повышенное внимание декабристов к свидетельствам летописей и иностранных историков

относительно первоначальных форм политической жизни древних славян.

Не случайно такое значительное место в записке Муравьева заняли разыскания, во многом опиравшиеся на «Древнюю российскую историю» Ломоносова, о самом раннем догосударственном периоде российской истории. Фактически уже на этом этапе Муравьев видит свидетельства включенности древних славян в политическую жизнь Европы.

Его характеристики первых императоров Рима несут на себе печать республиканского образа мыслей. Вольность древних предков славян определила в его глазах республиканские начала народной жизни, получившие позднее в истории Новгорода и Пскова свою политическую оформленность.

«Видишь перед собою народ, какого еще не бывало в истории, — погруженный в невежество, не собранный еще в благоустроенные общества, без письмен, без правительств, но великий духом, предприимчивый; он заключает в себе какое-то чудное стремление к величию. Какой народ может гордиться, что претерпел столько бедствий, сколько славянский».[65]

Следуя, на первый взгляд, Карамзину, Муравьев рассматривает историю России с момента прихода в Новгород основателя великокняжеской династии Рюрика под углом зрения неуклонно нараставшего размывания и последующего уничтожения в народе тех исконно республиканских добродетелей, которые определяли древнейшие устои жизненного уклада славян. Но в этой связи характерно резкое неприятие им уподоблений, которые Карамзин допускал в отношении междоусобных войн русских князей периода удельной Руси, сравнивая их с войнами между Спартой и Афинами.

Муравьев скептически оценивает подобные параллели: «Сравнивая историю российскую с древнею, историк наш (Карамзин. — *Ю. С.*) говорит: „Толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова дому — немного разности"».

Высказывает он возражение и на заключительную итоговую реплику историографа: «Я нахожу некоторую разность. Там граждане сражались за власть, в которой они участвовали; здесь слуги дрались по прихотям господ своих».[66]

Установление княжеской власти, по мнению Муравьева, неизбежно привело к уничтожению естественной вольности древних русичей.

Сходную позицию в отношении древнейших периодов истории славянских народов занимал и М. И. Фонвизин. В своем сочинении «Обозрение проявлений политической жизни в России», возникшем из примечаний на книгу французских историков Эно и Шенншо «История России» (Histoire de Russie par M. M. Esneaux et Chennechot. 5 Volumes. Paris, 1835), Фонвизин дал ком-

пактное изложение собственных взглядов на вопрос о первоначальных формах политической власти у древних славян: «Беспристрастная история свидетельствует, что древняя Русь не знала ни рабства политического, ни рабства гражданского ⟨...⟩. Предки наши славяне были, как и их соседи германцы, народ полудикий, но свободный, и в общественном быту славян преобладала стихия демократическая — общинная ⟨...⟩. Несомненное тому доказательство представляют древние вольные общины: Новгородская, Псковская и Хлыновская (Вятка) ⟨...⟩. В этих народных державах под сению политической и гражданской свободы основались демократические учреждения, под которыми они были независимы и благоденствовали».[67]

По мнению М. И. Фонвизина, даже монгольское нашествие и владычество татар не уничтожило общинного уклада жизни древнерусских городов. Истребление их вольности он связывает с периодом возвышения Москвы. Отталкиваясь от мысли Карамзина о том, что русские князья, пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными повелителями и вымещали на подданных свое унижение, Фонвизин конструирует свое понимание причин появления рабства в Древней Руси.

К оценке «благодетельности» для Руси объединительной политики московских князей он подходит совершенно с иной позиции, нежели Карамзин. В этой политике он видит начало установления на Руси самовластья и истоки унижения народной вольности.

Иван Калита, собиравший для Орды дань со всех русских земель, «собирал с народа гораздо более денег, нежели сколько платил хану, — что и было источником его богатства ⟨...⟩. Преемники Калиты действовали в его духе, раболепствовали ханам и подкупали их вельмож. Этой политикой они снискали себе первенство между прочими однородными с ними князьями и были названы *великими*. В продолжение столетия, скупая или отнимая силою смежные с их владением княжества, они значительно расширили свою область ⟨...⟩ и таким образом в их роде постепенно утвердилось *единовластие*, которое не замедлило превратиться в *самовластие*».[68]

Впрочем, Фонвизин не считает, что традиция народного представительства как основа политической власти, свойственной ранним периодам исторической жизни славян, окончательно угасла с момента возвышения Москвы. Продолжение ее он видит в деятельности земской думы, практике созыва земских соборов и в тех фактах частичного ограничения царской власти думой путем взятия с царя записи с определяемыми думой условиями.

Фонвизин сравнивает деятельность земской думы в XVII веке с той ролью, какую в истории Франции имели генеральные штаты (Etats generaux), а в Англии парламент.

Высказав подобные утверждения, Фонвизин ностальгически заключал: «Если бы и в России ее земская дума собиралась чаще и в известные определенные сроки, то кто знает, — может быть,

и Россия, в силу общего закона человеческой усовершаемости, с правильной системой представительства, наслаждалась бы теперь законосвободными постановлениями, ограничивающими произвол верховной власти».[69]

Петр I, по его мнению, прекратил практику ограничения высшей власти органом народного представительства.

Аналогичную позицию в отношении политики московских князей на протяжении XIV—XVI веков, обеспечившей, казалось бы, подъем российской государственности, занимал и Никита Муравьев. Здесь он также выступает оппонентом Карамзина, видевшего в этом возвышении благодетельную сторону монгольского ига. По мнению Муравьева, результаты этого ига, определявшего тактику московских князей, пагубно отразились на нравах народа. Подъем Москвы, с точки зрения интересов сохранения народной нравственности, представлял собой торжество унижающих человеческое достоинство качеств российских властителей, возглавлявших этот процесс.

При этом, по мнению Муравьева, народ полностью разделяет с властителями ответственность за сложившееся положение: «Несовершенство видимого порядка вещей есть, без сомнения, обыкновенное явление во всех веках, но есть различия и между несовершенствами. 〈...〉 несовершенства воинственного народа времен Святослава и Владимира сходствуют ли с несовершенствами времен порабощенной России, когда целый народ мог привыкнуть к губительной мысли *необходимости*? Еще унизительнее для нравственности народной эпоха *возрождения* нашего, рабская хитрость Иоанна Калиты; далее холодная жестокость Иоанна III, лицемерие Василия и ужасы Иоанна IV».[70]

Подтверждением широкой популярности в кругах либерально настроенного дворянства, составлявшего среду будущих декабристов, идеализированных представлений о самых древних временах истории своего отечества, окутанных дымкой героики и величия, может служить невольная полемика, возникшая между князем П. А. Вяземским и М. Ф. Орловым. Вяземский скептически относился к легендарным преданиям о происхождении славян, солидаризируясь с Карамзиным, сторонником, как мы знаем, «норманнской теории».

Точка зрения Карамзина, предельно отчетливо высказанная им в IV главе 1-го тома его «Истории», сводилась к утверждению о добровольном отказе наших славянских предков от прав вольности, которыми они пользовались до пришествия в Новгород варягов во главе с Рюриком. «Начало российской истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай. Славяне добровольно уничтожают свое древнее народное правление и требуют государей от варягов».

Этот акт, по мнению Карамзина, положил начало монархической системе власти на Руси, обеспечив условия для укрепле-

ния ее государственного могущества: «Отечество наше слабое, разделенное на малые области до 862 года, по летописанию Нестора, обязано величием своим счастливому введению монархической власти».[71] Именно с подобной трактовкой вопроса о начале российской государственности был решительно не согласен Никита Муравьев. Его позицию полностью разделял М. Ф. Орлов.

Примечательна в этом отношении реакция на выход первых томов «Истории» Карамзина со стороны М. Ф. Орлова, изложенная в его письмах к П. А. Вяземскому от 4 мая и 4 июля 1818 года. Она также была критической: «Я читал Карамзина, — пишет Орлов в первом письме. — Первый том мне не пришелся по сердцу. Он сам в предисловии говорит, что пленительнейшая черта римских историков есть то, что на каждом шагу видим в них римских граждан во всей силе сего слова. Зачем же он в классической книге своей не оказывает того пристрастия к Отечеству, которое в других прославляет? Зачем хочет быть беспристрастным космополитом, а не гражданином? Зачем ищет одну сухую истину преданий, а не преклонит все предания к бывшему величию нашего Отечества?»

И как бы завершая цепь вопросов, Орлов вновь апеллирует к авторитету римских историков, раскрывая, по существу, собственное понимание задач истории: «Тит Ливий сохранил предание о божественном происхождении Ромула, Карамзину дóлжно было сохранить таковое же о величии древних славян и россов».[72]

По сути дела, Орлов в своих критических оценках исходит из требований сознательной мифологизации истории. Его гипотетические представления о древнейших периодах русской истории базировались, конечно же, не столько на фактах, сколько на домыслах; они служили отражением образа мыслей современника событий 1812 года.

Но показательно, как в его построениях явственно проглядывают очертания исторической концепции М. В. Ломоносова о ранних этапах становления российской государственности, которая служила утверждению идеи благодетельности монархии для России, идеи, подсказанной реальностями XVIII века: «...ежели б основания нашего отечества, сокрытые во тьме времен, не были бы велики, ежели б единство России и могущество оной не существовали бы или в самом деле, или, по крайней мере, в живейшей памяти предков наших 9-го столетия, ежели б Рюрик был иноплеменный призванец, и варяги его не были бы россианами, то как можно вообразить, что едва он воцарился над чуждым народом, как уже утвержден был в царствовании, что долгое его владычество не было подвержено никаким беспокойствам ⟨...⟩. Как может быть, чтобы Россия, существовавшая до Рюрика без всякой политической связи, вдруг обратилась в одно целое государство и, удержавшись на равной степени величия от самого своего нача-

ла до наших времен, восторжествовала над междоусобиями князей и даже над самими гонениями рока...».[73]

В создаваемой воображением Орлова во втором его письме картине древнейшего периода русской истории, конечно же, многое можно оспорить. Летописей, по-видимому, он не читал. Иначе вряд ли бы решился утверждать, что «долгое владычество» Рюрика с момента его утверждения в «царствовании» (?) «не было подвержено никаким беспокойствам». Достаточно вспомнить фигуру легендарного Вадима Новгородского, поднявшего восстание против Рюрика и ставшего в глазах литераторов-декабристов символом верности республиканским традициям древнего Новгорода, чтобы почувствовать односторонность подхода Орлова к оценке исторического прошлого. Сомнительными представляются и другие утверждения оппозиционно настроенного к власти генерала.

Впрочем, сам М. Ф. Орлов в том же письме признается в избирательности своих исторических пристрастий, менее всего претендуя на профессиональную компетентность, но рассматривая свою задачу как историка в контексте целей гражданственного воспитания современников: «Я критик не по познаниям, но по сердцу, и сужу о сочинении не так, как писатель, а как гражданин ⟨...⟩. Воображение мое, воспаленное священной любовью к Отечеству, искало в истории Российской, начертанной российским гражданином, не торжества словесности, но памятника славы нашей и благородного происхождения ⟨...⟩ родословную книгу нашего древнего величия».[74]

Идеализация в глазах декабристов демократических начал в общественном устройстве жизни древних славян, якобы определявших формы существовавшей у них политической власти, отразилась по-своему и на тех конституционных проектах, которые создавали организаторы будущих тайных обществ.

Речь в данном случае должна идти о «Конституции» Никиты Муравьева и о «Русской правде» П. И. Пестеля. Оба сочинения в полном виде до нас не дошли. Текст «Конституции» Муравьева, сожженной сразу после разгрома восстания, восстанавливался им по памяти во время следствия в первой половине 1826 года.

Работа над «Русской правдой», которая должна была состоять из десяти глав и служить своего рода «наказом Временному верховному правлению» после перехода власти в его руки в случае свержения самодержавия, самим Пестелем не была завершена. Полностью были написаны пять глав, остальные существовали только в отрывках.

Рукопись «Русской правды», над которой Пестель работал почти 10 лет, была закопана накануне ареста, но, изъятая по указанию следственной комиссии, фигурировала в качестве главного обвинения автору. При этом самые важные главы: 6-я, посвященная вопросу о форме верховной власти, и 7-я, рассматривавшая проблему организации власти на местах, — были, по всей веро-

ятности, уничтожены Пестелем, и об их содержании можно судить только на основании отрывочных данных, содержавшихся в его ответах следственной комиссии.

Анализ этих документов в их полном объеме не может входить в мою задачу, тем более что частично эта работа выполнена историками.[75]

Важно отметить один, существенный для интересующей нас проблемы, аспект содержания обоих проектов: в каждом из них утверждается идея необходимости участия народа в формировании высших органов власти. При этом в наименовании органов этой власти и ее атрибутики как Муравьев, так и Пестель, пытались по-своему возродить древние традиции народного самоуправления.

Сторонник формы конституционной монархии Муравьев предусматривал ограничение верховной власти многоуровневой системой самостоятельных органов исполнительной, законодательной и судебной власти на местах в регионах. Все эти представительные органы основывались на выборном принципе. На вершине подобной системы представительной власти должно было находиться избираемое всеми членами общества *Народное вече* — гарант гражданского равенства всех жителей страны перед законом.

Это сочетание единодержавной власти монарха с представительным органом в лице Народного вече представляло собой утопическую попытку совместить оправдавший себя в историческом смысле монархический принцип власти с системой народного самоуправления, какой она, по представлениям Муравьева, существовала в городах-республиках — древнем Новгороде и Пскове.

Впрочем, декабристы учитывали в своих проектах опыт американской конституции, где власть президента сочеталась с законодательными функциями палаты представителей и сената. Не случайно Муравьев предусматривал в своей «Конституции» федеративное устройство страны, а Народное вече мыслил двухпалатным органом, одной из частей которого должна была быть *Верховная Дума*, представлявшая интересы отдельных «держав», т. е. областей России.

В компетенцию Народного вече входило объявление войны, организация военных сил, наблюдение за использованием финансовых средств. Если Вече находило, что представительные собрания отдельных «держав» преступили пределы отпущенной им по конституции власти, то оно имело право их распускать.[76]

Сходным образом решал вопрос об участии народа в формировании органов власти П. И. Пестель в своей «Русской правде». Содержание центральных глав, где должны были определяться формы местной и верховной власти, как уже было отмечено, осталось для потомков неизвестным. Но убежденный сторонник республики Пестель в главе 4 — «О народе в политическом отноше-

нии» — своего проекта, говоря о функции окружных поместных собраний, предусматривал назначение ими народных представителей в «Народное Вече, образующее верховную законодательную власть».[77]

Характерно, что в черновых отрывках, входивших в «Записку о государственном управлении» (в составе подготовительных материалов к последующим главам «Русской правды») в том разделе, где речь идет об организации управления военными силами страны, Пестель предлагает последовательный возврат к прежней воинской терминологии, существовавшей до Петра I. Он вводит понятия — «ратное ополчение», «рать», «латники» (вместо кирасир), «опричники» (вместо гренадеров), «гонцы» (вместо курьеров).

Системе военных округов давался статус — «ратное повытье», находившееся в ведении посадников и окольничьих. Даже для войсковых соединений, например дивизии, Пестель находит новый термин — «войроды». Подобное увлечение стариной, конечно же, не было случайным, но отражало общую тенденцию возврата к исконным формам общественного и политического уклада жизни предков.

Главное, что объединяет содержание конституционных программ Н. Муравьева и П. Пестеля, — это решительное неприятие ими идеи бесконтрольной самодержавной верховной власти, противоречащей, по их мнению, изначальным формам государственного устройства, существовавшего в Древней Руси. В этом их качественное отличие от концепции Карамзина, исходившего из признания безусловной благодетельности для России самодержавия, о чем выше уже шла речь. Именно полемическая установка по отношению к карамзинской «Истории государства Российского» лежит в основе концепции власти, заложенной в охарактеризованных выше конституционных проектах идейных лидеров декабризма.

Исходным пунктом в оценке источников окончательной утраты народом своего участия в управлении государством декабристские идеологи считали установление единодержавия при московских великих князьях в XV веке. Примечательны в этом отношении дневниковые размышления Н. И. Тургенева по прочтении им в апреле 1818 года 6-го тома «Истории» Карамзина, где описывается царствование Ивана III, окончательно покончившего с зависимостью Руси от Золотой Орды: «Я вижу в царствовании Иоанна щастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную даже для России, по причине уничтожения уделов; с благоговением благодарю его как Государя, но не люблю его как человека, не люблю как русского, так как я люблю Мономаха. Россия достала свою независимость, но сыны ея утратили личную свободу на долго, на долго, может быть, навсегда. История ея с сего времени принимает вид строгих анналов самодер-

жавного правительства ⟨...⟩ вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигло Колосс Российский».[78]

Не менее показательна была и позиция М. Ф. Орлова, заявленная им в отзыве на книгу военного историка Д. П. Бутурлина «Военная история походов Россиян в XVIII столетии». Возражения Орлова, высказанные в двух письмах к автору книги, своему другу, от 2 ноября 1819 года и 20 декабря 1820 года, вызвала не столько фактическая сторона сочинения Бутурлина, сколько идеологическая концепция книги, предпосланная анализу событий XVIII века.

Прежде всего он не согласен с невольным оправданием Бутурлиным практики закрепощения крестьян как следствия присоединения к Московской Руси земель Казанского царства и Сибири во времена Ивана Грозного. «Ах! сколько бы бедствий было отвращено от отечества нашего, ежели бы самовластие наших государей, основав внешнюю независимость, не основало вместе внутреннего порабощения России!»[79] — пишет он во втором письме.

Сошлемся, наконец, на мнение М. И. Фонвизина, содержавшееся в рассмотренном выше его сочинении «Обозрение проявлений политической жизни в России». Статью М. Фонвизина можно рассматривать по существу как своеобразный полемический ответ на «Записку о древней и новой России» Карамзина, на что справедливо уже было указано В. И. Семевским.[80] Отметив признание в трудах европейских историков фактов наличия в гражданских установлениях Древней Руси политической свободы, Фонвизин с огорчением ссылается на равнодушие к этим фактам отечественной историографии, и прежде всего автора «Истории государства Российского»: «Наши историки, особенно Карамзин, скупы на этого рода подробности: говорят о них слегка, или вовсе пропускают проявления в России политической свободы и те учреждения, которые ей благоприятствовали. Русские историки, напротив, везде стараются выставлять превосходство самодержавия и восхваляют какую-то блаженную патриархальность, в которой неограниченный монарх, как нежный чадолюбивый отец, и дышит только одним желанием — осчастливить своих подданных. Но так ли это в действительности?»[81]

Для Карамзина, как, кстати, и для других историков официальной ориентации, проблема политической свободы народа, а также проблема отмены крепостного права действительно не представлялись актуальными. Но в чем автор «Записки о древней и новой России» и его оппоненты из декабристского лагеря были единодушны, так это в признании решающей роли Петра I в насильственном изменении древних обычаев московитян и в окончательном уничтожении последних признаков участия народа в управлении государством, которое еще частично сохранялось в практике московских царей XVI—XVII веков. Реформы Петра I

привели, по мнению Фонвизина, к установлению полного гражданского бесправия в России, ибо в итоге все было принесено в жертву интересам государственности, высшим выражением которых стала воля самодержавного властителя.[82] «При Петре Великом, — пишет М. Фонвизин, — уже более не собиралась земская дума — это хоть слабое выражение народной самостоятельности, везде и всегда противной властолюбивым самодержцам ⟨...⟩ великий царь не столько обращал внимание на внутреннее благосостояние народа, сколько на развитие исполинского могущества своей империи. В этом он точно успел. ⟨...⟩ Но русский народ стал ли от того счастливее? Улучшилось ли его нравственное или даже материальное состояние?

Если Петр старался вводить в Россию европейскую цивилизацию, то его прельщала более ее внешняя сторона. Дух же этой цивилизации был ему, деспоту, чужд и даже противен».[83]

Подобно Ж.-Ж. Руссо и Радищеву, ссыльный декабрист не видит возможности установления справедливой власти без утверждения личной свободы граждан и равенства всех перед законом. М. Фонвизин ставит в упрек Петру I учреждение Тайной канцелярии, учреждение Сената, заменившего боярскую думу и превращенного в высший трибунал, отсутствие упорядоченности в законодательстве, наконец, унижение и лишение канонической независимости русского православного духовенства через введение Синода как подвластного монарху органа руководства делами Церкви. Правда, политику Петра I по развитию в России науки и распространению просвещения Фонвизин одобряет.

Таким образом, именно в свете тех последствий, которые имели преобразования, проводимые Петром I для укрепления самодержавной власти, патриархальные устои жизни предков, отмененные окончательно этими преобразованиями, приобретали в глазах декабристских идеологов притягательную силу. Во многом прокламируемые декабристами идеалы оставались на уровне романтической мифологизации прошлого. Но в ряде случаев они составили органичную ступень в процессе дальнейшего движения общественной мысли по пути укрепления почвеннических тенденций. Однако рассмотрение данного аспекта проблемы выходит за пределы задач настоящего исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Русская старина. 1874. Т. XI. С. 238.

[2] Вестник Европы. 1802. Ч. III. С. 314—315.

[3] Истоки кризиса Карамзина и процесс выхода из него достаточно полно проанализированы в монографии: *Кислягина Л. Г.* Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина. М., 1976.

[4] Московский журнал. 1792. Декабрь. С. 335.

[5] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 252.

[6] Там же. С. 253.

[7] О позиции Руссо и полемике с ним Вольтера см. в гл. IV наст. изд. С. 157–158, 160.

[8] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. С. 253–254.

[9] Там же. С. 254.

[10] Вестник Европы. 1803. Ч. XII. С. 95–96 (курсив мой. – *Ю. С.*).

[11] Там же. 1802. Ч. IV. С. 304.

[12] Там же. 1803. Ч. VIII. С. 130–131.

[13] Там же. С. 129.

[14] Там же. 1803. Ч. XI. С. 144.

[15] Вестник Европы. 1803. Ч. VII. С. 3.

[16] Литература и история. СПб., 1997. Вып. 2. С. 93–109.

[17] Там же. С. 105–106.

[18] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. В 12 т. М., 1989. Т. 1. С. 95.

[19] Там же. С. 94.

[20] См.: *Космолинская Г. А.* Н. М. Карамзин и Давид Юм. (К вопросу об историографической концепции Карамзина) // XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993. С. 203–217.

[21] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. С. 369.

[22] Там же. С. 252–253 (курсив мой. – *Ю. С.*).

[23] XVIII век. Сб. 18. С. 213.

[24] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. С. 16.

[25] Там же. С. 17.

[26] *Моисеева Г. Н.* Щербатов и Н. М. Карамзин. (Записка «О повреждении нравов в России») // Русская литература XVIII–нач. XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 80–92 (XVIII век. Сб. 14).

[27] Там же. С. 87.

[28] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 23–24.

[29] Там же. С. 10.

[30] Там же. С. 12.

[31] Там же. С. 16.

[32] Там же.

[33] Там же. С. 67.

[34] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. 4-е изд. СПб., 1834. Т. VI. С. 346–347.

[35] Там же. С. 347.

[36] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. С. 24.

[37] Там же. С. 30–31.

[38] Там же.

[39] Там же. С. 71.

[40] Там же. С. 68.

[41] См. об этом в статье: *Стенник Ю. В.* Идея «древней» и «новой» России в литературе XVIII века. (М. В. Ломоносов) // Литература и история. СПб., 1992. С. 18–22.

[42] Общественные движения в России в первую половину XIX века. Т. 1. Декабристы: М. А. Фонвизин, кн. Е. П. Оболенский и бар. В. И. Штейнгель. СПб., 1905. С. 17.

[43] Там же. С. 489.

[44] Из наиболее серьезных трудов обобщающего характера назову работы: *Пыпин А. Н.* Общественное движение в России при Александре I. 3-е изд. СПб., 1900; 4-е изд. СПб., 1909; *Семевский В. И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909; Декабристы и их время. В 2 т. М., 1932; *Нечкина М. В.* Грибоедов и декабристы. М., 1951; 3-е изд. М., 1977; *Базанов В. Г.* Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика. М., 1953; *Никандров П. Ф.* Мировоззрение. П. И. Пестеля. Л., 1953, и др.

[45] Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 203.

[46] Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816—1824 годы. Пг., 1921. Т. III. С. 115. (Архив братьев Тургеневых. Вып. 6).

[47] Там же. С. 118—119.

[48] Общественные движения в России в первую половину XIX века. С. 488.

[49] См. об этом обзор, представленный в монографии: *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. С. 43—54.

[50] *Дружинин Н. М.* Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. С. 303.

[51] Лит. наследство. М., 1954. Т. 59. С. 582.

[52] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. В 12 т. М., 1989. Т. 1. С. 12.

[53] Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816—1824 годы. Т. III. С. 115.

[54] ИРЛИ. Ф. 309. № 23. Л. 51—51 об.

[55] *Карамзин Н. М.* История государства Российского М., 1989. Т. 1. С. 13.

[56] Лит. наследство. Т. 59. С. 583—584.

[57] Там же.

[58] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1. С. 13.

[59] Лит. наследство. Т. 59. С. 584.

[60] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. В 17 т. М., 1949. Т. 12. С. 306.

[61] См. об этом подробнее: *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. С. 43—49, 106—114, 257—266.

[62] Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816—1824 годы. Т. III. С. 158.

[63] Общественные движения в России... Т. 1. С. 101—102.

[64] Пушкин и его время. Исследования и материалы. Л., 1962. Вып. 1. С. 102.

[65] Лит. наследство. Т. 59. С. 595.

[66] Там же. С. 586.

[67] Общественные движения в России в первую половину XIX века. Т. 1. Декабристы. СПб., 1905. С. 101—102.

[68] Там же. С. 104.

[69] Там же. С. 109.

[70] Лит. наследство. Т. 59. С. 585.

[71] *Карамзин Н. М.* История государства Российского Т. 1. С. 93.

[72] Лит. наследство. Т. 59. С. 565.

[73] Там же. С. 567.

[74] Там же. С. 566.

[75] *Дружинин Н.* Конституция Никиты Муравьева. (Происхождение и различия вариантов) // Декабристы и их время. М., 1932. Т. 1.

С. 62—108. См. также: *Азадовский М. К.* Конституционные проекты декабристов // Лит. наследство. Т. 59. С. 636—643. Эта работа представляет собой источниковедческий обзор всех сведений о проектах конституций декабристов.

76 Подробнее см.: *Дружинин Н.* Конституция Никиты Муравьева. С. 62—108.

77 *Пестель П. И.* Русская правда. Наказ Временному Верховному Правлению. СПб., 1906. С. 217.

78 Дневники и письма Ник. Иван. Тургенева за 1816—1824 годы. Т. III. С. 123.

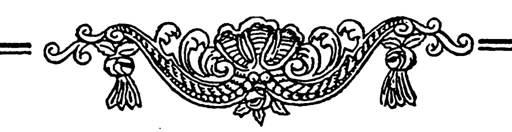
79 Декабристы и их время. С. 204.

80 «Труд Фонвизина есть своего рода записка о древней и новой России, но только не с консервативной, а с либеральной точки зрения». (Общественные движения в России в первую половину XIX века. Т. 1. С. 83).

81 Там же. С. 101.

82 Вопрос об отношении декабристской историографии к личности Петра I и к его реформам представляет собой самостоятельную проблему. См. об этом: *Серман И. З.* Александр Корнилович как историк и писатель // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 142—164.

83 Общественные движения в России... Т. 1. С. 109.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Плодотворность предложенного в настоящей монографии обзора исторических этапов становления новых форм общественного и тем самым культурного самосознания обусловлена спецификой того места, которое в истории России занимал XVIII век. Коренные преобразования в общественной жизни страны, которые провел в начале этого столетия Петр I, предопределили сближение России с Западной Европой, а политический статус русской монархии приобрел черты имперской державности. Ориентация на восприятие опыта европейской культуры во всех ее сферах, вплоть до быта правящего дворянского сословия, становится преобладающей тенденцией духовных запросов образованного общества. Этот феномен обозначается в науке понятием «европеизация», и именно в ней заключается все то, что позволяет говорить о «новой» России.

Вот почему осознание водораздела между прежним и новым состоянием России составило одну из основных задач национального самосознания в эту эпоху, по-своему отразившись и в трудах мыслителей европейского Просвещения. Идея «новой» России высветила еще один аспект общей проблемы становления общественного самосознания. Сближение с Европой поставило со всей остротой вопрос о самодостаточности российского этноса, о значении и месте в мировом историческом процессе многовекового опыта русской нации со всей неповторимостью форм ее духовного и материального бытия. От всего ли надо было отказываться, и все ли надо было бездумно перенимать у Западной Европы? Проблема национальной самобытности русской культуры и сохранения отечественных нравов предопределила актуализацию идеи «древней» России как альтернативы западнической модели развития российской государственности. По мере обнаружения некоторых негативных последствий тотальной «европеизации» рус-

ского общества, особенно в среде дворянства, набирает силу движение общественной мысли, отражавшее возврат к истокам национального менталитета, к тем духовным ценностям, которые были порой незаслуженно преданы забвению. В этом процессе участвовали многие русские писатели и мыслители, общественные деятели и историки XVIII века. Основные вехи обозначенного идейного движения связаны с именами И. Т. Посошкова и М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова и Н. И. Новикова, Екатерины II и князя М. М. Щербатова, наконец, А. Н. Радищева. Этот процесс находит свое продолжение в 1-й четверти XIX века — в исторических трудах Н. М. Карамзина и исканиях декабристов. Собственно, и композиция монографии определяется задачей проследить взаимодействие двух ведущих тенденций становления русского общественного самосознания в его эволюции.

XVIII веку порой приходится открывать для себя Древнюю Русь, настолько резко были оборваны в начале столетия связи с прошлым. Причем мы видим, как обращение к древней истории на разных этапах наполнялось различным функциональным смыслом. Если в петровское время, в трактате П. Шафирова, связь с прошлым выливалась в поиски аргументов для подтверждения правомерности военной политики Петра I, то уже Ломоносов в середине века ищет в древности примеры государственной мудрости и воинских подвигов предков для утверждения исконности имперского величия обновленного реформами Петра I российского государства. Ломоносов выступает в XVIII веке, пожалуй, наиболее активным выразителем концепции просвещенного абсолютизма. В своих одах он апеллирует к самому древнему героическому киевскому периоду становления российской государственности, хотя иногда ищет такие образцы и в более поздних веках, освящая, например, успехи русских войск авторитетом Дмитрия Донского или Ивана Грозного.

Во 2-й половине столетия хронологические рамки отечественной древности, привлекавшей внимание публицистов и историков, как мы видели, расширяются. В контексте полемики о нравах, в обстановке усиления законодательной активности Екатерины II, учитывая ее опору на труды Монтескье, напоминание о традициях прошлого приобретало особую важность. С одной стороны, Новиков материалами издания «Древней Российской Вивлиофики» как бы утверждал нравственные основы жизни предков. С другой стороны, публиковавшиеся там юридические документы прошлого, так же как и издания в 1760—1770-е годы «Русской правды» Ярослава Мудрого и «Судебника» Ивана Грозного, должны были напоминать современникам о традициях отечественного законотворчества. Не случайно и Радищев, и Карамзин обращаются к «Уложению» царя Алексея Михайловича как примеру решения вопросов законодательства в рамках создания свода законов, основанного на опыте, порожденном отечественными условиями,

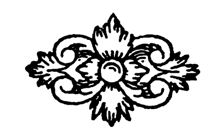
а не за счет механического перенесения западных учений на русскую почву, как это делала Екатерина II.

Центральной фигурой в истории нового периода развития российской государственности является несомненно Петр I. Именно его неутомимыми трудами и железной волей направлялись реформы, качественно преобразившие облик страны, превратившие Россию в европейскую державу, о чем уже много было сказано выше. Мы могли видеть по ходу анализа осмысления данного процесса, как сама эволюция взглядов на современное состояние России в его отношении к прошлому оказывалась неразрывно связанной с изменением оценок личности Петра I и целесообразности жестких мер в ходе проводимых им преобразований. Мы видели, как апологетическое отношение к Петру I и превознесение всего, содеянного им, наполнявшие сочинения П. Шафирова, Феофана Прокоповича, наконец, Ломоносова, уступило место, при несомненном признании его заслуг, оговоркам относительно якобы непродуманности некоторых принимавшихся им решений и забвения им древних российских нравов — например, в высказываниях княгини Е. Р. Дашковой, в трудах И. Н. Болтина, князя М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина. Сходную картину в оценке исторических заслуг Петра I являют нам и высказывания европейских мыслителей и историков эпохи Просвещения — от комплиментарных, по-видимому не всегда искренних, оценок Б. Фонтенеля и Вольтера, сменившихся сдержанным подходом Ш. Монтескье, и до резко критических заявлений Ж.-Ж. Руссо и аббата Г. Б. Мабли. В сущности отмечаемая эволюция в оценках этого выдающегося русского монарха отражала постепенное движение мысли XVIII века, выдвинувшей и лелеявшей разработанную ею доктрину просвещенной монархии. Блестящей иллюстрацией этой доктрины для европейцев являлась деятельность на троне Петра I. Русская общественная мысль, конечно же, учитывала и по-своему реагировала на высказывания о Петре I в Европе, как показано в соответствующих главах книги. Но для русских деятелей культуры решающим фактором для переоценки отдельных аспектов петровских преобразований было его равнодушие к национальной старине, его унижение Православной церкви и лишение ее конфессионального суверенитета. Петр I, образно говоря, своими реформами отменил прошлое — уклад жизни и обычаи Московской Руси. Осознание этого факта тоже по-своему стимулировало актуализацию идеологической оппозиции «древней» и «новой» России. Показательно, как по мере изменения тона в оценках Петра I и появления критических высказываний о его реформах в интеллектуальной среде России нарастает интерес к старине, признание незаслуженным забвения обычаев прошлого. Это мы видели в сочинениях князя М. М. Щербатова и Карамзина.

Очень своеобразную позицию в переоценке значения петровских преобразований занимал А. Н. Радищев, видевший в деятельности

монарха единственно заботу об укреплении славы и мощи отечества; однако, оставаясь всевластным самодержцем, правитель мало думал о нуждах своих подданных. Радищев полемизировал с Руссо, считая, что подъем России на уровень европейских держав и распространение в стране просвещения дают Петру I право называться великим государственным деятелем. Однако основным недостатком его политики он считает уничтожение последних остатков дикой вольности народа и неуважение к частной свободе человека. Здесь Радищев выступает прямым предшественником декабристов.

Но провиденциальный смысл деяний Петра I для истории отечественного самосознания проявляется еще в одном аспекте. Он становится ясным в исторической перспективе. Именно в итоге его преобразований, приведших к повальной европеизации русской культуры и нравов, повлекшей за собой в качестве противовеса обострение интереса к отечественному прошлому, к «древней» России, на базе этого противостояния создаются предпосылки новой идейной оппозиции — «Россия—Запад». На этой почве формируются истоки возникновения в первой половине XIX века двух противоположных идеологических движений — западничества и славянофильства, сыгравших очень важную роль в развитии общественной мысли нового столетия. Но рассмотрение этой проблемы выходит за пределы задач настоящей монографии.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

Научное издание

Ю. В. Стенник

ИДЕЯ «ДРЕВНЕЙ» И «НОВОЙ» РОССИИ
В ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
XVIII—НАЧАЛА XIX ВЕКА

Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российской академии наук

Редактор издательства Н. М. Пак
Художник Л. А. Яценко
Технический редактор Е. Г. Коленова
Корректоры О. И. Буркова, Ю. Б. Григорьева
и Ф. Я. Петрова
Компьютерная верстка Н. К. Румянцевой

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 10.06.04. Подписано к печати 20.10.04. Формат 60 × 90 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17.5.
Уч.-изд. л. 19.1. Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 3600. С 237

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
main@nauka.nw.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 5-02-027144-6

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА»

Магазины «Книга — почтой»

121009 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197345 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-05-67

Магазины «Академкнига» с указанием отделов «Книга — почтой»

690088 Владивосток-88, Океанский пр-т, 140 («Книга — почтой»); (код 4232) 5-27-91
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»); (код 3432) 55-10-03
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 («Книга — почтой»); (код 3952) 46-56-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
220012 Минск, проспект Ф. Скорины, 73; (код 10375-17) 232-00-52, 232-46-52
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
103624 Москва, Б. Черкасский пер., 4; 298-33-73
630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 («Книга — почтой»); (код 3832) 30-09-22
142292 Пущино Московской обл., МКР «В», 1 («Книга — почтой»); (13) 3-38-60
443022 Самара, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»); (код 8462) 37-10-60
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65

199034 Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2; (код 812) 328-32-11
194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, 4; (код 812) 247-70-39
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9 линия, 16;
(код 812) 323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 22-60-36
450059 Уфа-59, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»); (код 3472) 24-47-74
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85

100